



РОССИЯ ДЕРЖАВНАЯ

П. Краснов

ЦАРЕУБИЙЦЫ

МИР КНИГИ

П. Краснов



ЦАРЕУБИЙЦЫ



УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)
К78

Дизайн обложки: А. Кузнецов

Краснов П.
К78 Цареубийцы: Роман / М.: Мир книги, Литература,
2010. — 320 с.— (Россия державная).

ISBN 978-5-486-03689-7

Военный историк и писатель Петр Николаевич Краснов (1869—1947) — фигура неоднозначная и по-своему трагическая. Прославленный генерал-лейтенант, ветеран трех войн, атаман Всевеликого Войска Донского, в 1918 г. он поднял казаков на «национальную народную войну» против большевиков. В 1920 г. Краснов эмигрировал в Германию. Его литературное творчество многообразно. Перу Краснова принадлежат прекрасные путевые дневники, яркие исторические работы, любопытные мемуарные очерки, глубокий труд по военной психологии, исторические романы и исследования. В годы Второй мировой войны он возглавил перешедшую на сторону вермахта часть казачества. Впоследствии был выдан английским командованием советской военной администрации, этапирован в Москву и по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР повешен в Лефортовской тюрьме.

В данном томе публикуется роман «Цареубийцы», повествующий о попытках народовольцев устранить российского императора Александра II. Автор удачно изображает тип революционера, воплощающего в жизнь то, что некогда проповедовали герои «Бесов» Ф. М. Достоевского. Впервые роман был опубликован в Париже в 1938 году.

ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03689-7

© ООО ТД «Издательство
Мир книги», оформление, 2010
© ООО «РИЦ Литература», 2010

Цареубийцы



Настоящее?

*Его у нас нет. Есть только прошлое
и может быть — будущее.*

*В прошлом будем черпать знания —
чтобы совершенствовать будущее.*

Автор



Часть первая

I

Вера Ишимская была в том возрасте, когда девочка превращается в девушку. Платье — уже длинное, косы уложены по-девичьему, под юбкой подкинут турниор — маленький, последняя мода, и зонтик с длинной и тонкой ручкой, и дана некоторая самостоятельность ходить по городу без горничной и гувернантки. Но внутри, за платьем, все еще девочка. По-детски все ее трогает и волнует. Из самой же глубины душевной поднимаются неясные вопросы, сложные, туманные и неразрешимые. Душа жаждет действия. Хочется подвига, подвижничества. Что-то совершить. Вера бродит по комнатам, вдруг остановится, задумается, зажмурит глаза...

Царствовать, как Екатерина Великая — Державинская — «Фелица» — «Богоподобная царевна киргиз-кайсацкия орды, которой мудрость несравненна»... Сгореть на костре, после подвига!.. Жанна д'Арк!.. Стихи, заученные в детстве по-русски и по-французски, встают в памяти: Ломоносов, Державин, Виктор Гюго, Ламартин...

Пушкинская Татьяна?.. Фуй!.. Татьяна — это вздор!..

Кисейная барышня!.. Любовь — пошлость!.. С такими-то запросами души — любовь?.. В мире и так довольно пошлости...

Откроет глаза — перед нею по стенам гравюры, литографии, картины масляными красками... Ладурнер, Клодт, Виллевальде. Развод караула... Знаменщик Семеновского полка... Группа на биваке. Белые штаны, мундиры в обтяжку, широкие лосиные ремни, черные каски с медными орлами и высокими волосяными султанами...

Дедушкина утеха.

Вера — сирота. Она живет у дедушки — генерал-адъютанта Афиногена Ильича Разгильдяева, старого вдовца.

Ее никто и ни в чем не стесняет. Она может уходить из дома, гулять одна, зимою ходить на каток в Таврическом саду, летом гулять по Петергофскому парку. Ей верят. Она — Ишимская, она была в институте и, выйдя из третьего класса, закончила образование дома с приходящими учителями.

Вера остановится против зеркала и долго смотрит на себя. Красива? Волосы русые — поэт-романист сказал бы: пепельные! Глаза голубые. В глазах есть нечто напряженное и смелое. Стальное! Дерзкое?! Сложена? Недурно... Кузен Афанасий говорит: «На пять с плюсом. Гвардейский ремонт...» Лицо овальное, как в паспортах пишут, «обыкновенное»... Полюбить, увлечься?.. Не тенором же увлечься или канельмейстером Главачем?.. Фуй!.. Или полюбить такого осла, как Афанасий? Щиплет горничных, говорят — имсет любовницу, французенку из Михайловского театра — Мими. Какая гадость!.. Юное личико складывается в презрительную гримасу. Вера поворачивается на каблуках и идет по залу. Высокие каблуки щелкают по гладкому, натертому паркету — «ток!.. ток!.. ток!..» Гренадеры, егеря, стрелки, кирасиры, уланы с гравюр и картин глядят на нее. Любуются. На колонне желтого мрамора с розовыми жилками стоит белый бюст Императора Николая I — кумира деда Веры.

Вера дерзко проходит мимо. Щелкают каблучки — «ток!.. ток!.. ток!..»

— А ты полюбил бы?..

«Ток!.. ток!.. ток!..»

— Император?

Вызывающе, дерзко смотрит на холодный мрамор бюста.

— Не боюсь!..

«Ток!.. ток!.. ток!..»

Седьмого июля — канун Казанской — графиня Лиля потащила в Казанский собор Веру ко всенощной.

Толпа народа. Все стеснилось в левой стороне собора, где на возвышении, в золоте драгоценного оклада, в блистании множества самоцветных, пестрых камней, отражавших бесчисленные огни свечек, стоял прекрасный образ.

Шел долгий акафист. Кругом Веры — белые кителя и сверкающие погоны офицеров, стояли солдаты, мужики, бабы, виднелись длинные сюртуки купцов, поддевки дворников и лавочных сидельцев, платки женщин старых и молодых. Было душ-

но, от ладана сладко кружилась голова, пахло духами, розовым маслом, дыханием толпы, потом, сапогами, деревянным маслом. Веру толкали, хлопали по плечу свечками, шептали на ухо: «Владычице!..», «Казанской!..», «Празднику!..». Отравляли Веру смрадом дыхания.

Кругом были напряженные лица, страстно верующие глаза, люди усталые, потные и счастливые... Прекрасно, вдохновенно пели митрополичьи певчие. Изумительно шло богослужение. В самую душу вливались слова тропаря, запоминались навсегда.

«...Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго!.. За всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим...»

«Вот, вот оно где — настоящее», — думала Вера, опускаясь на колени рядом с графиней Лилей.

И у Веры становилось на лице то же умиленное выражение, какое было у графини Лили, какое было у всех молящихся вокруг образа.

От долгого стояния, от духоты, от толпы — во всем теле явилась сладкая истома. Сердце преисполнилось восторгом, и хотелось донести этот восторг до дома, как в детстве доносила Вера зажженную свечку от «Двенадцати Евангелий», от «Плащаницы», от «Светлого Воскресения»...

II

Эти летние дни в Петергофе, на даче деда, Вера была под обаянием глубокой веры. Зажженный огонек любви и веры она донесла до дачи на Заячьем Ремизе и продолжала носить, не гася, и дальше.

Она избегала на прогулках Нижнего сада, где много бывало народа, гуляла по тихим дорогам Английского парка, любовалась отражениями в прудах кустов и деревьев и белых стен павильонов на Царицыном и Ольгином островах. С графиней Лилей она предпринимала далекие прогулки на высоты деревни Бабий Гон, к Бельведеру и мельнице, к сельскому Никольскому домику.

Там солдат-инвалид отворял двери и показывал в шкафу за стеклом длинный черный сюртук с медалями за Турецкую войну и Анненской¹ и два девичьих сарафана.

¹ Орден Святой Анны.



— Сюртук этот солдатский, инвалидный, — тихим сдержанным голосом рассказывал солдат-сторож. — Государь Император Николай Первый Павлович изволили надевать на себя, когда поднесли домик Государыне Императрице Александре Феодоровне. Ее Величество изволили часто совершать сюда прогулки, очень здесь распрекрасный вид, и как уставали они — то и повелел Государь Николай Павлович, чтобы отдохновение иметь Ее Величеству, построить избушку. Все работы делались тайно. Когда домик был готов, Государь сказал Государыне, будто пойдет он с детьми в кадетский лагерь, а Государыню просили обождать их в Большом дворце. И вот, значит, посылает Его Величество флигель-адъютанта с приказом провести Государыню на это место. И тут вдруг видит Государыня: на пустом раньше месте стоит красивая изба, и из нее выходит отставной солдат в сюртуке Измайловского полка, вот в этом самом, с золотым галуном на воротнике и шевронами на левом рукаве, — хлеб-соль у него в руках, и просит тот солдат Государыню отдохнуть в его избушке. И солдат тот был сам Государь Император. Входит умиленная и растроганная до слез Государыня в избу, а там выстроены во фронте ее дети.

— Дозвольте, — говорит солдат, — Ваше Императорское Величество, представить вам моих детей и просить вашего покровительства им. Старший мой сын, Александр, хотя и солдатский сын и всего ему минуло девятнадцать лет, а уже флигель-адъютант, и о нем я не прошу, а вот о других моя просьба. Десятилетнего Константина — благоволите, Матушка Царица, определить во флот, семилетнего Николая просил бы в инженеры, а меньшого моего Михаила в артиллерию. Старшую мою дочь Марию хотелось бы в Смольный Институт, вторую — Ольгу — в Екатерининский, а младшую в Патриотический...

— Вот в этих самых сарафанах и представлялись Государыне Великие Княжны, как простые солдатские дочери.

— А ты знаешь, Вера, — сказала по-французски графиня Лиля, — почему Император Николай Первый не хотел ничего просить для своего старшего сына, нынешнего нашего Государя...

— Et bien?¹

— В эти дни Государь хотел его в крепость заточить, казнить, как казнил Петр своего сына Царевича Алексея.

— Боже мой!.. Да за что же?..

— За роман с Ольгой Калиновской, на которой хотел жениться Наследник и которая вышла потом замуж за графа Ап-

¹ Ну? (фр.)

раксина. Такой, говорят, скандал тогда вышел! Твой дедушка помнит, да не любит о том рассказывать.

Графиня Лиля берет Веру под руку. Она лет на шестнадцать старше Веры, старая дева, фрейлина двора и любит придворные сплетни. Они выходят из Никольского домика. Перед ними — идиллия прошлого царствования, рыцарского века, тонкого ухода, баллад, сонетов, танцев, пастушков, пастушек, сюрпризов — подарков, альбомов со стихами и акварельными картинками, любви до гроба, мадригалов, век той красоты, немного искусственной, казенной, вроде тех литографий, что висят по стенам дедушкиной квартиры. Перед ними ширь петергофских полей и лугов. Ивняк растет вдоль болотных каналов, копны душистого сена раскиданы по полям, повсюду красивые группы кустов и деревьев, прилизанная, причесанная, приглаженная природа петергофских царских затей.

За лугами и холмами — город-сказка — горит золотыми крышами дворцов и куполами церквей, густою зеленью садов и парков Новый Петергоф. За ним синь моря с прикрытым тонкой дымкой финским берегом. От Петергофа несутся звуки военной музыки, и кажется, что все это не подлинный мир, но яркая сцена нарядного балета.

Не жизнь — сказка. Сказка жизни...

Ранним утром графиня Лиля с Верой спустились в Нижний сад и пошли по главной аллее к Дворцовому каналу.

По всей аллее между высоких лип, дубов и каштанов белели солдатские рубахи и голландки матросов. Саперы и матросы Гвардейского экипажа готовили к 22 июля иллюминацию.

Только что установили белую мачту, и молодец матрос, краснощекий, безусый богатырь — Вере казалось, что она видит, как молодая кровь бежит по его жилам, — поплевал на руки и, ловко перебирая руками, полез на мачту. Он делал это так легко, что на него приятно было смотреть. Вера не сводила с него восхищенных глаз. Он поравнялся с вершинами деревьев, достиг верхушки мачты.

— Давайте, что ль! — крикнул он вниз веселым голосом. И ему стали подавать канат с навешенными стаканчиками с салом.

Вдруг... Вера не могла понять, как это случилось, — сломилась ли под тяжестью матроса верхушка мачты, или он сам не удержался на ней, — Вера увидела, как матрос согнулся вниз головой и полетел вниз.

Вера зажмурила глаза.

Раздался глухой стук. Точно тяжелый мешок ударился о землю... Потом наступила мгновенная тишина. Такой тишины Вера еще не знала.

Графиня Лиля тащила Веру за рукав.

— Вера!.. Идем... Какой ужас!..

Вера стояла неподвижная и с немым ужасом смотрела, как в двух шагах от нее дергалась в судорогах нога в просторных белых штанах, как налилось красивое лицо матроса несказанной мукой, потом вдруг побелело и застыло.

Толпа матросов оттеснила Веру от убитшегося и накрыла его шинелью. Все сняли фуражки и стали креститься.

Ужас смерти прошел мимо Веры.

Вера еще никогда не видала мертвецов. Ее родители умерли в деревне, когда Вера была в институте, и Веру не возили на похороны. Она не знала сурового безобразия смерти. Ей не пришлось бывать на похоронах. Иногда на прогулке встретит Вера шествие. Но в нем нет безобразия смерти. Шестерка лошадей везет колесницу, сплошь покрытую цветами и венками, сзади ведут лошадь, звучит торжественный похоронный марш, и мерным шагом под грохот барабанов идут войска. Пахнет примятым ельником, еловые ветки разбросаны по дороге. Вера остановится и смотрит войска; совсем как у бабушки на картинах. О покойнике в гробу она и не вспомнит. По привычке бездумно перекрестится — так ее учили.

Эта смерть матроса была первая смерть, которую Вера увидела на пороге своей девичьей жизни, и она ее поразила, произвела такую страшную несправедливость, что Вера потеряла все то настроение умиленности, что жило в ней эти дни.

— Идем же, Вера,— настаивала графиня Лиля, а сама тряслась всем телом и не двигалась с места.

Лазаретный фургон рысью ехал по аллее. Матросы несли убитшегося, и между их спинами Вера увидела белое страшное лицо.

Знакомый офицер, мичман Суханов, подошел к Вере и графине Лиле.

— Николай Евгеньевич,— спросила графиня Лиля,— неужели?.. Совсем?

— Да... Убился... Судьба... Кismet. Доля такая...

— Убился?.. Что же это? — сказала Вера.

— Сорвался... Это бывает... Молодой...

— Бывает...— с негодованием говорила Вера, сама не помня себя.— На потеху публике... Иллюминацию готовили!.. Потешные огни! У него же мать!.. Отец!..

— Это уже нас не касается,— сухо сказал офицер.— Несчастный случай.

— Вера!.. Вера,— говорила графиня Лиля,— что с тобой? Подумай, что ты говоришь!

Вера шла, опустив голову. Та свеча, что донесла она от Казанской, была загашена этим глухим стуком живого человеческого тела о землю. Ее душа погрузилась в кромешный мрак, и только выдержка воспитания заставляла Веру идти с графиней и Сухановым к дому. Она тряслась внутренней дрожью, и все ей было теперь противно в том прекрасном мире, который ее окружал.

III

Вера не хотела выходить на смотр экипажей и выездов и к завтраку, хотела отговориться нездоровьем. Генерал второй раз присылал за нею.

В комнате Веры графиня, стоя перед зеркалом, пудрила нос.

— Боже!.. Как загорела! — говорила она.— И нос совсем красный. И блестит!.. какая гадость!.. Тебе хорошо, в твои восемнадцать лет и загорать — красота, а мне нельзя так загорать... И полнею тут. Прогулки не помогают...

Блестящие черные глаза графини Лили были озабочены. Она подвила спереди челку, поправила шиньон. Вера смотрела на нее с ужасом. «Как может она после того, как тут убится матрос, думать о своей красоте!..»

Графиня Лиля заглянула в окно.

— Вера,— сказала она,— тебе пора садиться в брэк. Генерал уже забрался на него. Когда тебе перевалило за тридцать, милая Вера, нужно обо всем подумать. Что-то нам покажет Порфирий?.. Я догадываюсь... Я думаю, что я даже отгадала... Идем, Вера!..

На дворе высокий худощавый генерал, в длинном сюртуке с золотым аксельбантом, в фуражке, сидел на козлах высокого брэка. Рослые вороные кони не стояли на месте. Державший их под уздцы грум побежал помочь Вере забраться на козлы. Две белые собаки в мелких черных пятнах, точно в брызгах, два керрич-дога, приветливо замахали хвостами навстречу Вере.

— Флик!.. Флок!.. На место! — крикнул генерал.— Вера, опаздываешь!

Собаки покорно побежали к передним колесам экипажа. Генерал ту же натянул вожжи, и вороные кони, постепенно на-

бирая ход, сделали круг по усыпанному песком двору и выехали за ворота на шоссе.

Гости генерала пестрой группой стояли на деревянном мостике, перекинутом через шоссеиную канаву у входа в сад. Впереди всех — баронесса фон Тизенгорст, старый друг генерала и большая лошадица, у нее в Лифляндской губернии был свой конный завод; подле нее молодой, в темно-русых бакенбардах, крепко сложенный, коренастый, красивый лейб-казачий ротмистр Фролов, тоже коннозаводчик, французский военный агент Гальяр, бойко говоривший с графиней Лилей, тщательно картавившей с настоящим парижским шиком, и пришедший вместе с Верой и графиней Суханов ожидали выездов. Несколько сзади стояли Карелин, чиновник иностранных дел в форменном кителе, и полковник генерального штаба Гарновский, приятель сына генерала Порфирия.

— Русские женщины удивительны, — говорил Гальяр, — они говорят по-французски лучше, чем француженки.

— Oh, mon colonel¹, вы мне делаете комплименты! Французский язык родной для меня с детства.

— Я полагаю, графиня, — серьезно сказала баронесса фон Тизенгорст, — нам лучше сложить зонтики, чтобы не напугать лошадей. Лошади генерала не в счет, их ничем не испугаешь, но Порфирия Афиногеновича и особенно Афанасия, бог их знает, что у них за лошади.

— Скажите, баронесса, — обратился к Тизенгорст Карелин и вскинул в глаз монокль, — это правда, что никто, и Афиноген Ильич в том числе, не знает, что готовят ему сын и внук?

— Совершеннейший секрет, милый Карелин, — сказала графиня Лиля по-французски. — Никто того не знает. Порфирий Афиногенович готовил свой выезд в Красном Селе, а Афанасий в Царском.

— Неужели никто не проболтался? — сказал Гарновский.

— Никто. Ведь и вам Порфирий Афиногенович ничего не говорил и не показывал. И нам предстоит решить, чей выезд будет лучше, стильнее и красивее.

— Во Франции такие конкурсы уже делаются публично в Париже, — сказал Гальяр.

— Но мы еще, милый Гальяр, не во Франции, — улыбаясь, сказала графиня Лиля.

— Если выезды будут одинаковые — это возможно, — мягким баском сказал Фролов, — генеральский выезд мы все знаем,

¹ О, полковник (фр.).

но я никак не могу себе представить Порфирия в немецком брэке и с куцо остриженными хвостами у лошадей... Да вот и его высокопревосходительство.

Воронье кони просторною рысью промчались мимо судей по шоссе. Генерал сидел, как изваяние, прямой и стройный, рядом с ним без улыбки на бледном, грустном лице сидела Вера. Грум, сложив руки на груди, поместился сзади, спиною к ним. Керрич-доги дружной парой бежали у переднего колеса, и было удивительно смотреть, как собаки поспевали за широкою машистою рысью высоких, рослых коней.

— Прекрасны,— сказал Фролов.

Генерал свернул на боковую дорогу, объехал кругом, подкатил к гостям и беззвучно остановил лошадей. Грум соскочил с заднего места и стал против лошадей у дышла. Собаки, разинув пасти и высунув розовые языки, улеглись подле колеса.

— Картина,— сказал Фролов.— Что, в них четыре вершка с половиной будет?

— Полных пять, Алексей Герасимович,— с козел отозвался генерал.

— Настоящие, ганноверские,— сказала баронесса фон Тизенгорст.— Эта порода веками выводилась. Какая чистота линий. Обе без отметины. Я думаю, такой пары нет и в Придворном ведомстве.

— А собаки, собаки,— умиленно сказал Гарновский.— Просто удивительно, как они свою роль знают. Где вы таких достали, ваше высокопревосходительство?

— Подарок князя Бисмарка... Ну, бери,— крикнул генерал груму.— Уводи. Слезай, Вера. Сейчас Порфирий пожалует удивлять нас.

— Конечно, я угадала,— сказала графиня Лиля. Она подалась вперед, опираясь на зонтик и прислушиваясь. Она вдруг помолодела и похорошела. Румянец заиграл на ее полных щеках. Глаза заблестали, маленький, красивого рисунка рот был приоткрыт, обнажая тронутые временем, но все еще прекрасные зубы.

— Музыка,— восторженно сказала она и приложила маленькую пухлую руку к уху.

Из-за поворота шоссе все слышнее становился залиvistый звон колокольцев и бормотание бубенчиков.

Ближе, слышнее, веселее, ярче, залиvistее становилась игра троечного набора. И вот она вся, тройка буланых лошадей, показалась на шоссе. Вихрем неслась она мимо любопытных прохожих, мимо дач. Она пронеслась, мелькнула, не пыля по на-

рочно политому водой шоссе, мимо Афиногена Ильича и его гостей. Качался под расписной дугой широкий, ладный розово-золотистый жеребец, и колоколец на дуге мерно отзванивал такт его бега. Такие же розово-золотистые пристяжки неслись в растяжку. Их черные гривы взмахивались, как крылья, прямые хвосты были вытянуты. Стонали на ожерелках и на сбруе бубенцы, заливаясь неумолкаемою песнью. Спицы колес слились в одну полосу. Ямщик, в шапке с павлиньими перьями, в малиновой рубаше и бархатной поддевке, молодецки гикнул, проносясь мимо. Порфирий встал во весь рост в коляске, в накинута небрежно на одно плечо «николаевской» легкой шинели, и отдал честь отцу — и все скрылось в мгновение ока, слетело с политого водою участка дороги и запылило облаком прозрачной серой пыли.

— Н-н-да, птица-тройка,— раздумчиво сказал Карелин, выбрасывая из глаза монокль.— Чисто гоголевская тройка.

Облетев квартал, тройка приближалась снова. Она шла теперь воздушною рысью. Усмиренные бубенцы бормотали, и чуть позванивал серебряным звоном колокольчик на дуге.

— Ту-тпру-у!.. Ту-тпру-у!..— остановил лошадей ямщик.

Еще и еще раз прозвенел мелодично колокольчик: коренник переступил с ноги на ногу. Бубенчики на мгновение залились: пристяжная, отфыркиваясь, встряхнулась всем телом.

Порфирий, сбросив шинель на сиденье, выпрыгнул из коляски и, счастливый и торжествующий, быстрыми шагами подошел к отцу.

— Ну как, папа?

— Что же... Ничего не могу сказать... Очень хороша... Очень... Я чаю, такой тройки и у царя нет.

— У Великого князя Николая Николаевича Старшего есть еще и получше. Вся серая... Стальная... Кр-расота!.. Да не прочна. Побелеют с годами серые кони — разравняется тройка.

Фролов подошел к лошадям и гладил пристяжку по вспотевшим щекам. Белая пена проступила вдоль черного тонкого ремня уздечки.

— Наши!.. Задонские!..— сказал он.

— Да. Мой управляющий, бывший вахмистр, все ваши степи объездил. Настоящие калмыцкие «дербеты». А как легки на ходу!.. Пух!..

— Рысака откуда взяли? — деловито басом спросила баронесса фон Тизенгорст.

— Ознобишинский. На прикидке в бегунках, минута сорок верста,— счастливо улыбаясь, сказал Порфирий.

— Священная у калмыков масть,— сказал Фролов.— Как они вам таких уступили?

— Митрофан Греков устроил. За Маныч с моим вахмистром ездил, все их зимовники обшарил.

— Редкая масть... Изумительно подобраны. Коренник еще и в яблоках.

— Ну, давай, Порфирий, место... Кажется, и сынок твой жалует удивлять нас,— сказал генерал и сердито нахмурился.

Рослая, нарядная, караковая английская кобыла легко и вычурно — так была заезжена,— бросая ноги широко вперед, везла рысью легкий двухколесный французский тильбюри. Ею правил румяный молодой офицер, совсем еще мальчик, в маленькой меховой стрелковой шапке и в кафтане Императорской фамилии стрелкового батальона. Рядом с ним под легким белым с кружевом зонтиком сидела хорошенькая, весело смеющаяся женщина. Из-под соломенной шляпки с голубыми цветами выбились и трепались по ветру легкие пушистые темно-каштановые волосы. Блузка с буфами у плеч, легкая в фалболах юбка кремового цвета с голубыми мелкими цветочками была, как на акварельной картине времен Империи. Рядом с женщиной умно и чинно сидел белый, стриженный по законам пуделиной моды пудель с большим голубым бантом у ошейника.

— Боже мой,— воскликнула графиня Лиля,— Мимишка и ее белый пудель!

Графиня выговарила «белый пудель» по-английски, и оно вышло — «белы пудль».

— Нах-хал! — сердито сказал Афиноген Ильич и погрозил внуку пальцем.

Чуть покачиваясь, прокатил мимо мостика тильбюри. Женщина смеялась, сверкая зубами. Флик и Флок встали, насторожили черные уши и жадно и напряженно смотрели на пуделя.

Тильбюри скрылось за поворотом и, когда показалось снова, ни Мимишки, ни ее белого пуделя в нем не было. Рядом с молодцом-мальчиком офицером сидел такой же молодец-стрелок в белой рубахе. Точно и не было в тильбюри никакой женщины, не было и пуделя. Только показалось так... Офицер легко выпрыгнул из экипажа, бросил вожжи солдату и чинно направился к генералу.

— Пор-р-роть надо за такие фокус-покусы,— сказал Афиноген Ильич.— Нах-хал!.. Тут кузина девушка... Тебя за такие проделки из батальона, как пить дать, вышвырнут...

— Дедушка!.. Ваше Высокопревосходительство!.. Ничего не вышвырнут. Высочайшее одобрено. Вчера Великий князь Владимир Александрович смотрел. Очень одобрил. Великий князь Константин Николаевич в Павловске встретил, подошел, смеялся...

— А ты, Афанасий, как показывал-то свой выезд? в полном параде? — беря под руку офицера, спросил Фролов.

— Ну, натурально. С пуделем и со всем, что к нему полагается, — весело и громко, задорно поглядывая на Веру, сказал Афанасий.

Вера не обратила внимания на взгляды Афанасия. Она стояла, далекая от всего того, что происходило вокруг. Вряд ли она и видела все экипажи. Она вдруг перестала понимать всю эту праздную, бездельную, красивую жизнь. Полчаса тому назад здесь, совсем недалеко, убился молодой, полный сил матрос, и там, в деревне!.. О! Боже мой!.. Что будет в деревне, когда там узнают о его смерти? Как страшен весь мир, с экипажами, лошадьми, бубенцами, странными женщинами и их собачками!.. Где же Бог?.. Где справедливость и милосердие? Где Божия Мать, о Ком так любовно и свято думала она все эти дни? «Пресвятая Богородице, спаси нас...» Нет... не спасет Она!.. Ее нет... Если Она есть, как может Она быть с этими людьми, все это допускать?..

IV

— Что же, — поднимаясь на стеклянный балкон и проходя через него за дамами в столовую, говорил Карелин, — вы показали нам сегодня, Афиноген Ильич, не премировку лучших выездов, которые и премировать нельзя, так различны они и так каждый по-своему хорош, а три политические программы, три настроения, три веяния нынешнего времени.

— Что вы, Аким Петрович. Уверяю вас, об этом и не думано.

— Охотно верю-с. Да вышло-то оно так.

Генерал просил к столу.

— Пожалуйста, баронесса, рядом со мною. Вы, графиня, к сыну, Суханов с Верой рядом, Аким Петрович напротив баронессы...

— Это интересно — то, что вы сказали, Аким Петрович, — сказала баронесса Тизенгорст, садясь по правую руку генерала. — Поразительно верно. И действительно так... Три нации, три направления нашей политики.

— Ваше высокопревосходительство, вы на празднике будете в каске? — спросил Фролов.

— Ну, натурально, Алексей Герасимович. На иллюминацию и концерт «при пароле» объявлена форма одежды обыкновенная — каски без плюмажей.

— Совсем будете, как, я видал на картинках в «Иллюстрации», князь Бисмарк.

— Вот я и говорю, — продолжал Карелин, — наш генерал с его брэком и ганноверскими конями, с его собаками — это прошлое — блаженной памяти Государь Николай Павлович, маневры русских и прусских войск под Калишем тридцать пятого года. Совсем недавнее прошлое — когда мы дали маститому Императору Вильгельму возможность молниеносно разбить французов под Седаном и войти в Париж — памятный семидесятый год... Мудрая вековая политика. Она слабеет последнее время, и ваш сын, Порфирий Афиногенович, предвосхищает близкое будущее — славянофильскую политику, обращение вспять от Европы — птицу-тройку со всею ее анархической лихостью... Да-с, Порфирий Афиногенович, — повернулся Карелин к Порфирию, — ваша птица-тройка сама прелесть, но и анархия-с!.. Русь — не Россия, но Русь!.. Подлинная Русь — и вы, пожалуй, почти современны. В сферах идут колебания... Так вот-с... Ну а, молодой человек, вы далеко пройдете-с... Предвосхищаете-с будущее-с... Альянс с Францией... Самодержавную Русь под руку с демократической республикой Францией.

— Да что вы, Аким Петрович, — запротестовал Фролов. — У нас, батюшка, марсельеза запрещена. Попробуйте заиграть или запеть — квартальный на цугундер потащит... Какой же альянс?..

— И тем не менее, Алексей Герасимович, наша обожаемая Цесаревна, чернокудрая, с голубыми глазами, отразившими датские воды Северного моря, принцесса Дагмара, имеет все причины ненавидеть объединенную Германию и тяготеть к иному государству. А — *ce que la femme veut — Dieu le veut*¹.

— Но Государь еще не стар, — нерешительно сказал Гарновский. — Ему всего пошел пятьдесят восьмой год.

— Не стар, но сдает, — переходя на французский язык, возразил Карелин. — Он поддался общественному мнению. К чему нам этот славянский вопрос, раздуваемый так в Москве? Поверьте мне, — Катковы, Аксаковы, Хомяковы — не менее вред-

¹ Что хочет женщина — Бог того хочет (фр.).

ны России, чем полоумные студенты, что идут просвещать народ в деревни. В нашем дворянстве и в офицерских кругах сердце превалирует над разумом. Идут к Черняеву сражаться за сербов, забывая, что они русские офицеры и их долг думать о России, а не о Сербии.

— Не слушается старого князя Бисмарка,— буркнул себе под нос старый Разгильдяев.

— Позвольте возразить вам,— сказал Порфирий. Он покраснел и был возбужден. Успех его тройки, а он ощущал его без слов, выпитое вино кружили ему голову. Ему было жарко. Мелкие капли блестели на его высоком, переходящем в лысину лбу.

— Пожалуйста. Du choc des opinions jaillit la verite¹,— сказал Карелин, выбросил монокль из глаза и занялся форелью, положенной ему лакеем на тарелку.

— Мой товарищ по Пажескому корпусу Николай Киреев, мой камер-паж — Дохтуров, лейб-гусар Раевский, гродненский гусар Андреев едут к Черняеву в Сербию. Такие люди!.. И, конечно, с Высочайшего разрешения.

— Я о том и говорю-с...

— Да ведь это — подвиг, Аким Петрович, самый настоящий подвиг. И я сам сейчас все бросил бы и поехал туда, где братья славяне, если бы не был уверен, что и без того попаду на войну за освобождение славян.

— Эх куда хватил! — сказал сердито Афиноген Ильич.— Да неужели ты думаешь, что мы будем драться за каких-то братушек? Этого только не доставало!..

— Иначе и быть, папа, не может. Если Государь Император разрешил этим доблестнейшим офицерам ехать к Черняеву, значит, сербская война и сербская победа угодны Его Величеству... Государь за славян... В «Новом Времени» статья о неудачах и бедствиях сербских дружин заканчивается: «...нет, не выдадим мы *нашего* Черняева...» Этим *не выдадим* дышит вся Россия — от последнего мужика до нас, офицеров корпуса колонновожатых, до самого Государя!..

— Н-да-а,— протянул Карелин.— Птица-тройка сорвется, понесет сама не знает куда. В гору, под уклон ли, ей все равно. Хоть в пропасть.

— Нет... Будет война!..— с убеждением сказал Порфирий и залпом осушил большую рюмку легкого белого вина.

¹ Из столкновения мнений выясняется истина (фр.).

— Какая война? — недовольно сказал Афиноген Ильич, — брось молоть ерунду. Никто ни о какой войне не думает. Сербам прикажут сидеть смирно, а Черняеву вернуться назад.

— *Comment, mon colonel, vous voulez avoir la guerre?* — сказал Еальяр.

— *Mais certainement. C'est notre devoir.*

— *Vos troupes sont excellentes, mais votre administration et surtout vos trains laissent beaucoup à désirer¹.*

— Смею уверить, *mon colonel*, опыт тысяча восемьсот пятьдесят пятого года не прошел для нас бесплодно. С введением всеобщей воинской повинности армия переродилась. Вы не узнаете нашей реформированной и теперь еще перевооружающейся прекрасными скорострельными берданками армии.

— Ну, ну, — сказал Карелин, — достойный похвалы патриотизм. Не забудьте, милый мой, что за Турцией стоит Англия и, возможно, что и Австрия... Перевооружение, о котором вы говорите, еще и не коснулось армии, а только гвардии, кавалерии и стрелковых частей. Обуховские и пермские клиновые пушки хуже английских и немецких...

— Люблю, когда штатские говорят о военных делах!

— Нам, дипломатам, дано и нужно знать военное дело. Ведь, по Клаузевицу, его, вероятно, вы знаете, — война есть продолжение политики. Позвольте нам, прежде чем допустить начало войны, все взвесить. Сколько раз мы воевали с Турцией. Зачем?.. Форсировать теперь Дунай невозможно. Там, где он узок — Никополь и Руцук, первоклассные крепости, запирают его, и при современной артиллерии как вы ими овладеете?.. Там, где крепостей нет, Дунай так широк, глубок и быстр, что представляет из себя непреодолимую преграду. Это признали и немецкие авторитеты.

— Может быть, нарочно, — сказал Фролов.

— Нет, Алексей Герасимович, — совсем не нарочно, а из расположения к нашему благородному Государю Императору. Откуда, Порфирий Афиногенович, вы подойдете, наконец, к Дунаю, который не лежит в пределах Российской империи?

— Подумаешь!.. Сколько трудностей, сколько трудностей, — вздыхая, сказала графиня Лиля.

¹ — Как, полковник, вы хотите воевать?..

— Ну, разумеется. Это наш долг.

— Ваши войска великолепны, но управление ими и особенно снабжение оставляют желать многого (*фр.*).

— Да, хотя бы через ту же Сербию,— быстро сказал Порфирий.

— Никогда Австрия этого не позволит. Для нее это — *casus belli*¹. А дальше Балканские горы...

— Да! Балканы! — сказал Афиноген Ильич.— В бытность мою в Берлине говорил мне князь Бисмарк, что немецкое командование считает, что переход через Балканы для современных армий с их снабжением совершенно невозможен.

— Папа!.. Суворов перешел Альпы...

— Вздор мелешь, Порфирий, у нас нет Суворова.

— Мы его ученики...

— Ну, хорошо!.. хорошо,— раздражаясь на Порфирия, сказал Карелин.— Допустим, что все у вас прекрасно вышло. Вы орлами перелетели Дунай и Балканы, вы у стен Константинополя... А дальше?

— Как что дальше?.. Мы вошли в Константинополь. Ведь это заветная мечта русского народа!

— Русский народ, я думаю, и не слыхал никогда про Константинополь,— сказал Гальяр.

— Черное море — Русское море,— не слушая Гальяра, по-русски продолжал Порфирий.— Славяне свободны. Славянские ручьи слились в Русском море...

— Не забывайте, что поэт дальше сказал: «оно ль иссякнет»? — возразил Карелин и с нескрываемою иронией через монокль посмотрел на Порфирия.— А что, ежели и правда иссякнет?

— Стойте, стойте, Порфирий Афиногенович,— своим мужским басом энергично вступила в разговор баронесса фон Тизенгорст,— вот уже точно — «птица-тройка»... А европейский концерт?.. *Comment regardera L'Europe?*² — А европейское равновесие? Я жила эту зиму у моей кузины в Англии, и я знаю, что ни лорд Биконсфильд, ни лорд Салисбюри никогда не допустят, чтобы в Константинополе, а потом в Средиземном море появились русские корабли. И смею вас уверить, милый Порфирий Афиногенович, что как только русские войска подойдут к Константинополю — английский флот войдет в Дарданеллы.

— Не испугаете, баронесса.

— Но, *mon colonel*,— сказал Карелин,— баронесса София Федоровна совсем и не хочет вас пугать. Я вам тоже должен сказать секретно, что Император Франц-Иосиф, граф Андраши

¹ Повод начать войну (лат.).

² Как посмотрит Европа? (фр.)

и Каллаи, распоряжающиеся австрийской политикой, не могут допустить русского влияния на Балканах. Им Турция много удобнее, чем Россия. Чтобы освободить славян — нужно уничтожить Австрию. Добровольческое движение Австрию не пугает — оно выгодно даже ей, ибо оно ослабляет и Турцию и Сербию. Но вмешательство России? — это уже совсем другое дело... И притом — Румыния... А, нет! — Румыния теперь совсем не та, что была при матушке Екатерине или Александре Первом. Там нет больше господарей, которых легко было купить, — там теперь демократия, скупщина, и какой там шовинизм!.. «L'Europe nous regarde...»¹

— Черта с два смотрит Европа на Румынию, — пробурчал себе в густые усы Фролов. — Нужны ей очень эти Руманешти.

— La Roumanie — enfant chéri de L'Europe. L'Europe ne permettra pas toucher à la Roumanie², князь Бларамберг и вице-президент Сената Ион Гика открытые враги России и члены могущественной туркофильной партии.

— Подумаешь!.. Как все это сложно!.. Как трудно!.. Бедный Государь, — с тяжелым вздохом сказала графиня Лиля и положила на блюдечко вторую порцию малины со сливками.

— Удивительная у вас малина, Афиноген Ильич...

— А Братиано?..

— Que c'est que c'est Братиано? Бларамберг сказал про него: «Il a commencé sa carrière avec Orsini et il la termine avec un cosaque»³.

— И отлично!.. Фролов, мотай на ус!.. Братиано — большой патриот. Вы наверно знаете, как он ответил на это: «Si je savais qu'une alliance avec le diable, non seulement avec un cosaque, ferait du bien à ma patrie, je le signerais»⁴.

— Un gaillard!⁵

— Как трудно!.. Подумаешь, — шептала графиня Лиля, приканчивая малину. Она одна еще ела, все уже кончили и ожидали ее. — Англия, Австрия, Румыния, — и все враги России и славян... А там Биконсфильд, Андраши, Бларамберг и тоже злейшие враги России. Бедный Государь.

¹ На нас смотрит Европа... (фр.)

² Румыния — любимое детище Европы. Европа не позволит трогать Румынию (фр.).

³ Что такое...? Он начал карьеру с Орсини и кончает ее с казаком (фр.).

⁴ Если бы я знал, что союз с самим чертом, не только с казаком, принесет пользу Родине, я и такой союз подписал бы (фр.).

⁵ Шутник! (фр.)

Встали из-за стола и перешли на просторный балкон, где был приготовлен кофе. Афиноген Ильич обратился к баронессе:

— Вы позволите курить?

Мальчик грум подал генералу трубку с длинным чубуком и, став на колени, помогал ее раскурить.

V

— Николай Евгеньевич, как вы на это смотрите? — спросила Суханова Вера.

Они стояли вдвоем в стороне от гостей у стеклянной двери балкона. Три маршами вниз спускалась широкая лестница. Вдоль нее пышно разрослись в больших горшках розовые гортензии. Перед балконом в круглой клумбе цвели табаки, левкои, резеда и душистый горошек. Пригретые полуденным солнцем цветы дышали пряным ароматом. Шмели с тихим жужжанием носились над клумбой. Покоем и ленью веяло от ярко освещенного солнцем сада.

— Мне тошно на душе, Николай Евгеньевич. Неужели и война еще возможна? Вот там на наших глазах матрос убится — одна смерть, — и не могу успокоиться, не могу осознать себя... Не могу понять, как после этого может быть это богатство, красота, лошади, собаки, сытая еда, довольный смех и праздные разговоры... да еще о войне... Ведь на войне массами будут убивать вот таких же матросов и солдат?

— Да, Вера Николаевна.

— Я не могу постигнуть всего этого!.. Скажите... Мне говорили, что вы в Морском училище участвовали в каком-то кружке самообразования.

— Да, — улыбаясь бледной улыбкой, сказал Суханов, — это верно. Нас прозвали «китоловами». Мы мечтали заняться китобойным промыслом, чтобы добыть средства на дело революции. Юношеские то были мечты, навеянные, конечно, чтением Майн Рида, Жюль Верна, Вальтера Скотта и историей великой французской революции.

— Почему — революции?

— Без революции вот все так и будет, Вера Николаевна, — войны, засилие богатых и знатных. И мальчик грум, стоящий на коленях перед генералом...

— Он помогает раскурить трубку. Я и сама стала бы для этого на колени.

— Вы — другое дело... Вы — родственница. Вы по любви стали бы, а не по обязанности. Ведь это как было при крепостном праве, так и теперь осталось.

— Ну, разве?..

— Нет, хуже, чем было тогда. Крепостной знал, что он — раб, а этот думает, что он свободен... А какая же свобода?.. То же «ты» и тот же рабий страх. Тогда только боялись плетей на конюшне, а теперь боятся, что прогонят с места, — голода боятся...

— Да, пожалуй... А как вы думаете?.. война за освобождение... Ведь это хорошо?.. Как вы смотрите на Черняева и на тех, кто идет к нему?..

— Я знаю, что в революционных кружках обсуждали этот вопрос.

— И что же?..

— В Одессе образовались даже нелегальные комитеты помощи добровольцам, но, когда казенный патриотизм стал проявлять себя, когда об этом заговорили в «Новом Времени» и стали писать Катковы, — они загасили искреннее душевное сочувствие сербам... Там сказали — зачем ехать на Балканы и сражаться за свободу славян, когда миллионы русских крестьян продолжают находиться в рабском угнетении?

— Значит?..

— Надо бороться не с турками за свободу славян, а с царским правительством за свободу крестьян. И, если будет война, ее надо использовать. И Англия и Австрия в этом случае не враги наши, но союзники, — понижая голос до шепота, сказал Суханов.

— Вечная борьба — вечное убийство!

— Как у Дарвина в его «Struggle of life»¹. Вы читали?

— Нет...

За стеклянную дверь в саду было тихо. На балконе жарко разгорался спор. Дверь отворилась, и подле Веры появился ее троюродный кузен Афанасий. Его румяное загорелое лицо было краснее, чем обыкновенно. Он был сильно навеселе.

— Иди, Вера, выручай. Папаня мой сейчас в драку полезет с этим штатским дип-пломат-том, черт его дери совсем!..

Вера отвернулась от Афанасия.

— Что флот?.. Хорош мой выезд?.. А?.. Лучше не выдумаешь?.. На завтрашнем празднике, а?.. Лучший выезд?.. Как это поэт сказал?.. Наш поэт, царскосельский... Гусар!.. Он это понимал по-нашему.

¹ «Борьба за существование» (англ.).

Узоры радужных огней,
Дворец, жемчужные фонтаны,
Жандармов черные султаны,
Корсеты дам, гербы ливрей,
Колеты кирасир мучные,
Лядунки, ментики золотые,
Купчих парчовые платки,
Кинжалы, сабли, алебарды...
В одну картину все сливалось
В аллеях темных и густых
И сверху ярко освещалось
Огнями склянок расписных!..

— Навесили склянки, флот?..

— Навесили, Афанасий Порфирьевич... Только вот что: вы
прошлись бы, прогулялись...

— Вы полл-агаете, милостивый государь, я пьян?.. Н-н-нет...
До этого еще не дошло-с!.. Но может дойти и до этого!..

Афанасий посмотрел на Суханова тяжелым пьяным взглядом и сказал быстрым шепотом:

— Я люблю Веру!.. И никому ее не отдам!.. Никому!! Кроме смерти!.. Слышите?!

Суханов пожал плечами. Афанасий нахмурился, сбежал в сад и скрылся в кустах сирени и желтой акации.

На балконе становилось жарко. И не только от яркого июльского солнца, от сытного завтрака, вина, кофе, ликеров и коньяков, соблазнительно игравших, как самоцветные камни, в хрустальных графинах на подвижном столике, но, главным образом, от остро разгоревшегося спора между Порфирием и Карелиным.

Гости разместились группами по соломенным креслам, стоявшим между тропическими растениями в горшках и кадках. Генерал протянул ноги в узких чакчирах со штрипками и медленно курил через длинный черешневый мундштук трубку, с удовольствием прислушиваясь к словесному бою сына с Карелиным. Флик и Флок покорно лежали на волчьей шкуре у ног генерала. Рядом в плетеном соломенном кресле сидела баронесса, курившая тонкую «дамскую» папироску. Она прищуренными глазами смотрела на Порфирия. Графиня Лиля села в углу под большой пальмой напротив Порфирия и уже не скрывала влюбленности и обожания в своем взгляде. Фролов в длинном темно-синем чекмене похаживал сзади Порфирия и, куря папиросу, вставлял временами слова в спор.

— Массонство... массонство,— кричал Порфирий.— Вот что губит Россию через ваше ведомство иностранных дел.

— Весьма странных дел,— баском вставил Фролов, подошел к столику и налил себе большую рюмку коньяка.

— Ар-ром-мат...— сказал он, прикрывая глаза и нюхая коньяк.— Благородный напиток!

— При чем тут массонство,— пожимая плечами, сказал Карелин, вставил монокль в глаз и посмотрел на Порфирия строгим взглядом.— Массоны не только у нас... Они во всех слоях европейского культурного общества...

— Потому-то это европейское культурное общество и покровительствует турецким зверствам и угнетению славян, потому-то оно и прогнило насквозь. Массонство — это тот же интернационал. Международное братство, преследующее свои темные, мировые цели, но не цели государственные. Когда этого не было — была Россия. Россия прежде всего... А нынче?.. Нет, это еще раньше началось. С Императора Александра Первого, да вот с этих Нессельроде, со времен конгрессов с их Меттернихами началось это кисельное поддавание иностранной указке.

— Свели на нет успехи и победы четырнадцатого года; после доблести Севастополя устроили Парижский мир,— пробасил Фролов.

— Народам нужно жить в мире, и для этого необходим какой-то сговор,— сказал по-французски Гальяр.

— Вот ваши массоны и сговариваются за счет России.

— Да ничего подобного. Все ваше воображение,— сказал Карелин.

— Нет-с, раньше было не так-с!.. Не так это было раньше. Петр Великий, учреждая в тысяча семьсот двадцатом году иностранную коллегия, писал: «К делам иностранным служителей коллегии имеет верных и добрых, чтобы не было дираво и в этом крепко смотреть...» Наверное, знаете?.. Золотыми буквами надо это у вас на Певческом мосту выбить.

— Ну, ну,— сказал Афиноген Ильич.

— А пошли — массоны, и стало — дираво!..

— А при Императрице Елизавете Петровне да при матушке Екатерине не нами Европа командовала, а мы предписывали Европе и что хотели, то и делали,— сказал Фролов.

— Птица-тройка,— сказала, снисходительно улыбаясь, баронесса фон Тизенгорст.

— Верно, казак!.. Тогда английский посол жаловался своему правительству, что русские мало опасаются других держав,— сказал Порфирий,— ну а напустили массонов, и пошло все шиворот-навыворот.

— Ну, ну!.. Каково, Аким Петрович!.. Наступление по всему фронту.

— Тогда были у нас Суворов, Потемкин и Бецкий,— сказал Гарновский.

— А потом, извините, Аким Петрович, пошел чиновник... Да это еще полбеды, а то пошел масонский интернационал, и российские дела решаться стали в ложах.

— Все это бездоказательно.

— Как, батюшка, бездоказательно?..— сказал, останавливаясь против Карелина, Фролов.— Порфирий дело говорит. Вот вы сейчас по славянскому вопросу говорили — кого называли?.. Биконсфильд, лорд Салисбюри, Андраши, Каллаи, Бларамберг, Ион Гика... Кто они? — масоны!.. Позвольте, батюшка, за Государем Императором сто пятьдесят миллионов его верноподданных, так уже позвольте ему самому решать славянские судьбы так, как это ему будет благоугодно-с!.. Не слушаясь ни английской, ни австрийской, ни румынской указки. Победим и тогда возьмем себе, что найдем нужным.

— Раньше надо победить,— сказал Гальяр.

Фролов посмотрел на него таким взглядом, в котором графиня Лиля ясно прочитала: «Ты-то чего говоришь, «лягушатник»?..»

— Да мы-то победим,— сказал Порфирий,— а вот что вы потом за зелеными столами конференций или не дай бог конгресса скажете. Вот что страшно.

— Поверьте, милый Порфирий Афиногенович, сидеть за зеленым столом конференции — не в штыки ходить и не «ура» кричать. Потруднее будет!

— А вы в штыки ходили?.. Пробовали?..— запальчиво крикнул Порфирий и вышел с балкона в сад.

— Ну... ну,— сказал Афиноген Ильич.— Не пора ли, господа, для успокоения страстей засесть за зеленый стол с картами и перейти к мирному сражению? Вы как, Аким Петрович?.. Баронесса — три роббера?

— Охотно, генерал... Занесла тройка вашего сына... А хорошо!.. люблю такие споры!..

— Так идемте, господа!.. За дело!..

VI

До 1876 года на Императора Александра II было два покушения. Одно следовало за другим на протяжении всего одного года. Одно было понятно Государю — месть патриота поляка за 1863 год. В Париже, куда Государь ездил на всемирную выстав-

ку 1867 года, при возвращении со смотра, когда коляска медленно ехала через народные толпы, непривычно шумные, где сквозь восторженные крики «Vive la Russie!..Vive le Tzar!»¹ иногда вдруг раздавались резкие, оскорбительные свистки и крики: «Vive la Pologne!»², — поляк Березовский внезапно выбежал из толпы и, вскочив на подножку коляски Государя, стрелял в Императора... Промахнулся...

Это было печально и тяжело. Но Государь понимал: Польша не могла любить Россию... Среди поляков могли быть мстители. То, что это произошло во Франции, где хозяева не уберегли гостя, оставило мучительное, едкое воспоминание.

Выиграла Пруссия. В начавшейся три года спустя франко-прусской войне Россия держала нейтралитет. Пруссия могла бросить все свои силы на Францию. Плохую услугу оказал Березовский приютившей его стране...

За год до этого, 4 апреля 1866 года, когда Государь возвращался с прогулки в Летнем саду, у самых ворот, идущих к Неве, к нему быстро подошел высокий человек в черном сюртуке и, выхватив револьвер, выстрелил в упор в Государя. Другой прохожий бросился на него и ударом кулака отвел выстрел. Государь не был затронут.

Стрелявший оказался крестьянином Каракозовым. Спас Государя Осип Иванович Комиссаров — тоже крестьянин, шляпочный мастер. Государь пожаловал Комиссарова в дворянское достоинство.

Тогда Государь спокойно вернулся домой в Зимний дворец, оттуда поехал в Казанский собор служить молебен. По всему пути стояли народные толпы. Громовое «ура» не смолкало. В Зимнем дворце в Белом Георгиевском зале были собраны все офицеры гвардии. Когда по возвращении из собора Государь вышел к ним — его встретили с неописуемым восторгом.

Это покушение озадачило Государя. Так недавно Государь своею волею, встречая немалое сопротивление, и при большой работе освободил крестьян. Один из освобожденных покушением на убийство ответил Государю на его труды и заботы.

Это было гадко и мерзко. Но вся Россия взволнованно приветствовала Государя и ликовала по поводу чудесного его спасения. Студенты в Москве служили благодарственный молебен у Иверской иконы. 150 миллионов народа было за Государя — один человек против. Никого за Каракозовым не стояло. Он был царубийца-одиночка.

¹ Да здравствует Россия!.. Да здравствует Царь! (фр.)

² Да здравствует Польша! (фр.)

После этого не было покушений на жизнь Государя. Полиция доносила о существовании подпольных кружков, находила «прокламации» — все это было мелко и ничтожно, руководилось из-за границы и по сравнению с тем огромным делом, которое делал Государь, было так мало приметно, что Государь не думал об опасности своего престола.

Государь открыто, без конвоя и охраны ездил по городу, гулял в Летнем саду, появлялся среди народа. Воспитанный своим отцом, Николаем I, в сознании святости Государева долга и презрении к опасности, считая себя бессменным часовым на Российском посту, Государь просто смотрел в лицо смерти.

Он знал, что нужно, чтобы народ видел его, чтобы армия знала его, и приятно, радостно или тяжело это было, Государь об этом никогда не думал — он ездил на смотры, на парады, народные гулянья, маневры, совершал долгие поездки по другим округам России, отстаивал длинные церковные службы, принимал министров, бывал в театре не потому, что та или другая пьеса нравилась ему, но потому, что это было нужно.

Все это наружно, для других казавшееся просто приятным развлечением, в конце концов было очень утомительно, и нужен был отдых от напряженной императорской дворцовой и смотровой атмосферы. Отдых от ответственности за каждое сказанное слово.

В семье не было отдыха. Там была не жена, но Государыня Императрица, не дети, но Наследник Цесаревич и Великие князья. Там был тот же строгий этикет Императорской Фамилии.

С годами потянуло Государя к спокойному, не дворцовому, а домашнему очагу. Этот очаг ему создала в 1868 году молодая девушка княжна Екатерина Михайловна Долгорукая. Государю было пятьдесят лет, Долгорукой семнадцать, когда они сошлись. Девушка «с газельими глазами» сумела простотою обращения, иногда доходившей до грубости, пленить Государя, и он полюбил ее крепкою, последнею любовью.

Таково было семейное внутреннее положение у Государя Александра II, когда ему пришлось решать один из самых трудных и сложных вопросов его царствования — вопрос о войне.

VII

Точно, секунда в секунду, как было назначено, Государь в кавалергардском вицмундире, в каске без плюмажа, с Императрицей Марией Александровной, чье тезоименитство празднова-

лось в этот день, в открытой коляске въехал в ворота Нижнего сада и поехал вдоль иллюминированных аллей. Камер-казак сидел рядом с кучером. За Государем на паре с пристяжной, стоя в пролетке, ехал петергофский полицмейстер, за ним в коляске Наследник с супругою и далее Великие князья... Народное «ура» их сопровождало, перекатываясь по аллеям парка.

Оно, сначала малогромкое, стало слышно у Монплезира, где собралась избранная публика, которую пускали по особым билетам. «Ура» быстро приближалось и становилось громче и дружнее. Разговоры среди народа, собравшегося слушать концерт, прекратились. Музыканты в красных кафтанах встали за пюпитрами.

«Ура» приблизилось. Испуганные, разбуженные птицы металась в древесных ветвях.

Вера, стоявшая с графиней Лилей в одном из первых рядов скамеек перед эстрадой, почувствовала, как вдруг сжалось ее сердце. У нее потемнело в глазах. Она не хотела идти на концерт. Все эти дни она боролась с собою, принудила себя пойти с графиней, надеясь, что победит себя. Сейчас поняла, что не сможет справиться с собою. Все казалось ей фальшивым, скучным, ненужным.

Капельмейстер поднял палочку. Торжественное настроение охватило всех. Оно не передалось Вере, напротив, еще более смутило ее.

Скрипя колесами по гравию, подъехала коляска с Государем. Государь поднялся с сиденья, сошел на дорожку и подал руку Императрице.

В тот же миг грянул народный гимн.

— Лиля, я не могу больше, — сказала Вера и пошла через толпу сзади Великих князей.

— Это невозможно, Вера.

— Я не могу.

Прекрасный, величественный, могучий и властный гимн лился с эстрады.

— Царствуй на славу нам!..

Конногвардейский ротмистр в красивых черных бакенбардах шикнул на графиню и Веру.

— Барышне дурно, — прошептала по-французски Лиля.

Ее лицо было покрыто красными пятнами. Ей было стыдно за Веру.

На большой дороге у фонтана «Сахарная голова» стояла благоговейная тишина. Лошади множества колясок, одиночек, пар и троек, точно сознавая величие минуты, не шевелились.

Кучера, ямщики и грумы сняли шапки и сидели неподвижно на козлах. Сквозь переплет темных ветвей несло:

— Царствуй на страх врагам!..

Вера и графиня Лиля выбрались из толпы. К ним подошел среднего роста человек в несколько странном, точно не по нем сшитом костюме. Длинный сюртук, запахнутый на груди, и светло-серые брюки в коричневую клетку были от разных костюмов. Широкий ворот рубашки с опущенным вниз шарфом открывал бледную тощую шею, откуда росла светло-русая, не знавшая бритвы, мягкая, вьющаяся кольцами борода. Жидкие усы свисали к большому узкому рту. Редкие светлые волосы были небрежно причесаны на пробор. В нем было все, как сейчас же подумала графиня Лиля, не «*comme il faut*»¹ и не для такого места. Не будь скандала с Верой, графиня Лиля не признала бы его. Но теперь она обрадовалась ему.

— Князь, — вполголоса окликнула она молодого человека, — как, и вы тут?..

— Как видите, Елизавета Николаевна.

— Вере дурно... Помогите мне.

— Но, Лиля, мне совсем не дурно... Просто мне все здесь стало вдруг до тошноты противно.

Князь Болотнев с удивлением посмотрел на девушку.

Сзади несло «ура». Требовали повторения гимна.

— Гимн!.. Гимн!.. — неслись голоса сквозь крики «ура».

Снова грянул гимн...

Графиня Лиля, Вера и князь Болотнев вышли на узкую песчаную дорожку, шедшую от Монплезира вдоль берега залива. Справа плескало спокойное море. Вал за валом невысокая волна набегала на берег и с шипением разливалась по песку. Камыши тихо шептали. Слева стояли густые кусты. Сладкий запах цветущего жасмина сливался с запахом моря и кружил голову. Никого не было на дорожке. Весь народ теснился там, откуда доносились волнующие, мощные, плавные звуки прекрасного русского гимна.

— Ну, тут, кажется, нет ни жандармов, ни «гороховых пальто» и можно накрыть голову, — сказал князь, надевая помятый цилиндр, — за такие «круглые» шляпы при Павле на гауптвахту сажали и в Сибирь ссылали... А нынче — *liberte*².

¹ Так, как надо (*фр.*).

² Свобода (*фр.*).

— Вы хотите спросить, Елизавета Николаевна, как меня сюда пропустили?.. Я все-таки князь... Я бывший паж... И мне так легко было через моих товарищей получить нужный пропускной и притом «розовый» билет. Мы ведь ужасно как доверчивы. Да, впрочем, и я человек безобидный. Зла я никому не желаю. А приехал почему?.. и сам не знаю, почему и для чего? Люди едут, и я поехал. Должно быть, от скуки.

Теперь, по излишней словоохотливости князя, графиня Лиля с ужасом заметила, что князь находится подшофе, что легкий запах идет от него, и ей стало жутко и противно.

— Князь,— сказала она брезгливо,— мне говорили, что вы... пьете?..

— И курица пьет, Елизавета Николаевна... Вы думаете — Болотнев опустился и пьет!.. Какой ужас!.. А когда наша золотая молодежь напивается до положения риз, когда блестящий отпрыск разгильдяевского рода Афанасий лежит на полу и ловит за ноги проходящих — это «il faut que la jeunesse se passe»¹... Кровь играет... Я пью, чтобы ничего не делать.

— Но почему вы ничего не делаете?.. Почему не работаете, не служите?

— Не работаю?.. Елизавета Николаевна, а вы?.. Простите... Работаете?..

От неожиданности и дерзости вопроса графиня Лиля остановилась. Она никогда не задавала себе такого вопроса. Она была так занята!.. Она даже не успевала сделать всего, что нужно было. Сколько времени отнимал у нее уход за увядающей красотой, прогулки, чтобы похудеть, светская переписка, она читала по-немецки и по-английски вслух генералу Разгильдяеву, она давала ухаживать за собою Порфирию, «шаперонировала» Веру... А карточные вечера; зимою Таврический каток, абонемент в балет, опера, Михайловский театр, «выходы» во дворце, вечера у баронессы фон Тизенгорст, где все бывали... Как можно сказать, что она ничего не делает... Но сказать князю, чем именно наполнено ее время, графиня Лиля не решилась.

— Видите...— сказал князь Болотнев.— Ну вот и я так же, как и вы... Я не пошел «в народ», что теперь в некоторых слоях общества так в моде.

— Почему?..— спросила Вера.

— Потому, Вера Николаевна, что, по глубокому моему убеждению, научить какого-нибудь мальчика грамоте хуже, чем научить его пить водку.

¹ Нужно, чтобы молодость перебесилась (фр.).

— И без науки отлично умеют пить,— пожимая плечами, желчно сказала графиня Лиля.

— И хорошо делают... Кто пьет, тот правду понимает, для того жизнь копейка, тот спит в жизни, а кто спит, тот не грешит, ибо не видит всей глупости и бессмысленности жизни.

— Всякой, князь?..

— Всякой, Вера Николаевна... Позвольте — вот скамейка... В ногах правды нет... Давайте сядем.

Вера охотно согласилась, пришлось сесть и графине Лиле. В присутствии этого человека — «пьяного» — она теряла почву под ногами. Князя Болотнева она знала с детства. Князь принадлежал к верхушке русской аристократии. Гедиминович по женской линии, с примесью татарской крови по мужской, он был бы везде желанным, если бы не его странности, не его нигилизм... Отец выгнал князя из дома за то, что его выпустили из Пажеского корпуса в штатские — и не по болезни или физическому недостатку, с этим старый князь еще помирился бы, но из-за «внутренней непригодности к военной службе». То есть из-за его убеждений. «В шестнадцать лет какие могли быть убеждения у этого распущенного мальчишки?» Графиня Лиля поджимала губы. «Вот что ужасно,— думала она.— Измена дворянства... Эти отвратительные декабристы... Со времен Чаадаева пошло!.. А теперь этот мерзкий князь Кропоткин, удравший за границу и, говорят, там, в Париже, в семидесятом году сражавшийся вместе с коммунарами! Какие гадкие пошли люди в «нашем» кругу. Тоже и граф Лев Николаевич Толстой. Фет говорил, что Толстой сказал, когда узнал о неудаче покушения на Государя Каракозова: для меня это было «coup de grace»¹... Откуда в людях «нашего» круга эта звериная, дьявольская злоба?.. Толстой, когда ему сказали, как восторженно принимал народ Государя после покушения, сказал: «Сапоги всмятку — желуди говели»... Подумаешь!.. Умно сказал!.. Князя Болотнева отец прогнал, а ему хоть бы что?.. Доволен. Точно гордится своим положением. Хвастает... Подумаешь!... Есть чем гордиться — отец прогнал!.. Соня Перовская, милая, светская, глупенькая барышня, ушла из дома... В народ пошла от отца с матерью! Сколько горя доставила родителям!.. Какой ужасный век!..»

Графиня ежилась. Ночь была теплая, но графине под шелковой мантилей, подбитой легким мехом, казалось холодно.

«Подумаешь!.. И все это идет под флагом любви к ближнему, христианского ученья, жертвенности, справедливости, само-

¹ Смертельный удар (фр.).

пожертвования и иных добродетелей, а на деле приносит одно зло, ненависть и вражду».

По темному небу играли звезды. Воды залива отражали их. Море казалось черным. Вдали на пристанях — казенной и купеческой — горели огни на судах. Лодки с фонариками ходили подле темных плотов со столбами, точно с виселицами. Там шли окончательные приготовления к фейерверку.

У ног графини Лили утихавшие, смиряющиеся морские волны с ласковым шепотом лизали нежный песок. От наломанных прошлогодними бурями черных камышей пахло илом, водою и рыбой.

Прекрасен был мир.

Углубившаяся в свои мысли графиня Лиля прислушалась. Теперь говорила Вера. Она говорила этому «пьяному» с такой искренностью, точно исповедовалась перед ним.

— Как все то, что вы говорите, ново, князь!.. Я все эти дни сама не своя... Была... и так недавно, спокойна, так глубоко, глубоко до дна души счастлива... и вот — оборвалось... И знаете, так жутко стало и точно пелена с глаз... Третьего дня это случилось... Тут готовили иллюминацию и... матрос убился... на моих глазах... Как же это можно так? Какой же ужас тогда жизнь!.. Нога дергалась, и жизнь ушла... И стало так тихо... И страшно, князь... Смерть. Я раньше никогда об этом не думала... А тут задумалась и вот не могу... не могу... жить...

Вера замолчала и сидела, опустив голову. Князь достал трубку и, не спрашивая разрешения дам, стал медленно, со вкусом раскуривать ее.

— Вот оно,— начал он обрывисто, между затяжками, пыхтя вонючим дымом дешевого табака,— вот оно именно то, что составило основу моего мышления. Это я и от Кропоткина слышал... Ему брат из-за границы писал. Впереди каждого человека ожидает смерть. И это *единственное* в жизни, что *верно* и *неизбежно*. Там о богатстве, славе, здоровье можно гадать, предполагать, ожидать — о смерти гадать не приходится: она придет!.. Ну а если так, то для чего и трудиться?.. Я мог бы быть офицером... там, скажем, кавалергардом каким-нибудь... Подтягивать, пушить людей... «Э, милый мой», — передразнил князь кого-то, — «как, любезный, стоишь!.. Я тебе в морду дам, понимаешь, братец ты мой!..» Чувствуете, Вера Николаевна, всю эту игру слов и выражений. Это же прелесть!.. А для меня это ужас!.. Служить, даже ничего по существу не делая, — это труд... А мне труд противен. Если впереди смерть, то для чего и трудиться?.. Так, кажется, где-то и в Евангелии сказано. Вредная, знаете,

книга... Пробовал я читать... «Фауста» Гете прочел, Гершелеву «Астрономию», «Космос» Гумбольта, «Философию геологии» Пэджа, «Капитал» Маркса, «Бог перед судом разума» Кропоткина — все запрещенные книги, все о том, что Бога нет, а есть материя и в ней борьба за существование. Капля воды под микроскопом и в ней микробы — вот и весь наш мир... А затем смерть... то есть — ничего. Ну так и жить не стоит...

— Послушайте, князь... Вы говорите это девушке, да еще так сильно потрясенной нервно.

— Я, Елизавета Николаевна, не учу... Я не пропагандирую. Я ведь рассказываю о том, что сам пережил и почувствовал... Мне ведь, знаете, трудно. Ужасно, знаете, трудно без Бога... А нужно... Нужно приучать себя к этой мысли, что спасения нет, и быть самому в себе.

— Не проповедуете?.. Не учите?.. Подумаешь!.. Да ведь то, что вы сейчас говорите, и есть самая страшная проповедь анархии.

Графиня Лиля старалась быть спокойной. Она боялась, что лицо ее снова покроется пятнами и станет некрасивым.

Сзади из парка, приглушенные деревьями, неслись звуки музыки. Придворный оркестр играл увертюру из «Жизни за Царя». Сердце графини сжималось от восторга и любви к Государю, и так было досадно, что приходилось сидеть у моря с этим «пьяным», а не быть там, где в пестрых лампонах горят лампы на мачтах и где светло от керосиновых фонарей, где людно-весело и где можно услышать, о чем говорил Государь, какие награды будут в полках Кавалергардском, Кирасирском Ее Величества и Лейб-драгунском, где шефы — именинницы сегодня. А приходится слушать глупые разглагольствования пьяного князя.

Теперь князь вяло и скучно говорил, точно резину жевал.

— Я пью... Я не напиваюсь... Напиваться противно. У меня желудок слабый — последствия отвратительные... А то иногда я хожу все утро по городу. Грязь, слякоть, лужи... Едва не попаду под извозчика... Сумерки, осень, дождь... Это я люблю... Петербург тогда, точно призрак. Величественен и страшен. Гранитная панель, гранитные дома, Мраморный, темно-серый дворец... И Нева!.. В Неве в такие вот осенние сумерки есть что-то волнующее и страшное. Того берега не видно. И хорошо, что не видно... Там крепость... Бррр!.. Черные волны плещут в гранит набережной. У пристани внизу качаются ялики. Точно край света... И станет страшно... Я приду домой. Ноги сырые, в комнате холодно. Растапливать печь — лень. Зачем?.. Я укроюсь

сырым пледом и вот тогда пью... Немного. Три, четыре шкалика... Побежит тепло по жилам. Я лежу на жесткой койке и думаю. Часто я думаю о самоубийстве. Но и самоубийство труд... И тогда — разные мысли... Знаете какие?! Простите, но мы все — идиоты! Вы слышали, молодежь — студенты, курсистки — в народ идут... Что-то делать. Мне это ужасно как нравится — «нужно что-то делать». Так ведь и у декабристов было. Им нужно было убивать Государя и всю Царскую семью, а они?.. Что-то делали... Больше болтали, впрочем... Да и теперь. Что-то делать, а там все само выйдет... Нет, знаете, Аракчевы, Петры, Фридрихи, — они умнее были. Они знали, что нужно делать. Разводы караулов, смотры, шагистика, ружейные приемы — это не что-то... Странные мысли... Так и лежу... Часами. И времени не вижу.

— Вы служили бы, князь, — с отвращением сказала графиня Лиля.

— «Служить бы рад — прислуживаться тошно» — это Чацкий в «Горе от ума» у Грибоедова, а Щедрин написал: «На службе одни приказывают, а другие смотрят, чтобы приказания исполнялись».

— Что-то очень уже мудрено, — сказала графиня.

— Если мудрено — это не я, а Щедрин. Это, Елизавета Николаевна, век такой... Больной век... Реформы... Крестьян освободили, а людьми не сделали... Кухаркины сыновья в гимназии пошли — образованными становятся, а все в бабки играют... Сословия равняют. Суд скорый, гласный и милостивый, присяжные заседатели, защитники, прокуроры. Какие речи говорят, каких преступников оправдывают!.. Теперь подняли вот славянский вопрос... Какой полет!.. Не сверзимся ли мы оттуда в бездну?.. Выдержим ли?.. А я лежу и думаю... От водки, что ли?.. Ничего не надо... Нужно опять допетровскую Русь... и *langsam ruhig*¹. От теремов и бань не к ассамблеям немецким, а к хороводам... Патриарх благостный «на осляти» в Лазареву субботу через Москву едет, и царь перед ним на колени... Везде благолепие, молитва и добротолубие... Так чтобы было, как в Китае, что ли?.. Длинные одежды, покрашенные и насурмленные лица женщин и опять слуги... рабы.. А, ну!.. не чепуха ли всмятку?..

— Вам делом заняться нужно. На что вы живете?..

— Милостями людскими. Помнится, и вы, Елизавета Николаевна, мне как-то десятку прислали, когда узнали, что я без

¹ Медленно, спокойно (нем.).

сапог хожу. А делом заняться?.. А что такое дело?.. Чистое равнение во фронт?.. Это дело?.. Или судебные речи?.. Тоже, если хотите, дело!.. А по мне, что землю пахать, что водку пить — все одно дело...

Графиня Лиля встала. Ее терпение переполнилось.

— Вера... Концерт подходит к концу. Твой дед будет сердиться, если не найдет тебя на твоем месте. Мы дойдем, князь, одни. Вера теперь успокоилась.

— Как вам угодно, Вера Николаевна... Я с удовольствием покурю здесь в полном уединении, размышляя о конечности Вселенной, о движении миров, о звездах и планетах... Пока не повалит сюда толпа смотреть игру потешных огней... Народ любит игрушки, а я не люблю народа...

VIII

В конце октября на Петербург налетели сухие морозы. Гололедка стала по городу. Скользили и падали извозчицьи лошади. Нева потемнела, надулась и текла величавая, спокойная, дымящаяся густым морозным паром. Деревья садов, бульваров и парков покрылись седым инеем, разбухли и стояли очаровательно красивые. Пруды в Таврическом саду замсрзли, были опробованы, и Дворцовое ведомство открыло на них каток. На каток этот пускали по особым приглашениям. Там собирался петербургский свет. Там часто каталась красавица Великая княгиня Мария Павловна, а в те дни, когда Наследник Цесаревич приезжал в Петербург из Гатчины, на катке можно было видеть стройную Цесаревну в короткой шубке, с необычайной грацией скользившую на коньках. Иногда приезжал на каток Государь Император и, сидя в кресле, закутавшись в шинель с бобровым воротником, смотрел, как резвилась на льду молодежь.

По четвергам и воскресеньям играла военная музыка. Устраивались кадрили на коньках, потом под звуки вальса кружились изящные пары, выписывая коньками затейливые вензеля.

Как только графиня Лиля узнала, что каток открыт, она пришла за Верой.

— Порфирий придет позднее, — сказала она. — Он занят... Он не катается на коньках. Мы с ним будем потом пить чай на катке.

В эту осень графиня похорошела и точно стала моложе. Веселый, счастливый огонь постоянно горел в ее блестящих, вы-

пуклых глазах, румянец не сходил с ее полных щек, и очаровательна была улыбка маленьких, ярких губ.

В белой горностаевой шубке, в такой же шапочке, в светло-серой суконной короткой, выше щиколотки, юбке, в высоких башмаках с привинченными к ним норвежскими коньками, графиня Лиля смело и ловко сходила на синеватый, еще не исчерченный коньками тонкий лед.

Когда-то Вера «обожала» каток. У нее были подаренные дедом великолепные стальные шведские коньки. Она красиво каталась, умела делать фигуры и была пленительна своим высоким ростом, тонкой талией и строгими чертами юного, серьезного лица. Кто не знал, кто она, принимал ее за скандинавскую принцессу.

Сейчас она неохотно сходила на лед.

— Мне, Лиля, все это до смерти надоело.

— Подумаешь!.. В восемнадцать лет надоел каток! Ты хандришь, Вера.

— Ну правда, что интересного? Мальчишки пажи и лицеисты облепят, приставать будут... и... Афанасий!.. Он мне стал противен.

— Подумаешь!.. Афанасий... Да он бог Таврического катка. Идем скорее. Кавалергардские трубачи играют сегодня. Возможно, будет Государь Император.

По катку, по аллеям сада в серебряном уборе инея бодро звучали трубы. Уже много было народа. Чинно катались офицеры, кто, заложив руки за спину, мчался широкими шагами, кто, еще новичок, опасливо расставив руки и нагнувшись вперед, неуверенно катился, ища точки опоры. Пажи и лицеисты мчались по два и по три.

Только что Вера с графиней, взявшись за руки, обежали кругом пруда, как появился Афанасий.

Он появился шумно. Этот мальчишка знал себе цену. Он знал, что ему за его удаль, красоту, молодечество все прощают. Он не стеснялся даже и при Высочайших особах. Он вылетел прямо из павильона, щелкая коньками по ступенькам, рискуя разбить себе голову. Он был в одном мундире — стрелковом кафтане, распахнутом на груди, в шапке с ополченским крестом, в малиновой рубахе, в широких шароварах и высоких сапогах гармоникой. Ухарем-молодчиком, вихрем слетел он на лед, крикнул звонко на пажей и лицеистов:

— Расступись, молодежь, Афанасий Разгильдяев идет! — и помчался, выписывая вензеля, раскачиваясь со стороны на сторону и все ускоряя свой лихой бег.

Он нарочно разогнался прямо на Веру с графиней, так, что те испугались. В двух шагах от них Афанасий затормозил, затопал коньками, взвился на воздух и зычно на весь каток крикнул:

— Вера!.. Видишь?..

И, круто повернувшись, пошел красивым голландским шагом кругом катка.

Все любовались им. Высокого роста, с юным, круглым, покрасневшимся на морозе лицом, с маленьким пушком над верхней губой — он был великолепен.

Барышни млели, ожидая, кого пригласит он кататься под вальс. Все знали, что никто не умеет так обольстительно катиться, выделывая круги.

Вера со страхом смотрела на своего кузена. Она последнее время совсем не переносила его. А тот точно и не замечал этого. Его ухаживания становились грубее и настойчивее. Вера не успела докатиться до павильона, как Афанасий нагнал ее.

— Здравствуйте, графиня... Вера, здравствуй... Графиня, мне все говорят, что мои губы созданы для поцелуев. А?.. Что?.. Правда?..

Графиня Лиля поймала его шутливый тон.

— Подумаешь!.. Все?.. Я первая не нахожу... Никто этого не находит, кроме разве вашей Мимишки. Идемте со мною, Афанасий Порфирьевич.

Удаляясь от Веры, Афанасий нарочно громко, обернувшись в сторону кузины, сказал:

— Ну что Мимишка?.. Мне нужно, чтобы другие это находили...

Оставшись одна, Вера легко и грациозно покатила к краю пруда, подальше от трубачей и толпы катающихся. Тут вдруг увидела она Суханова. Николай Евгеньевич катился ей навстречу не очень смело. В морской черной шинели и черной фуражке, нахлобученной на уши, он походил на профессора или пастора.

Вера с того дня, когда убился матрос и была премировка выездов у ее деда, не видела Суханова. Она обрадовалась ему. Он был из другого мира, из того, где не признавали красоты теперешней жизни и относились к ней критически, где мечтали создать иную, лучшую жизнь, где все получают жизненные блага поровну. Из той жизни, где строили революцию...

— Идемте со мною,— дружески пригласила Вера Суханова,— я вам помогу.

В отдалении играла музыка. Сквозь дымку морозного тумана просвечивало оранжевое солнце, и через заиндеветые ветви деревьев сада виднелись, как через затейливую тюлевую занавесь, строгие линии дворца, колонны, прямые окна и круглый павильон — затей таврического князя.

— Все-таки, Николай Евгеньевич, нельзя отрицать, что все это очень красиво,— сказала Вера.— Во всем этом есть какая-то гармония: в небе, солнце, туманной, морозной дымке, иные деревья... Вот только люди?.. Вы не находите, Николай Евгеньевич, какие тут пустые и пошлые люди?..

— Люди, Вера Николаевна, везде одинаковые. Есть хорошие, есть и похуже. Не хорошо то, что вся эта гармония, вся эта красота, изящество доступны такому маленькому числу людей... Пускают по билетам... Сотни... Нет, даже и не сотни, но десятки из ста пятидесяти миллионов русского народа могут пользоваться этой красотой. О чем мечтали мы, «китоловы»?.. Всем, понимаете, всем дать счастье, радость жизни, сытость, образование... Не десятки, а сотни...

— Тысячи! — восторженно перебила Вера.

— Десятки тысяч русской молодежи не на пруде Таврического сада, а где-нибудь...

— На Ледовитом океане,— подсказала Вера.

— Пускай!.. На Белом море, на Финском заливе!.. Оркестры... Тысячи музыкантов и радостный народ, без различия званий и состояний...

— Ни званий, ни состояний тогда и не будет!..

— Конечно, не будет... Радостный народ, сбросив с себя бремя труда, вольный...

— Когда!.. Когда же это будет?..

— Когда будет править не один человек, как стеною окруженный элитой знати, но весь народ... Когда будет народоправство!..

— Когда?.. Скажите, Николай Евгеньевич, когда это может быть?

— После революции.

Их обгонял, громыхая коньками, Афанасий. Он отыскал их и теперь, проносясь мимо, схватил Суханова за рукав шинели так, что тот чуть не упал и крикнул молодецким, разбойничьим окриком:

— Флот, идем водку пить!.. Вр-р-ремя!..— и помчался дальше.

— Николай Евгеньевич, я пойду домой. Проводите меня. Я боюсь Афанасия. Он мне противен. И потом мне так хочется

еще и еще говорить с вами о том, что будет, когда настанет прекрасное время революции. Ждите меня у входа на Шпалерную, я пойду скажу графине, что иду домой.

IX

Они шли по тихой и пустынной Захарьевской. Сзади осталась красота заиндевевшего сада, звуки труб и молодцеватые окрики Афанасия. Они шли медленно, опустив головы. Желтый песок хрустел на панелях под их ногами. Позванивали коньки на ремнях в руках.

— Скажите, Николай Евгеньевич, почему-нибудь да уходят от нас, из нашего круга такие люди, как князья Кропоткины, оба брата, как граф Лев Николаевич Толстой, яснополянский философ, как опустившийся, но почему-то милый князь Болотнев?.. Значит, им душно, как и мне. Почему-нибудь ушла, и с таким скандалом Соня Перовская.

— Вы знали Софью Львовну?..

— Я была девочкой... Двенадцати — пятнадцати лет, когда Соня уже «выезжала»... Я видела ее на вечерах, куда и детей приглашали. Она очень недолго «выезжала». Потом исчезла с нашего горизонта. Я слышала, что она ушла из дома. Будто отец отказался от нее, и только мать тайно с нею видится. Но подробно я ничего про нее не знаю.

— Она пошла служить народу.

— Что это значит?.. Как служить? Я не понимаю. Объясните.

— Она помогает страждущим, обиженным, невинно наказанным. Она учит народ грамоте.

— Как же она это делает?

— Она собирает по знакомым посылки для тюремных узников и носит их в места заключений. Она — Перовская, ее имя все знают... По отцу, по дяде... Она проникала в самые глухие казематы Петропавловской крепости и передавала одиночно заключенным табак и книги. Потом она поехала в деревню. Она жила в избе как простая крестьянка, учила детишек грамоте, работала как фельдшерица. Она прививала оспу детям...

Вера вздохнула.

— Как это хорошо, — тихо сказала она. — Продолжайте. Это так интересно.

— Вы знаете — Перовская способна на героические подвиги. Вот теперь, совсем недавно, она узнала, что жандармы пове-

зут кого-то в ссылку. Она решила освободить несчастного и дать ему возможность бежать за границу. Она собрала деньги, подговорила трех сочувствующих ей молодых людей помочь ей. Один из ее товарищей переоделся в офицерскую форму. Они взяли телегу и поехали по тому тракту, по которому должны были везти арестанта. Когда увидели они бричку с жандармами, они выскочили из телеги, и тот, кто был одет офицером, стал поперек дороги и крикнул: «Стой!» Ямщик остановил тройку. «Куда едешь?.. Кого везешь?..» Жандарм взял под козырек и ответил: «Еду с арестантом по приказанию начальства в Новосибирск». Тут другой товарищ выстрелил в жандарма, но промахнулся. «Что это?.. Что тут такое!» — растерянно крикнул жандарм. В него выстрелили еще раз, и он свалился внутрь брички. Тройка помчалась.

— Боже мой... Значит, они не освободили арестанта...

— Нет... Не удалось... Но как была взбешена, как бранилась тогда Софья Львовна! Она кричала: «Позорная и постыдная неудача для революции!.. Давать промах, стреляя в двух шагах!.. Я не промахнулась бы!.. Шляпы, а не мужчины!.. Надо гнаться дальше, а они попрятались в кусты... Бежали!.. Проворонили!.. Сколько товарищеских денег потратили зря!..» Мне говорили — она была страшна в эти минуты гнева.

— Да-а...

— Перовскую арестовали. Она попала в процесс тысяча девятьсот тридцатых, была судима и оправдана... Дед — министр народного просвещения, отец был петербургским генерал-губернатором, дядя покорял и устраивал Среднюю Азию.

— Я знаю... Я слышала это...

— Как было осудить ее? С нею считались... Она вошла в кружок Чайковского, стала вести пропаганду среди рабочих, попалась, была арестована, но обманула полицию и бежала.

— Да... Это я понимаю. Она работает! А мы?.. танцуем!.. Мечтаем выйти замуж, на коньках катаемся!.. Сплетничаем... Где же Соня теперь?..

— Под большим секретом. Ну да вы сами понимаете. Она здесь!..

— Как?.. В Петербурге?..

— Да. Она живет под именем Марины Семеновны Сухоруковой.

— Вы видите с нею?

— Да.

— Скажите ей про меня... Все, все скажите ей... И про матроса. Скажите ей, как я ее понимаю, как сочувствую ей. Как хоте-

ла бы помогать ей в ее работе. Если можно... Может быть, она и меня научит, как нужно делать добро, работать для народа.

— Хорошо... Я ей скажу. Вы знаете — она совсем необычная, особенная, чудная девушка.

— Так непременно устройте, чтобы мне с нею повидаться, — волнуясь, повторила Вера, останавливаясь у подъезда своего дома. — Мне так хочется научиться служить своему ближнему, работать, чтобы не быть кисейной барышней.

— Есть... Постараюсь, — сказал, вытягиваясь и прикладывая руку к козырьку фуражки, Суханов.

Вера открыла тяжелую стеклянную дверь. С лестницы пахло теплом и уютом. Суханов увидел мрамор ступеней, красный ковер, пальмы, мраморную статую, вздохнул и пошел, позванивая коньками, к Литейному.

Х

Девятнадцатого ноября 1876 года в третьем часу дня Великий князь Николай Николаевич Старший вошел в рабочий кабинет Императора Александра II. В низком и глубоком покое было темно, и на письменном столе, за которым сидел Государь, горели две свечи. Государь встал навстречу брату.

— Готов? — сказал. — Дай я благословлю тебя.

Государь благословил и обнял Великого князя. Потом они стали друг против друга, серьезные и задумчивые. Оба знали, что такое война. Оба изучали военное дело. Они сознавали ответственность минуты. Еще никто, кроме них, не знал, что война решена, что то, что сейчас делают, — уже объявление войны в их сердцах. Сосредоточить армию подле Кишинева, послать своего брата командовать ею — решиться на все это Государю было очень тяжело.

Вчера вечером у княжны Екатерины Михайловны Долгорукой в семейном кругу, за чайным столом княжна с обычной ей грубостью сказала Государю:

— Ты думаешь — оценят?.. Твой благородный шаг оценят?.. В Морском клубе остряки пустили крылатое слово. Чеканить будут медали для кишиневской армии с надписью «туда и обратно». Вот тебе оценка этих людей движения твоего чистого и благородного сердца!

Государь это знал. Но он знал и то, что княжна не могла простить обществу отношения к ней и всегда старалась сказать

что-нибудь дурное про петербургский свет. Знал Государь и то, что многие недовольны его заступничеством за славян.

Он стоял теперь молча, как будто снова взвешивая то, что решился сделать.

— Ну, кажется,— наконец сказал он,— все тебе было сказано. Не мне тебя учить, как водить полки в бой... С Богом!

— Ваше Величество, прошу сказать: какая цель поставляется Вами Вашей армии?..

Большие голубо-серые глаза Государя прямо смотрели в глаза Великого князя.

Громко и твердо сказал Государь:

— Константинополь!..

Великий князь низко поклонился Государю и вышел из кабинета. Государь проводил его долгим взглядом, потом подошел к окну.

Туман поднялся к небу. Сумрачен был Петербург. Чуть намечались по ту сторону Невы низкие, прямые постройки темных бастионов Петропавловской крепости. Нева текла, черная, густая, холодная, без волн...

XI

Графиня Лиля с Верой подъехали к воротам Николаевского вокзала тогда, когда проезд частным экипажам был уже закрыт. Пришлось вылезать из легкого, нарядного «купе» и в сопровождении выездного, в серо-синей шинели с тремя алыми полосами по краю капюшона, пешком идти по двору.

Они подходили к императорским комнатам, когда с площади раздалось громовое «ура», коляска, запряженная парой серых рысаков, с кучером в синем армяке, с медалями на груди, спорою рысью въехала во двор. За нею, сдерживая разгоряченных лошадей, наполняя двор цоканьем подков, достававших камень через неглубокий снег, кавалькадой влетели офицеры кавалергардского полка и конной гвардии, конвоировавшие Великого князя. Золотые каски с белыми волосяными султанами, золотые и серебряные перевязи лядунок наискось серых плащей, тяжелые палаши, синие и алые вальтрапы, расшитые золотом и серебром, вороные и гнедые кони наполнили двор блистанием красок и шумом. Офицеры торопливо слезали с лошадей и звали вестовых.

— Габельченко!

— Я здесь, ваше сиятельство.

Звеня шпорами, громыхая палашами, тесной толпой устремились офицеры по лестнице за Великим князем. Знакомый кавалергард провел графиню Лилю и Веру с собою.

Вера видела, как плакала и крестила, крестила и плакала Великая княгиня Александра Петровна своего сына Великого князя Николая Николаевича Младшего, ехавшего в армию с отцом. Великий князь стоял перед матерью, высокий, стройный, с гладко причесанными, вьющимися волосами и с юным, без бороды и усов, лицом.

Большая, длинная деревянная платформа вокзала была полна офицерами гвардейских полков. Великий князь вышел на перрон. Каски, кивера, уланские шапки стеснились близко-близко. Офицеры напирали друг на друга, стараясь услышать, что говорил в их толпе Великий князь.

Вера, стоявшая сзади офицеров, слышала голос Великого князя, но не могла разобрать слов. Вдруг последнее, четко и с силой сказанное, слово она уловила:

— Константинополь!..

Мгновенно все головы обнажились. Шапки, кивера, каски замахали над черными, рыжими, седыми и лысыми головами. Кое-кто выхватил из ножен сабли и махал ими в воздухе. Могучее «ура» раздалось под сводами вокзала. Все задвигалось и перемешалось. Офицеры, теснясь, пропускали к вагону Великую княгиню с младшим сыном Петром. Вера увидела темно-синие вагоны императорского поезда, увидела в окне одного из них Великого князя с орошенным слезами волнения лицом. Поезд мягко тронулся, офицеры пошли за ним, крича «ура», махая шапками и саблями, потом побежали... Вера стояла на платформе и смотрела, как удалялся в тумане, становясь все меньше и меньше, последний вагон.

Свитский генерал вел под руку Великую княгиню, и с нею шел мальчик Великий князь Петр Николаевич. Офицеры с громким говором проходили по платформе.

Вера потеряла в толпе графиню Лилю и пошла одна разыскивать карету.

Площадь была полна народом. По ней прекратили движение извозчиков, и только конные кареты, непрерывно звоня, шагом пробирались по рельсам через толпу. На «империалах» стояли люди.

Кто сказал этой толпе слово «Константинополь»? Оно было на устах у толпы.

Юноша-гимназист в темно-синем кепи с белыми кантами шел с товарищем. Толпа задержала их, и они остановились подле Веры.

— Леонов, помнишь,— говорил румяный, полнощекий гимназист,— Аксаков на освобождение крестьян написал:

— Слышишь, новому он лету
Песню радости поет:
«Благо всем, ведущим к свету,
Братьям, с братьев снявшим гнет»!..

Пророчество, Леонов! Братьям, с братьев снявшим гнет!.. Я не буду я, если не брошу проклятую латынь и не удеру с войсками к Великому князю, а там — суди меня Бог и военная коллегия — победителей не судят. За братьев славян!..

На деревянном мосту через Литовскую канаву молодой человек с пушистыми бакенбардами «под Пушкина», в черной шинели и помятой шляпе говорил девушке в шубке, смотревшей на него с радостной улыбкой, обнажившей блестящие ровные зубы:

— Константинополь, Марья Иванна, Константинополь!.. Слыхали?.. Мне кавалергардский унтер сказал — Константинополь. Там один Босфор — чисто арабская сказка Шехерезады!.. Великолепие турецкого султана. Какие у него янтарные мундштуки — удивлению подобно...

О войне, о ее жертвах, потерях, расходах, трудах, смерти и страданиях никто не говорил. Константинополь заколдовал всех. Вера то и дело слышала:

- Заветные цели русского народа...
- Конец туркам и их зверствам...
- Мечты Екатерины Великой...
- Со времен Олега и Святослава...
- Так довершить данные русскому народу свободы!
- Какая красота подвига!..
- Подлинно православная Христова Русь!..

Купе Вера нашла у Знаменской церкви. Выездной с высокой панели высматривал ее.

— Где ты пропадаешь, Вера? — возбужденно, блестя красивыми глазами, говорила графиня Лиля.— Одна в толпе... Хотя бы приказала Петру следовать за тобою.

Слезы бриллиантами горели в глазах графини.

— Ты слышала, Вера?.. Константинополь!.. Порфирий едет на войну. Сейчас это решилось... Великий князь разрешил при-

командировать его к штабу. Это подвиг, Вера!.. Твой дядюшка — герой.

В пылу волнения и счастья графиня Лиля уже называла Порфирия Афиногеновича просто Порфирием, и ни она сама, ни Порфирий этого не замечали. Порфирий скромно улыбался.

— Полноте, графиня, — говорил он, — войны еще нет. Вот папа говорит — и не будет. Сербам прикажут сидеть смирно. Черняеву ехать обратно...

— А, да ну вас! — замахнулась графиня перчаткой на Порфирия. — Ваш папа!.. Подумаешь — такой подъем!.. Несокрушимый... Константинополь!.. Трогай, Петр, до скорого, Порфирий, я еду к вам, все рассказать, как было, Афиногену Ильичу. Я думаю, и он поехал бы!..

Карета, скрипя колесами по снегу, покатилась по Знаменской.

XII

Вера узнала от Суханова, что на 6 декабря назначена сходка студентов на площади Казанского собора. Студенты от лица народа будут протестовать против войны и заявят свои требования правительству.

— Это начало, — сказал Суханов, — так всегда! Начинает учащаяся молодежь.

Вера пошла на сходку.

Был легкий мороз и тихо; приятная была погода, мягкая и спокойная. Сквозь туманную пелену проглядывало бледное солнце, Адмиралтейский шпиль тусклым золотом отсвечивал на нем. На Невском было, как всегда в праздничный день. По углам топтались газетчики и посыльные в красных кепи и с медными бляхами. Извозчики трусили мерною рысцою, везли седоков, накрытых синими суконными полостями с опушкой козьего меха. По Невскому мчались «конки», взлетая на Аничков мост, и мальчишка скакал верхом впереди на пристяжной к дышлу лошади.

Черные клодтовские статуи были, как кисеей накинута — покрыты белым инеем. Шли юнкера в кепках, пажи в касках с султанами, бойко отдавали честь, становились во фронт генералам.

Когда Вера подходила к Казанскому собору, навстречу ей быстрою рысью, пригнувшись к луке, промчался казак в кивере. Лошадь пощелкивала подковами по мостовой.

На площади, у высоких колоннад Казанского собора и у памятников Барклаю де Толли и Кутузову, были небольшие группы студентов в черных картузах, в пледах, накинутых на плечи; между ними были девушки в подоткнутых «пажами» юбках, стриженные, в очках. Курсистки...

Вера вспомнила, как говорил Порфирий: «Не можем без формы. Пустили женщин на Высшие медицинские курсы — формы им не определили, так они сами себе форму придумали — остригли волосы, очки на нос нацепили — такие красавицы, — этакie дуры!.. Стадное чувство. Нигилистки!»

Этих «нигилисток» теперь Вера видела близко. Но неужели это и была сходка?

Рыжеусый городской в каске и наушниках, так друг к другу не подходивших, добродушно, «честью» просил молодежь разойтись и не препятствовать движению.

Из маленьких толп слышались презрительные крики — «фараон!» Студенты со смехом разбегались. Площадь была велика, полиции мало. Студенты разбегутся и снова накопятся уже большею группою, теснее, в другом конце площади. Точно молодежь играла в какую-то игру с полицией, издевалась над нею.

Вера остановилась у Екатерининского канала и смотрела на эту игру. Она думала: «Ну кому они мешают?.. Почему им не позволят собраться и поговорить так, как они хотят?..»

Но становилось холодно и скучно. Вера стала считать людей по кучкам. Тут двадцать один, там тридцать два... Всего насчитала она около трехсот человек. Подумала: 150 миллионов русского народа и триста студентов!.. Вера пыталась сопоставить эти цифры, но это ей не удавалось, слишком были они несоизмеримы.

Вдруг каким-то ловким маневром молодежь обманула бдительность полиции и вся собралась в углу площади, у колоннады, отделявшей Казанскую улицу.

Вера поспешила туда.

На портике собора стоял кто-то в черном, в длинном пледе, свисавшем до самых ног, и, возбужденно размахивая руками, кричал молодым, резким голосом в толпу. Вдруг раздалось нестройное, несмелое пение, над толпою, в самой ее гуще развернулось поднятое на палке широкое кумачовое полотнище. На нем черными буквами было написано: «Земля и воля».

По всем углам площади заверещали, залились полицейские свистки, и городовые с углов площади и с Невского проспекта побежали на толпу.

Городовые шашками, не вынимая их из ножен, старались отрывать людей от толпы. Студенты боролись. Слышались молодые, негодующие голоса:

— Вы не смеете нас трогать!.. Руки коротки!..

— Не смей ее бить!..

— Разойдитесь, господа!.. Честью вас просят!..

— А еще барышня!.. Да разве можно так... Кусаться!..

— Хватай ее, тащи в участок... Ишь, стерва, околодочного по лицу смазала...

— Ж-жидовка пр-рокл-тая!..

Сверху неся возволнованный картавый голос:

— Братья!.. Не допустим войну!.. Свое горе!.. Свое несчастье надо загасить нам раньше. Нам не жить под гнетом самодержавия!..

Тут кто-то громко и с отчаянием крикнул:

— Каз-заки!..

Вера оглянулась. Во всю ширину Невского проспекта, тесным строем, в серых шинелях и киверах, лихо надвинутых набекрень, рысью шел казачий эскадрон. Молодой офицер, высокий, стройный, в блестящем лакированном кивере, — как он только держался так совсем на боку? — ударил лошадь плетью по кожаному вальтрапу и, нагнувшись вперед, помчался на площадь. Казаки молча рассыпались широким, редким строем и быстро приблизились к толпе.

Все побежали. Кто смог, взобрался на каменную колоннаду, спрыгнул на Казанскую и удирал вовсю. Кто не успел, заметался по площади, стремясь пробиться сквозь казаков на Невский. Полиция ловила их.

Вера видела, как какая-то женщина, маленькая, с растрепанными черными волосами, в низкой шапочке на самом темени, безобразная жидовка, вдруг выхватила перочинный нож и с размаху всадила в круп казачьей лошади. Та поддала задом.

— Ах, стерва!.. — злобно крикнул казак и изловчился ударить женщину плетью, но та с жалобным воем упала на снег и удар пришелся по воздуху.

— Опричники!.. У-лю-лю-лю!! Царские собаки!.. — кричали студенты из-за колонн и бросали в казаков камни, калоши и палки.

Городовые лезли на колоннаду. Мимо Веры проехал казак без кивера, с разбитым в кровь лицом и скверно ругался.

Вера торопливо шла по Невскому. Несколько студентов и с ними девушка бегом нагоняли ее. Казак преследовал их. Он нагнал Веру и ударил ее по котиковой шубке плетью.

Не было больно. Но вся кровь застыла у Веры от непереносимого оскорбления. Ей казалось, что она сейчас задохнется, умрет... Лицо горело. Она точно ощутила на спине кровавую полосу удара, ей казалось, что шубка рассечена пополам, что все видят ее позор. Она добежала до Невского и здесь увидела извозчика, ехавшего порожнем.

— Извозчик, — едва слышно, задыхаясь, проговорила Вера, — на Фурштадскую.

Извозчик остановил лошадь и отстегнул полость.

— Ить что делают, — выезжая на Конюшенную и оборачивая румяное от мороза, обросшее седеющей бородой лицо к Вере, заговорил извозчик. — Видют — барышня... Не скубентка шилохвостая какая, а барышня, как и следовало быть, по всей форме барышня!.. Нет... И по ей!.. По чем зря быют. Может, — из церкви шла, ни в чем не виноватая... А того жиденыша, что речь держал... Не догнали... Ку-у-ды ж!.. Как припустил, проклятый, по Казанской, на казацкой лошади кальером не нагонишь. Так и сигает... Так и сигает!.. Да жигулястый какой... Страсть!..

Летний сад, нарядный в серебряном инее, сквозь который сквозила голубая дымка дали, надвигался со стороны Лебяжьей канавки. Извозчик снова повернулся к Вере.

— И знамя у их!.. Я видал... Зна-а-амя... Красный такой флаг. И надпись по ему: «Земля и воля»... Ить чего господа не надумали. Им хошь белая береза не расти! Землю чтобы, значит, отобрать от крестьян и волю обратно вернуть. Государь Император даровал — так вот им, значит, не пондравилось. Обратно желают. Опять, значит, крепостное чтобы право... Чистый мигилизм... И кто верховодит над ими — самый жид!.. Чтобы, значит, под жида повернуть Российское государство.

Вера молча расплатилась с извозчиком и через двор, по черному ходу пробралась к себе в комнату. Она заперлась на ключ. Сняла кофточку. На ней не было следа удара. Мелкие капельки потаявшего инея были на нежном котике, чуть мокрый был мех. Вера сняла блузку и подошла к зеркалу... Становилось темно. Вера спустила штору, зажгла свечи, скинула с плеча рубашку и, полуобнаженная, разглядывала через второе зеркало красивую белую спину. Не было никакого следа удара. Но полоса удара все продолжала гореть, вызывая жгучую досаду оскорбления и непереносимой обиды.

Вера долго рассматривала свою спину. В тусклом зеркальном отражении под шелковистой кожей шевелились лопатки. Стройная талия скрывалась в поясе. Вера видела, как от жгучего стыда, от боли оскорбления розовела спина, как алела шея

и малиновыми становились уши. Такая жгучая боль, такой тупой ужас были на душе у Веры, что, подвернись ей в эту минуту револьвер, она застрелилась бы!

Она опустила маленькое зеркало и повернулась лицом к большому.

Голубые глаза не видели прекрасного отражения. Перед Верой был мертвый матрос с лицом, накрытым платком, и потому особенно страшный... Упавшая на снег еврейка, казак, ругающийся скверными, непонятными, никогда не слыханными Верой словами. Лицо казака залито кровью, и один глаз закрыт и вспух... Страшное лицо... И хлесткий, звучный удар по спине, по меху котика... Удар по ней!.. По девушке!..

Это жизнь?!

В ушах слышалось — «нам не жить под гнетом самодержавия!..»

XIII

В разгильдяевском доме царила влюбленная атмосфера и вместе с тем шла подготовка к походу.

Спальня Порфирия, его кабинет и даже общая гостиная были завалены походными вещами. Бинокли, переметные сумы, вьюки, палаточные принадлежности, колья, веревки, чемоданы, походная постель из тяжелых железных стволы, покрашенных зеленой краской, разборный самоварчик — «паук», на вкладных кривых ножках, потники, высокие сапоги с рас-трубами валялись на тахте, лежали по диванам и креслам, на полу между мебелью. Пахло свежей кожей, ворвань, пенкой, грубым полотном, смолой, пахло походом.

Старый генерал посмеивался и говорил — напрасные траты!.. Туда и обратно!..

Порфирий возмущался:

— Помилуй, папа!.. Туда и обратно? И это после торжественных проводов Великого князя, после того, как сказаны были перед офицерами всей нашей гвардии великие слова о целях войны, о Константинополе!.. Невозможно...

— Слышал и об этом. Конечно, слово не воробей, вылетит — не поймает, но... Не следовало говорить этих слов... Кроме России есть еще и Европа и в ней мировое масонство, управляемое жидками. Как ты полагаешь, австрийским жидкам желательно, чтобы славяне, эксплуатировать которых они привыкли, стали свободны?.. Ты думаешь, английским жидкам радостно

будет видеть торжество христианства на Средиземном море? Да ведь это будет потрясение всех основ английской политики. В яхт-клубе открыто говорят, что Англия и Австрия не допустят Россию до освободительной войны, до торжества России на Ближнем Востоке.

— Но, папа... Россия?.. Слово Государя?..

— Знаю — повторишь слова о стопятидесятиmillionном народе... Но народ-то этот темен, он молчит и, что он думает, кто это знает? Полагаю, что все что хочешь, но не о благополучии каких-то там балканских славян... А масонский мир силен... Государь царствует двадцать два года — ему не мешают. Но если его царствование завершится победами и — не дай бог — Константинополем,— масонский мир этого Государю не простит никогда... Все темные силы будут подняты, снабжены деньгами, ободрены и двинуты, чтобы уничтожить Государя... Помяни мое слово — «земля и воля» к ним пришли из-за границы...

— Ужасно...

— Мировая политика ужасна. Тут нет никакой жалости, ибо тут — еврей с его вечной ненавистью к не еврею... У масонского интернационала на поводу и в услужении темный третий международный интернационал, о котором мы ничего не знаем, а когда узнаем, так ахнем от ужаса.

Порфирий тупо смотрел на отца. Он и точно ничего не знал об этой высшей международной и внеправительственной политике. Одолевали его, помимо его сборов на войну, и семейные заботы. Афанасий шел на войну и настоял на том, чтобы отец добился его перевода в Волынский пехотный полк, стоявший в Кишиневе. Значит — в первую голову!

Не патриотизм и пример отца побуждали Афанасия ломать свою гвардейскую карьеру, но знал Порфирий, что его сын в эти дни вдруг точно прозрел и без ума и памяти влюбился в Веру, а та словно и не замечала его чувства и избегала своего троюродного брата.

Простившись со своим батальоном, Афанасий переселился к отцу под одну крышу с Верой и стал приставать к кухне.

Вера ходила задумчивая и печальная, своя тяжелая внутренняя работа шла в ней, и влюбленный Афанасий ей был нестерпим.

Афанасий поймал Веру в коридоре у дверей ее комнаты. Он схватил своею большою рукою за концы ее пальцев и, не зная, как начать давно подготовленное объяснение, сказал:

— Вера... Вера... О чем ты все думаешь?..

— Прежде всего пусти меня. Ты знаешь, что я этого терпеть не могу... Телячьи нежности. Конечно, не о тебе.

— Вера... Мы оба выросли и не заметили этого. А я вот теперь точно только первый раз тебя увидел.

— Ну?.. И дальше что? — вырываясь из крепких рук Афанасия и берясь за ручку двери своей комнаты, сказала Вера.

— Вера!.. Да ты ужасно как похорошела...

— Очень рада узнать об этом от тебя первого.

— Вера, постой!.. Поговорим!

— Мне не о чем с тобою говорить. Мы разные люди... Мальчиком ты меня мучил и делал мне больно. Теперь надоедаешь мне своими томными взглядами. Они и тебе и мне не к лицу.

— Вера... Прости за прошлое. Что может понимать мальчик в женской красоте... Такой у меня был уже темперамент, чтобы мучить тебя. Может быть, даже это был инстинкт просыпающейся любви... А теперь...

— Ну что же теперь? — наступая на Афанасия, сказала Вера, пытливо и строго смотря Афанасию прямо в глаза.

Бедный волевец покраснел, растерялся, смутился и теребил полу своего сюртюка.

— Вера... Мне кажется.

— Если тебе что кажется — перекрестись, и перестанет казаться, — резко сказала Вера, быстро вошла в свою комнату и заперлась на ключ.

«Этот мальчишка и точно, кажется, влюблен в меня, — подумала Вера. — Этого только не доставало! От него всего можно ожидать... Пожалуй, и на войну идет... потому что... Ну да не все ли равно, мне-то какое дело до этого!»

Но главную скрипку в любовном концерте, разыгравшемся в разгильдяевском доме, несомненно, играла графиня Лиля. Она и не скрывала своего обожания Порфирия.

«Наш герой»... иногда — «наши герои», когда говорилось про Порфирия и Афанасия, не сходило с ее языка... «Подвиг...», «Красота самопожертвования...», «Точно по евангельскому завету Христа наши герои идут душу свою положить за други своя...».

Графиня Лиля, как мать или сестра, входила во все подробности снаряжения Порфирия, ездила для него по магазинам, шила ему походные мешочки для чая, для сахара, подарила дорогую флягу из хрусталя в серебре. Порфирий принимал все это как должное, по праву героя, идущего на войну.

А Вере все это было смешно.

Был вечер. В кабинете Афиногена Ильича под зелеными шелковыми абажурами горели канделябры на большом круглом столе. Афиноген Ильич сидел в кресле, протянув ноги. Флик и Флок лежали подле на ковре. Вера сидела задумавшись у камина, смотрела на горящие дрова и слушала сквозь свои тоскливые мысли, как графиня Лиля читала выдержки из французских и английских газет.

— Афиноген Ильич, еще про Россию прочесть?..

— Будьте добры, графиня.

— Восемнадцатого декабря, это, значит, по-нашему — шестого, на площади у Казанского собора был большой митинг. Толпа возмущенного народа достигла нескольких десятков тысяч человек. Генерал Трепов собрал войска Петербургского гарнизона и атаковал толпу кавалерией...

— Дедушка, это же неправда, — отозвалась от камина Вера. — Зачем пишут такую неправду? Я случайно проходила по Невскому в это время. Там было человек триста студентов и курсисток и пол-эскадрона казаков, который и разогнал их. Кто не знал, тот даже и догадаться не мог, что это был митинг...

Какие-то струны туго-туго натянулись внутри Веры. Невидимый кровавый рубец огнем загорелся на спине под ее строгим закрытым платьем. Вера с трудом сдерживала внутреннюю дрожь.

— Всех их следовало бы перепороть там же на Казанской площади, — брезгливо сказала графиня Лиля. — Какие мерзавцы!.. В такие священные моменты... А вот еще... Сообщают из Лондона, что Великий князь Николай Николаевич Старший вовсе не болен в Одессе, но в Кишиневе в него стреляли возмущившиеся офицеры и он опасно ранен... Подумаешь!.. Какая гадость!..

— Дедушка... Все это ложь... Кто же это пишет?..

— Эмигранты русские... Вот такие, как князь Кропоткин, Герцен и им подобные, ну и жида стараются всякую мерзость про Россию напечатать. Заграничная пресса, как правило, подкупна. Отсюда им дают сведения, а газеты рады сенсациям. Тошно жить, Вера, когда не стало честности и благородства. Потрясают основы... Ты говоришь — триста человек... Да ведь один дурак бросит камень в воду, а сто умных не могут его вытащить... Чтобы разрушить, и тридцати достаточно, а вот созидать — нужны миллионы!.. Весь народ... А разрушить?..

Афиноген Ильич обернулся к графине Лиле:

— Они, графиня, и войну используют для того, чтобы разрушить Россию... Вот почему и не нужно нам никакой войны.

— Ну что они могут сделать?.. Эти, что со знаменем «земля и воля» ходили, триста мальчишек,— сказала графиня Лиля.

— Разрушить Россию,— вставая, сердито сказал генерал.— Убить Государя... Вы думаете, графиня, народ?.. Какой там народ!.. Явится там какой-нибудь болван... Чаадаев или там Пестель, Рылеев... Декабристы... И на священную особу Государя Императора покушение. Разве уже не бывало так? Каракозов... Березовский... Стреляли уже. Один человек... Один негодяй!.. Много и не нужно, один негодяй сделает, а миллионы порядочных людей страдать будут, да ничего не помогут.

— Господь охранит нашего Государя...

— На Бога надейся, а сам не плошай... Завелась эта пакость, и трудно ее вывести. Как ржа на железе. Истачивает ржа и сталь. Красное знамя!.. А как это разжигает страсти!.. Мутятся головы... Как в такие времена начинать войну?!

— Освободительную войну, Афиноген Ильич! Освободить славян от гнета турок...

— Слышал, слышал... Освободить... Благодарность людская — черствая благодарность... Ну да там видно будет. Спасибо, графиня, за чтение. Мне трудно заграничные-то газеты... Печать серая, мелкая, в глазах от нее рябит... Спасибо...

Генерал поцеловал графине руку, поцеловал Веру в лоб и пошел, сопровождаемый собаками, в спальню.

Вера и графиня сидели молча. В теплом кабинете была тишина. С легким шорохом обвалились красные головни, на мгновение камин вспыхнул ярким пламенем. По-зимнему было тихо в кабинете. Графиня Лиля отложила в сторону газеты и сидела, устремив сияющие глаза на окно с опущенными портьерами. Вера низко опустила голову. Рассыпавшиеся уголья бросали кровавые блики на ее шею и волосы. Очень красиво было ее печальное, задумчивое лицо.

«Ложь,— думала Вера.— Зачем?..»

XV

Было утро, и Вера только что вернулась с прогулки. Горничная, помогавшая ей раздеться, доложила, что какой-то человек пришел с черного хода на кухню и непременно просит доложить о нем барышне.

— Какой человек? — спросила с недоумением Вера.

— Назвались князем... Да вид-то у него, барышня, совсем даже не авантажный. Словно скубент какой. Очень бедно одеты. Сапожонки прохудились, на плечах платок.

— С рыжеватой бородкой?

— Так точно-с. Так, что-то растет по щекам. Очень уже они неглижа.

— Так это князь Болотнев... Проведите его ко мне.

— В голубую гостиную прикажете или в зал?..

— Нет, Маша, ничего не поделаешь, проведите его ко мне сюда...

— В спальную?..— удивилась горничная.

— Ну да... Ведь у меня прибрано.

Вера отлично понимала смущение и возмущение горничной, но как было ей иначе поступить? С тех пор как родители выгнали из дома князя, вход в такие дома, как дом Афиногена Ильича Разгильдяева, был закрыт для Болотнева. И князь это отлично знал, потому и пришел с черного хода на кухню. Принимать его в парадных комнатах, куда могли пройти Афиноген Ильич или Порфирий,— это значило навлечь на князя неприятности. Если князь пришел к Вере, если он так добивается ее видеть, значит, случилось что-нибудь особенное, важное и нужно его принять и выслушать в спальне, куда ни старый генерал, ни дядюшка Порфирий, ни Афанасий не заглянут.

Князь Болотнев был одет много хуже, чем летом, на Петергофском празднике, где своими странными рассуждениями он отвлек Веру от тяжелых мыслей и заинтересовал ее. Штаны были те же, но были более потрепаны, и сзади, у каблуков, появилась на них бахрама. Сапоги были давно не чищены, и на правом сквозила дырочка, сквозь которую просвечивал не особенно чистый носок.

Князь протянул Вере сырую, холодную, красную, обмороженную руку и сказал:

— Простите, Вера Николаевна, удивлены?.. Может быть, возмущены моим нахальством и некорректностью, не «*сomme il faut*», но я считаю, что нам, молодежи, новому поколению, нужно строить жизнь по-новому. Нужно отбросить все условности хорошего тона. Да и не до них теперь. Видите — к вам по важному, очень нужному делу, и ваш ответ может решить мою судьбу...

— Садитесь, князь,— показывая на кресло, сказала Вера.— Я вас слушаю.

— Не бойтесь... Я вас не задержу-с. Порядки вашего дома знаю... Потому буду краток. Вы помните наш разговор на празд-

нике в Петергофе? То есть, собственно говоря, говорил-то я один, вы же все молчали.

— Я помню, князь... Вы были очень оригинальны. Вы совсем тогда сразили и ошеломили графиню Лию.

— Так вот, Вера Николаевна, именно тогда я понял и почувствовал, что между нами существует родство... То есть, конечно, я понимаю — Болотневы, и Ишимские, и Разгильдяевы совсем, совсем никак не родня... И близкого ничего нет... Болотневы — это те, кто давно, давно пили крестьянскую кровь, крепили свои поместья, это родовитое дворянство, старое, боярское, на плетях выросшее, Разгильдяевы и Ишимские — дворянство служилое, петровское, солдатскою кровушкой впоенное, на шпицрутенах воспитанное. Я еще грамоте хорошо не знал, как меня заставили выучить генеалогию нашего рода... Так вот, значит, родства кровного нет... Никак нет. Но я говорю в данном случае про родство душ. Я тогда просто-таки почувствовал, что и вы, как и я, на распутье, ищите, не знаете, как жить... И вот я стал думать. Как видите, больше полгода думал, обмозговывал, прилаживал в голове, прежде чем вас побеспокоить. Я пришел к тому заключению, что проще всего нам будет взять и пойти вместе. Вы меня понимаете, Вера Николаевна?..

— Простите, князь, но я вас совсем не понимаю.

— Ну вот, как же это так? Да это же совсем просто. Я предлагаю вам, Вера Николаевна, выйти за меня замуж. Стать моей женою.

И, точно боясь услышать сейчас же отказ, князь заторопился продолжать:

— Нет... нет... Вы не подумайте... Я предлагаю вам совсем особое, новое... Брак, как это понимается всеми, — мещанство... Я далек от мысли о мещанстве. Я считаю такой брак величайшею глупостью. Но, когда полюбишь, и сильно, а я в этом убедился, то это вещь совершенно естественная, вполне допустимая при моем матерьялистическом и математическом воззрении на мир. Когда полюбишь девушку такую же развитую, как я сам, — то можно допустить уже и такую глупость, как женитьба. Но только я предлагаю вам выйти за меня замуж не иначе, как для того, чтобы розно жить, и ни вы, ни я тогда не потеряем своей свободы.

— Но это, князь... Я не знаю, как назвать это?.. Это комедия.

— Допустим. Я знал, что вы сразу не поймете меня. Пускай даже и комедия, но комедия безвредная... А как же жить в наше время атеисту без комедии?..

— Князь... Брак — таинство... Вы знаете, что надо раньше бракосочетания говеть и приобщаться...

Вера сама не знала, что говорила. Ей нужно было что-нибудь сказать. Принять по-настоящему слова князя она не могла, однако видела, что князь не шутит. Он был необычно серьезен и, несмотря на свой поношенный костюм, весьма даже и торжествен, жениховски важен и несомненно трезв.

— Знаю... Вот и говорю — комедия... Как я пойду к попу на исповедь и начну с того, что я не верую в Бога... «Так зачем же, — скажет мне поп, — ты пришел ко мне?..» Верно, при таких условиях и брак комедия. Но вся эта комедия нужна для людей. Вы потом останетесь здесь или, лучше еще, переедете на свою отдельную квартиру, я останусь в своей мансарде. Но мы свяжем себя, так сказать, круговой порукой. Та любовь, которая загорелась во мне там, на берегу Финского залива, заставит меня поверить в труд и приняться за него... Мы читали бы вместе, прочли бы и усвоили «Kraft und Stoff»¹ Людвига Бюхнера. Вы знаете языки, и я их знаю. Вы, может быть, поступили бы на медицинские или Бестужевские курсы. Мы стали бы вместе работать, изучать общественные науки, мы с вами вместе, Вера Николаевна, перевернули бы весь мир. А?.. Что вы на это скажете?..

— Что я могу вам сказать?.. Вы говорите о любви, но мне думается, что для женитьбы... все-таки любовь должна быть взаимной...

— Я понимаю вас... Вы меня не любите... Конечно... Прогнали человека из дома... Пьяница... Нищий...

— Нет, князь... Совсем не это... Уверяю вас, не это... И то, что вы без средств, и то, что прогнали вас из дома, и все другое не имеет никакого значения для меня, если бы тут была любовь... Но я?.. Я никого не люблю...

— Меня же особенно, — вставая, жестко сказал князь. — Все презирают меня за это мое... нищенство. Я же считаю, что подло жить на счет трудов и слез своего ближнего и вовсе не подло на счет добровольного дателя. Да, я не способен к труду... Но, когда я полюбил, мне стало казаться, что вместе с вами я могу и трудиться. Моя душа воспарила, и мне показалось, что я не совсем пропавший человек... А вы способны на самопожертвование. Я не хочу быть барином и вас не зову стать барыней, а прошу вас вместе потрудиться. Я ничтожный, лишний на свете человек, ноль... Я тоскую и мучаюсь пустотою жизни... И мне казалось, что и вы тоже...

¹ «Сила и материя» (нем.).

— Ноль... И вы думали, что ноль плюс ноль дадут нечто...

— Прощайте, Вера Николаевна,— решительно сказал князь Болотнев.— И прошу вас, забудьте этот мой глупый разговор. Ваша логика убийственна... Эти шесть месяцев я только и делал, что пил и думал о вас... Много читал... Даже писал... Думал, что нашел... Вижу, что ошибся...

Князь протянул Вере все еще холодную, несогревшуюся руку. Вера вяло пожалала ее. Ей было жаль князя... Но не выходить же ей замуж за всеми отверженного Болотнева, чтобы потом жить как-то странно, по разным квартирам. Князь вышел из комнаты. От него остался в спальне какой-то неуютный, нежилой запах холода и сырости. Точно принес он с собою воздух улицы и своей холодной, одинокой, сырой мансарды...

Вера смотрела на закрывшуюся за князем дверь.

«Жаль, конечно... Мне жаль его. Может быть, было нужно, как это делает графиня Лиля, дать ему красненькую?.. Но как дать деньги, когда он мне сделал предложение руки и сердца?.. Спасти, вывести на добрый путь всеми отверженного князя?.. Разве это не подвиг... Но я — девушка, побитая на площади казаком... Куда я сама-то годна со всеми своими сомнениями... О, Боже! Боже!.. верни мне веру в Тебя!.. Научи меня, если Ты еси!.. Но — я знаю — Тебя нет... Если бы Ты был, не было бы надвигающейся войны, турецких зверств, казаки не били бы на площади студентов, не было бы курсистки, воткнувшей нож в круп лошади, и казака с разбитым глазом. Мне говорили, что у казака глаз совсем вытек... Не было бы и этого несчастного князя, но все были бы радостны и веселы и... счастливы... А то все это... И Бог?.. Бог?.. Милостивый и человеколюбивый Бог?.. Нет, Бога нет, и так страшно жить без Бога...»

XVI

Порфирий у себя в кабинете примерял походное снаряжение. Афанасий сидел в углу в кресле и смотрел на отца.

Порфирий надел чесучовую желтоватую рубашку на крепкое, волосатое тело, сел на тахту и стал натягивать высокие сапоги с раструбами выше колена.

— Немного тугие сделал мне сапоги Гозе... Ну, да разносятся,— сказал он, вздыхая.— Но нигде не жмут. И нога, как облитая... Гарновский писал мне — в действующей армии вицмундир и каска обязательны... Такова воля Государя... Как в прусской армии в войну семидесятого года...

Порфирий накинул на плечи сюртук со значком и аксельбантами и прошелся по кабинету.

— Папа,— сказал Афанасий,— ты пройди все-таки к ней. Поговори.

— А сам-то что же?.. Жен-них!..— с ласковой иронией сказал Порфирий.

— Не могу. Так посмотрит на меня, что язык прилипает к гортани. Боюсь — высмеет. И ее глаза!.. Не налюбуюсь на них и боюсь их...

— Боишься, а жениться хочешь... Как же потом-то будет?

— После легче будет.

— Что говорить... Похорошела Верочка, а кусается... От рук отбилась. Вот оно, домашнее-то воспитание на воле, без институтской дисциплины... Так хочешь, чтобы я — сватом!.. И сейчас?..

— Да, папа. Завтра я уезжаю в полк. Так хотелось бы знать...

— Бесприданница...

— Ну, дедушка ее не обидит. Да и у тебя что-то есть.

— А вдруг я возьму и тоже женюсь... Вот мои-то денежки и проплывут мимо тебя.

Отец и сын весело захохотали.

— Ведь не стар еще?.. А?.. Ни одного седого волоса. Чем не жених?.. А?..

— Совсем жених, папа... Так пойд и поговори.

— Ну, ладно... За успех не ручаюсь. Но не потому, что отец, а по совести — лучшего жениха для Веры, как ты, и днем с огнем не сыскать.

Порфирий вдел рукава сюртука и, распахнутый — очень ему нравилась желтоватая чесучовая рубашка,— подрагивая крепкими мускулистыми ногами и позванивая прибитыми к каблучкам шпорами, пошел на половину Веры.

— Барышня у себя? — спросил он горничную, вышедшую к нему в коридор.

— Она в спальней.

— Попроси ее в будуар...

Порфирий похаживал по мягкому ковру, поглядывал, как в двух зеркалах отражалась его коротенькая полная фигура то со спины, то с лица.

«На Леера похож! — подумал он самодовольно.— Если отпустить бороду, да, когда поседею, совсем буду, как Леер. Вот заложу руку в карман и, как он, тихим ровным голосом начну: прошлый раз мы закончили оборудование базы, теперь посмотрим, как в соответствии с этим должны быть устроены опера-

ционные линии...— Впрочем, у Леера это как-то учение, мудренее выходило. А ведь и правда, я мог бы лекции читать. Мои академические работы признаны лучшими, отчет о кавалерийских маневрах на Висле с Сухотным заслужил одобрения Обручева и Милютина. Я на дороге... А теперь еще война... И я, черт возьми, еду на войну. Это тоже не шутки. Это стаж для будущего. Теория, проверенная на опыте... Георгиевский темляк на сабле, а может быть... и беленький крестик!.. Всякое бывает... А там, если повезет, и в генералы!.. Как это в «Горе от ума» — то?..», а там — зачем откладывать бы дальше,— речь завести о генеральше!..» Однако Вера меня выдерживает. А может быть, догадалась, почему я так официально... Прихорашивается... Все-таки смотрины... будущий тестюшка... Хе-хе-хе!.. А вот... Наконец...»

Вера вышла, как всегда ходила она дома,— в строгом закрытом темно-синем платье, в корсете. Круглые пуговики блузки были застегнуты сзади наглухо, узким мыском лиф спускался за талью и незаметно переходил в суконную юбку. Буфы на рукавах и турнюр были умеренны. Вера напонила Порфирию французскую артистку, виденную им в Михайловском театре. Прическа Веры была небрежна — слишком густы и непокорны были пушистые пепельные волосы. Прическа эта очень шла Вере.

«Хороша...— подумал Порфирий,— мой оболтус понимает толк в женщинах. Мимишка его научила... И есть в ней нечто духовное, величественное... Ей губернаторшей быть. Вся губерния была бы у ее ног. Девочка — а совсем Екатерина Вторая...»

— Вера, я к тебе по серьезному делу.

— Садитесь, дядя, я вас слушаю,— показывая на кресло и устало опускаясь в другое, сказала Вера.

Порфирий продолжал ходить по комнате. Зеркала отражали его.

— Видишь ли, Вера...— последовало долгое молчание.

Вера смотрела на Порфирия.

— Тебе нравятся мои сапоги?.. Это наша походная форма.

— Простите, дядя, вы мне напомнили картинку на сказке Перро — «Кот в сапогах».

— Кот в сапогах?..— Порфирий принужденно засмеялся и остановился против зеркала, спиной к Вере. Зеркало отразило румяное, круглое лицо, темные усы и баки, намаженные и приглаженные на висках волосы торчали кверху, совсем как кошачьи уши... Небольшой нос, веселые, жизнерадостные круглые глаза — действительно кот, сытый, лавочный, холеный кот.

И брюшко в чесучовой рубашке — как белая кошачья грудка... Кот в сапогах...

Порфирий застегнулся.

— А едкая ты, Вера.

— Простите, дядя. Я это с любовью.

— Охотно верю, и я к тебе с любовью. Так вот... Коротко и прямо. По-военному, по-разгильдяевски, по-солдатски... Я к тебе сватом. Ты — товар, я купец. Мой Афанасий просит твоей руки и сердца.

— Но дядя... Мы же, как брат и сестра... Мы родня.

— Какая там родня!.. Седьмая вода на киселе... Разгильдяевская кровь в тебе только с материнской стороны, да и то по бабушке. Отец — Ишимский, мать Тихменева и только мать твоей матери двоюродная сестра моего отца. Тут и не досчитаешься, где эта самая-то родня придется.

— Мы росли вместе, и я так привыкла смотреть на Афанасия как на брата.

— Росли вместе, потому что... Да ты сама знаешь. Твой отец, капитан конной армии Ишимский, доблестно сражался в севастопольскую кампанию под командой моего отца, был тяжело ранен, выручая со своей батареей моего отца. Это не забывается. Он женился в доме моего отца... Я все это отлично помню, и, когда твой отец скончался, а потом умерла и твоя мать, ты осталась круглой сиротой и зажила в нашем доме со всеми нами как наша родня. Но ты отнюдь не сестра и даже не кузина Афанасия.

— И все-таки я никак не могу себя представить женою Афанасия.

— И представлять не надо — надо стать. Афанасий едет на войну. Он хочет перед отъездом получить твое слово. Поверь мне, получив твое слово, он будет героем и, если Бог даст, целым и невредимым вернется домой, ты дашь ему то счастье, какого он вполне заслуживает.

— Простите меня, дядя, но я не могу дать такое слово.

— Почему?.. Что он? Урод?.. Обезьяна какая-то?..

— Нет, конечно, не урод и не обезьяна... «Красавчик» — с детства это слышу. А все-таки — на могу.

— Почему?.. Ну хорошо... Я понимаю. Ты умная, Вера... Мой Афанасий умом и талантами не блещет, он не в меня, а в мать пошел... Но он такая прямота, такая честность, такой рубаха-парень... Как он будет любить тебя и холить...

— Дядя... Все равно я не могу полюбить его.

— Еще раз спрошу — почему?

— Вы помните, дядя... Петергоф и соревнование выездами.

— А... Так, так, так... Белый пудель,— совсем по-кошачьи фыркнул Порфирий.— Ф-ф-уу!.. Какая глупость! Но, милая моя, ты девушка, тебе девятнадцать лет и тебе рано это знать. Но это всегда так бывает. Афанасию двадцать три года. Он сангвиник, он молодчик, что же ему?.. Фу-ух, какие ты глупости говоришь, хоть и умная девушка... Нет, ты не думай об этом... Не думай и не думай... Посоветуйся с нашей милой графинюшкой. Ей-богу, не потому, что отец, а по совести — такого жениха не найти... И пожалей его...

Порфирий подошел к сидевшей в кресле Вере и взял ее за плечи. Вера вывернулась из его рук и встала.

— Нет, дядя, благодарю за честь... Прошу не обижаться... Но... просто — не могу...

— Да что, у тебя есть кто-нибудь на примете?..

— Никого у меня нет — вы сами это отлично знаете. Кто у нас бывает?.. Где я бываю?.. Но за Афанасия я не могу выйти... Я просто не люблю его.

— Стерпится — слюбится.

— Таким путем ни ему счастья не дам, ни себе не получу.

— Что же сказать ему?.. Ты хотя бы обнадежила его...

— Дядя... В Малороссии, кажется, арбуз или тыкву в таком случае посылают.

— Ты еще можешь шутить!.. Ты отчаяние вместо надежды даешь человеку, идущему на войну.

— Что же я могу поделать? Я чувствую, что не люблю и никогда не полюблю Афанасия! — со слезами в голосе выкрикнула Вера.— Я никого никогда не полюблю. Я останусь старою девою. Но только умоляю — не мучайте, не мучайте меня. Я никому не мешаю. Я пойду... в народ. Но я не могу, не могу и не могу!..

Вера выбежала из будуара...

Порфирий постоял несколько мгновений в комнате, ожидая, не вернется ли Вера.

— Странная девушка,— сказал он.— С идеями!..— и пошел к Афанасию.

Он застал сына в кабинете в том же кресле, в той же позе.

— Ну что? — спросил Афанасий.

— Погоди, Афанасий... Нет, рано еще. Она совсем еще девочка. Ей в куклы играть, а не замуж выходить. Не созрела еще. Переходный, самый капризный возраст. Помнишь, как в Петергофе с этим дурацким матросом.

— Отказала? — вставая, спросил Афанасий и побледнел.

— Н-нет... Она не отказала... Но, мой милый Афанасий, надо нам раньше вернуться с войны, а тогда уже думать о свадьбе.

— Хорошо, папа... Я вернусь с войны героем или вовсе не вернусь...

XVII

Война!.. Война!.. Она висела в воздухе! Казалось, это страшное слово звучало в великопостном перезвоне колоколов, слышалось в чириканье воробьев по улицам.

В Пассаже, на Невском, в галерее восковых фигур были выставлены «Турецкие зверства». Были изображены из воска болгары, привязанные к деревьям, под ними горели костры. Фольговые огоньки костров блистали, восковые ноги болгар были обуглены, на лицах изображена нестерпимая мука. Зрители стояли у столбиков с малиновыми шнурами, вздыхали и говорили шепотом. У двери висела кружка «для добровольцев в Сербии». Сыпались в нее медные пятаки и трешницы, серебряные двугривенные и пятиалтынные.

На Николаевском вокзале ежедневно кого-то провожали в действующую армию.

Порфирий и Афанасий уехали. Генерал благословил сына и внука иконами.

— Вернетесь, Бог даст,— сказал он,— без всякой войны. Государь знает — *on ne saurait jamais entierement aneantir les resultats de la guerre*¹. Сто раз подумает. Своей Империей рискует... Он это понимает.

Вера одна осталась при дедушке.

Газеты, «общественное мнение» требовали войну.

Все это Вера переживала болезненно чутко. Она осторожно расспрашивала деда о тех войнах, в которых тот участвовал. Она с трепетом слушала его рассказы о тысячах убитых, о раненых, умирающих на поле без помощи, о голоде и жажде, о героизме русского офицера и солдата.

Она думала: «Тут не один случайно убившийся матрос — несчастный случай. Воля Божья, тут предумышленное убийство, массовое избиение ближнего».

Было страшно. Ночью вдруг проснется Вера и долго лежит, устремив глаза в угол, где перед образом Казанской Божией Матери в синем стекле мигает лампада, затепленная горничной.

¹ Никогда нельзя уничтожить совсем последствий войны (*фр.*).

Сама Вера уже не возжигала лампы — она была выше этого. Крошечное семя сомнения, неверия, материализма, посеянное в ее сердце князем Болотневым и теми книгами, которые она читала, разрасталось громадным деревом.

Вера смотрела в сумрак спальни на игру теней на золотом окладе и Лике Пречистой и думала.

Война не допустима с христианской точки зрения, не допустима и с точки зрения социализма, зовущего к общему миру, свободе, равенству и братству.

Вера читала Достоевского и слышала, как про него говорили: «Пророк... провидец... знаток человеческой души... сам много перестрадал и знает до дна душу русского человека...» Вера знала биографию Достоевского, слышала о деле петрашевцев, о том, как замешанный в это дело Достоевский был приговорен к смертной казни и прощен уже на эшафоте. Знала, что он отбывал каторжные работы в Сибири. Она читала «Записки из мертвого дома» и, читая, сознавала, что человек, так много переживший и повидавший, может знать больше других людей.

Вере казалось, что Достоевский должен непременно осудить войну, что он должен быть единомышленником с теми студентами и курсистками, которые митинговали на Казанской площади, что он, так много сам пострадавший, должен всею душою понять, что такое война, и что он укрепит все то, что продумала Вера в долгие молодые бессонные ночи, когда так мучительны думы и так хочется на кого-нибудь опереться, кем-нибудь подтвердить продуманное и выношенное.

Но перед Верой встал сейчас же вопрос: как пойдет она к совершенно незнакомому, «непредставленному ей» человеку? Как пойдет к чужому мужчине она — девушка? После долгих размышлений она пришла к выводу, что писатель, которого она столько раз читала и перечитывала, стал для нее как бы знакомым, что она все это объяснит, что он человек немолодой, поймет и не осудит ее. Вера думала: «А если бы она была курсисткой? Перовская, наверное, пошла бы». Колебания и сомнения продолжались долго, наконец Вера решилась.

Было то предвесеннее время в Петербурге, когда основной лед на Неве уже прошел, снег лежит только по окраинам, где его не сгребали и не вывозили, а в центре гремят железными шинами колеса дрожек по обнаженной мостовой, звенят ручки стекающей по трубам в кадки воды с крыш, уже местами обнаженных от снега, когда у водопойных колод особенно ароматно пахнет растоптанным лошадыми сеном и громко воркуют голу-

би, а извозчицьи лошади стоят в блестящих завитках еще зимней шерсти и мотают головами с навешанными на них торбами, разбрасывая овес, точно чтобы нарочно дать подкормиться голубям и звонко кричащим воробьям, когда на деревьях садов и скверов уже нет инея, но ветви набухли внутренними соками и нет-нет проглянет сквозь легкие тучи клочок голубого неба и ярко заблестит на мокрой мостовой солнце — и станет тогда все по-весеннему радостно.

Вера шла, бойко постукивая каблуками, направляясь по Владимирскому проспекту в Кузнечный переулок к Достоевскому. Она поднялась на четвертый этаж скучного и темного «доходного» дома и позвонила в колокольчик на пружине.

За дверью послышался тяжелый кашель, звякнул откладываемый крюк, и дверь медленно открылась. Отворил ее сам писатель.

— Простите, Федор Михайлович, — сказала робко Вера, — могу я попросить у вас несколько минут времени?

— По делам редакции? — стоя в дверях, сказал Достоевский.

— Нет... по личному, очень важному делу.

Достоевский внимательно из сумрака прихожей взгляделся в смущенное, порозовевшее лицо Веры, окинул взглядом ее скромный, но дорогой костюм, попятился назад и, приглашая рукою войти, сказал:

— Тогда пожалуйста ко мне в кабинет.

Несмотря на то что день был светлый, солнечный, в кабинете Федора Михайловича было сумрачно. Единственное окно с двойными рамами, выходившее на тенистый петербургский двор, было мутно и запылено. Между рамами, в вате с пестрыми шерстинками, были вдвинуты стаканчики с ржавой водой. Большой стол стоял боком к окну. Он был завален рукописями и длинными полосами корректурных гранок. На полу лежали перевязанные веревками высокие стопки книг «Дневника писателя». Против стола был книжный шкаф, два кресла и широкий диван, обитый потертым коричневым репсом. На круглом столе подле дивана был графин с водой и два граненых стакана. Керосиновая лампа под зеленым картонным абажуром стояла на письменном столе. Все это мелькнуло, как в тумане, перед глазами смущенной Веры, но запомнилось навсегда.

Писательская бедность, большой тяжелый одинокий труд, борьба с врагами, завистниками и ненавистниками, временами, вероятно, томящая усталость и мучительная болезнь, казалось, смотрели из этой скромной обстановки.



— Я к вашим услугам, сударыня,— сказал Достоевский, подвинув кресло Вере, и сам тяжело опустился в широкое кресло у письменного стола.

Вера молча смотрела на сухое, изможденное лицо писателя. Из-под низко лежащих над глазными впадинами тонких прямых бровей сосредоточенно и умно глядели темные, ушедшие в себя глаза. Они напомнили Вере другие глаза. Вот так же пристально, бывало, смотрел на нее духовник в институте, когда, трепетная и верующая, смущенная и пристыженная, стояла она за ширмами, на клиросе, и готовилась каяться в своих детских грехах. Федор Михайлович не духовник, не священник, святости сана нет на нем, и Вера пришла к нему не с грехами и покаянием, но с вопросами и сомнениями.

— Так в чем же дело? Садитесь, пожалуйста,— повторил Достоевский.— Я вас слушаю.

— Простите, пожалуйста,— сказала Вера и замолчала.

В кабинете было жарко, и Вера расстегнула кофточку и сняла с шеи шарфик. Потом решила и начала говорить то, что давно в бессонные ночи придумала сказать:

— Это очень бесцеремонно и не умно с моей стороны. Вы же меня совсем не знаете... Но мне так трудно все эти дни. Все это время я боролась с собою... У меня столько сомнений... Мои дядя и троюродный брат уехали на войну... Кругом люди едут на войну... Но ведь война — это ужас! Война — это умышленное убийство! — с отчаянием почти прокричала Вера.— И как совместить это с правдой, о которой вы так много и так сильно писали... Я ищу и хочу знать эту правду. И я слышала, что и народ русский ищет и верит в правду. Как же поймет народ войну? Как, что скажет он, когда гонят его на войну...

— Он идет на войну,— тихо вставил в страстную речь Веры Достоевский.

— Идет,— как бы не веря своим ушам, повторила Вера.— Идет... Но разве он понимает, зачем он идет?.. Убивать!.. Славяне... Славянский вопрос? Доступно это его пониманию? Я понимаю, мой дядя, он это знает — он это изучал... Но народ?.. Они, мужики то есть, они, я знаю, и газет не читают...

— Да, конечно,— серьезно и вдумчиво начал Достоевский,— про славян и славянский вопрос народ наш в массе своей ничего не знает. Может быть, один кто-нибудь на много сотен тысяч деревенский грамотей или побывавший в городе человек слышал, что есть там какие-то сербы, черногорцы, болгары, единоверцы наши... Но весь народ-то наш, почти весь, или в чрезвычайном большинстве, слышал и знает, что есть православные

христиане под игом Магометовым, что они страдают и мучаются... Что самые святые для нас, христиан, места — Иерусалим, Афон — принадлежат иноверцам. Ведь столько паломников ежегодно со всей Святой Руси идет поклониться Гробу Господню. Ну и приносят оттуда вести о том, как мучительно тяжело там православным... Вот эти-то самые муки от иноверцев, эта несправедливость, эта неправда и известна народу... Вот почему так охотно жертвуют все — и простые и знатные — на добровольцев.

— Да... Добровольцы... Это другое... Но вы знаете, что война уже объявлена...

— Конечно, знаю... Но ведь это, сударыня, война, еще не слыханная никогда... Да было ли когда-нибудь, чтобы война начиналась не для того, чтобы отнять жизнь и свободу, поработить народ, а, напротив, — за слабых и угнетенных, для того, чтобы им дать и жизнь и свободу. Эта неслыханная в мире цель войны для верующих в Христа утвердила веру в них... а для холодной, материалистической Европы явилась большим соблазном. И Европа нам не поверила. Она возмутилась, назвала нашу войну коварством... И испугалась... И пугает Европу не то, что война может усилить Россию, но то, что Россия способна на такое благородство, на какое Европа не способна. Предпринимать что-нибудь не для прямой своей выгоды материалистической Европе кажется столь непривычным, столь вышедшим из международных обычаев, что поступок России принимается Европой как варварство отставшей, зверской и непросвещенной нации, способной на низость и глупость затеять в наш век что-то вроде прежде бывших в темные века крестовых походов. Так перевернулись понятия, что Европе это кажется безнравственным и угрожающим ее будто бы великой цивилизации.

— Это говорите вы, Федор Михайлович, и я вас понимаю вполне, но как поймет все это народ?

— Характерной чертой русского народа является искание правды и беспокойство о ней... С этого, кажется, мы и начали нашу беседу с вами. И наш народ теперь именно и обеспокоен нравственно. Обеспокоен судьбою тех несчастных, кто страдает от турок.

— Да, — тихо сказала Вера... — Все это ясно... Но как совместить это с тем, что сказано: «не убий»?.. Там насилие. На него ответить насилием еще большим!.. Вот где, мне кажется, лежит зло войны. Война — это страшный бич.

— Не всегда война бич!.. Иногда война — спасение.

— Как же это может быть?..

— Все зависит от цели войны. В нынешнем случае — какая великодушная цель! Освобождение угнетенных!.. Идея войны бескорыстна и свята!

— Ужас!..

— Да, верно — ужас... Но и гроза — ужас. Валит деревья, молнией сжигает дома... Но и очищает воздух. Эта война тоже очистит воздух от скопившихся миазмов. Она излечит наши души, прогонит позорную трусость и лень. Эта война укрепит слабых сознанием нашего самопожертвования. Дух всего русского народа, а с ним и освобожденного славянства подымется и воспарит от сознания солидарности и общего единения, составляющих то, что мы называем нацией!.. Ведь, сударыня, нет ничего выше сознания исполненного долга!.. А когда притом долг в хорошем, святом деле — что выше и лучше этого?!

Не того ожидала Вера от писателя Достоевского, «пророка», «провидца», «читавшего в душах людей», самого так много пострадавшего. Она встала и сказала, протягивая руку:

— Благодарю вас... И простите, что беспокоила вас и отняла ваше время... Вас, верно, часто так беспокоят... Прощайте.

Достоевский провожал Веру. Он отложил тяжелый, тугой крюк входной двери. Когда Вера уже была на лестнице, пронизанной золотыми лучами солнца, игравшими перламутровыми пылинками, Достоевский вышел за Верой на площадку и, ослепленный солнцем, сказал глубоко, сильно и проникновенно:

— Помните слова Христа: «Больше сея любви никто же имеет, да кто душу свою положит за други своя...». Тут — это... В полной мере-с... В полной-с!..

Вера остановилась. Она одной рукой держалась за перила лестницы и повернулась лицом к писателю. Серебром горели волосы, тонкая бородка шевелилась на груди. Глаза смотрели остро и строго... «Пророк», — подумала Вера.

— Выходит, — с вызовом, гордо вскинув голову, сказала Вера, — жить по Евангелию?..

— Как же иначе-то!.. — твердо сказал Достоевский. — Иного пути нет-с!.. На нем истина!..

Он попятился назад, скрылся в тень. Медленно, шурша клеенкой по каменным плитам, замкнулась дверь. Было слышно, как крепко щелкнул закладываемый крюк.

Точно отгораживался писатель от сумасбродной девицы.





Часть вторая

I

Порфирий ехал в действующую армию. Так его и провожали — на войну!.. Графиня Лиля служила в часовне Христа Спасителя на Петербургской стороне напутственный молебен. Даже скептически смотревший на войну отец благословил Порфирия образом, а приехал Порфирий в Кишинев и никакой войны, никакой действующей армии не нашел.

Был март. Стоял мороз, и была колоть. Небо было синее и солнце по-южному яркое, но не греющее. Ледяной ветер шумел в высоких голых деревьях бульвара. Мороз хватал за нос и за уши. Фаэтон то катился по накатанной колее, то погромыхивал и покряхтывал на замерзших колеях недавно здесь бывшей ужасающей грязи. Со двора казарм Житомирского полка неслись крики команд.

— К церемониальному маршу... поротно, на двухвзводные дистанции...

Полк готовился не к войне, но к параду. Люди, несмотря на мороз, в черных мундирах и скатках, в кепи, топтались, покачиваясь «на месте». Блистали на солнце трехгранные штыки тяжелых ружей Крика, взятых отвесно «на плечо». Молодой офицер, стоя лицом к роте и отбивая носками шаг, кричал звонким голосом:

— Тринадцатая р-р-рота-та... Пр-ря-а-а...

Офицер так долго тянул команду, что Порфирий успел проехать казарму, и уже вдогонку ему донесся мерный хруст ног и веселые звуки марша «Радецкого».

«Пожалуй, и правда,— подумал Порфирий,— «туда и обратно»... Медали такие... Шутники петербургские!.. Сербам прика-

жут сидеть смирно, а нас всех вернуть обратно. Вот и все, в угоду масонам Англии и Австрии».

Торжественное настроение, бывшее в пути по железной дороге,— ехал на войну полковник генерального штаба — начинало падать.

В гостинице свободных номеров не оказалось. Гостиница была занята под штаб, и расторопный писарь, со светлыми пуговицами и алым воротником на черном мундире, с писарскою вежливостью просил Порфирия «пожаловать» в штабную комнату, где помещаются все «господа».

В штабной Порфирий застал обычный кавардак военного постоя и много знакомых. Гарновский заключил Порфирия в объятия, маленький, худощавый, стройный Паренсов, приятель по недавним варшавским маневрам, крепко сжал руку Порфирия и, глядя в глаза добрыми серыми глазами, спросил:

— А письма от жены и дочери привезли?..

— Привез, привез, Петр Дмитриевич,— сказал Порфирий.

Высокий капитан генерального штаба Лоренц — так представил его Порфирию Гарновский, собрался было застегнуть расстегнутый мундир, да раздумал. Большой и толстый незнакомый полковник, разводящий на блюдечке кармин и синюю прусскую, отложил в сторону кисточку и внимательно посмотрел на приезжего.

— Неужели не встречались?.. Я, кажется, вас знаю. Ну, конечно, встречались... Вы — Разгильдяев, я — Сахановский... Помните, лет пять тому назад мы с вами колышки вбивали на военном поле под Красным Селом для жалонеров и линейных.

— Да, позвольте... Вы тогда были...

— Худой и стройный... Да... да... Видите, как развезло... Чистый бор,— засмеялся толстяк.— И ничем не остановишь. Не знаю, как и на лошадь взбираться буду.

Сизые струи табачного дыма носились в воздухе. Кроме двух гостиничных постелей стояли еще две походные койки. Посредине комнаты были сдвинуты ломберные столы, и на них разложены карты. По картам розовыми и голубыми красками намечались какие-то районы. Тут же стояли граненые стаканы с чаем, лежали трубки, краски, кисти. В плохо проветренной комнате пахло ночлегом, табаком, сапогами,— пахло солдатом.

Вопрос о помещении для Порфирия разрешался просто.

— Ставь свою койку сюда! — кричал Гарновский. — Денщика твоего на довольствие зачислим, и живи... Паренсов завтра уезжает в командировку в Румынию, занимай его место.

— Но позвольте, господа, скажите мне... Все-таки?.. — Порфирий одним глазом заглянул на карты. — Где сосредотачивается Дунайская армия?..

— Секрет, — сказал Гарновский.

И сейчас же по всем углам комнаты бывшие здесь колонновожатые закричали:

— Секрет! Секрет!!! Секрет!!!

— Ты Левицкого, Казимира, знаешь?..

— С бородой лопатой, под кронпринца Фридриха?!

— Ну да, Казимира Васильевича... Мы его «воно» прозвали.

— Ну, видал... В Главном штабе...

— Так вот — его о чем ни спроси — «воно» отвечает: «секрет»... А он генерал-квартирмейстер армии и заместитель Непокойчицкого, который с Великим князем находится в Одессе.

— Но я вижу, вы тут расчерчиваете какие-то квартирные районы.

— А помнишь, когда мы были в академии. Зейферт нас заставлял штрихи тянуть, модели срисовывать... Чтобы занять нас... Нервы после экзаменов успокоить. Вот и здесь Казимир придумал: раздаст нам расчертить районы расположения частей корпуса Радецкого. Мы расчертим...

Говорившего Гарновского перебил Сахановский:

— А «воно» придет и говорит: «Я, знаете, ночь не спал, все передумал. Передвиньте-ка квартирный район на двадцать верст к востоку в том же направлении».

— Но, однако... Где же будем переправляться через Дунай?..

— Секрет!..

— Секрет!..

— Секрет!.. секрет!.. секрет!..

— Да я сам понимаю, что секрет, да не от нас же, кто должен эту переправу подготовить.

— Секрет!.. секрет!.. секрет!..

— А вы спросите жидочков от компании Грегера и Горвица — так они все вам скажут. Вся Румыния полна ими, — сказал капитан Лоренц.

— Ну, хорошо... но война-то, наконец, будет или нет?.. Вот в Петербурге говорят, что мы обратно поедem. Там и медаль такую придумали на Станиславской ленте с надписью «туда и обратно».

— Остряки,— сказал Сахановский,— они готовы надо всем смеяться.

— Война, конечно, будет,— серьезно сказал Паренсов.— Как же можно отменить войну? Мобилизация произведена. Сколько десятков тысяч казаков поднято. Они должны были собраться, коней купить — чистое разорение. Их жены пошли батрачками служить. Как же вернуть их домой без подвига, без славы, без награды, без какой-то там добычи? Засмеют дома. Смута по стране пойдет. Чего вернулись? Турок испугались... Чего не бывало никогда... Вам с бабами воевать! Государь все это, конечно, учитывает... Но вот так прямо объявить войну — ему что-то или кто-то мешает...

— Ох уж эта иностранная — весьма странная политика,— проворчал Порфирий.— Что же я тут буду делать?..

— А то же самое, что делаем и мы. Чертить районы, сегодня одни, завтра другие.

— Побудешь, милый мой, в «диспонибельных», как и мы.

— Просись у «паши» в начальники штаба. Дивизия собрана, а штаба еще нет.

— И какая дивизия, подумай!..

— Дикая!..

— Гулевая!! Только война начнется — пойдет в самую глубь Турции гулять по тылам...

— Какие полки!.. Один Терск-Горский конно-иррегулярный чего стоит!.. Ингуши и осетины, никогда никакому военному строю не обучавшиеся. Почище баши-бузуков будут.

— Эти, брат, рэзать будут — ай-люли малина!.. Только держись.

— И кто командует-то,— сказал Паренсов.— Скобелев, слышал?..

— Как, разве Скобелев приехал из Ферганской области? Когда я уезжал из Петербурга, я только слышал, говорили, что он просится в действующую армию.

— Да не тот Скобелев, а паша!.. Отец того, знаменитого, что халатников бил. Генерал-лейтенант Дмитрий Иванович. Вот сегодня здесь ему штаб обед устраивает. Увидишь его и просись, не прогадаешь,— сказал Гарновский.

— Ну что, господа,— сказал Паренсов,— человек прямо с поезда. Затуркали совсем Порфирия Афиногеновича. Вы вот что, устраивайтесь на моем месте. Вот вам и койка.

— Гей, люди!..— басом крикнул Сахановский.— Тащите, черти, чаю полковнику, вещи его тащите сюда. Устраивайтесь, полковник, в тесноте, да не в обиде!..

Генерал Дмитрий Иванович Скобелев и точно походил на пашу. Меткое слово товарищей прилипло к нему. Высокий, коренастый, тучный, с крутым ясным лбом, почти лысый, лишь по вискам и на затылке вились седые, темно-серые волосы, с длинными, густыми бакенбардами, висящими вниз, и с красивыми пушистыми усами, он был старчески медлителен, благостен и не без легкой насмешки над собою. Из-под прямых, темных, густых бровей ясно, остро, спокойно и добродушно смотрели серые глаза. Он носил черную с серебряными газырями черкеску, обшитую вдоль ворота каракулем. Свитские аксельбанты висели из-под серебряного погона.

Музыканты встретили генерала маршем, офицеры столпились у входа в столовую. Скобелев остановился в дверях и, широко улыбаясь, поклонился на все стороны.

«Настоящий паша», — подумал Порфирий. — Но какой толстый и старый... Ему за шестьдесят, должно быть... Как будет он по тылам ходить и баши-бузуков резать?»

Офицеры окружили Скобелева и повели его к закусочному столу.

— Ваше превосходительство, какой прикажете?.. Смирновской, полынной, зубровки или рябиновой?..

— Наливайте, пожалуй, зубровки, только, чур, немного. Свое-мое давно пито и выпито. Ничего мне больше не осталось.

— Груздочки хорошие!..

— Или почки?..

— Баклажаны румынские!..

— Ваше превосходительство, а что, правда это, что ваш сын Михаил Дмитриевич сюда едет?..

Генерал точно поперхнулся водкой. Казалось, воспоминание о сыне ему было неприятно.

— А... ыммм... Весьма возможно, что и едет... С него станет. Седые, кустистые брови нахмурились, сдвинулись к переносице. На переносице легла складка. Глаза блеснули.

— У Михаила Дмитриевича, сынка вашего, — сказал высокий полковник в сидящих бакенбардах, — тоже, как у вашего превосходительства, есть и Георгиевский крест?

— Ыммм, мало чего у него нет, — ворчливо сказал Скобелев и пошел к столу. — Есть у него и Георгиевский крест.

— У Михаила Дмитриевича, — начал было Гарновский, но Скобелев сердито перебил его:

— Что вы все пристали ко мне... Михаил Дмитриевич... У Михаила Дмитриевича... Оставьте, пожалуйста... Никакого такого Михаила Дмитриевича я не знаю, да и знать, государи мои, не желаю.

Темные брови разошлись. Складка на переносице исчезла. В глазах загорелись счастливые, довольные огни.

— Для вас и точно есть там какой-то Михаил Дмитриевич... Свиты Его Величества генерал. Ферганской области военный губернатор... Ну а для меня,— тут лицо окончательно расплылось в широкую улыбку,— для меня есть просто — Мишка!.. Мишка, который у меня денег безудержно требует... Вот и все, государи мои.

Сидевший рядом со Скобелевым армейский казачий полковник с цифрой «30» на погонах, Давыд Иванович Орлов, командир Донского полка Гулевой дивизии, сказал Скобелеву:

— Расскажи, ваше превосходительство, как ты под Баш-Кадыкларом турецкие пушки брал...

— Слушайте, судари, Давыд Орлов дело напомнил. И кстати. Вы вот ко мне с Михаилом Дмитриевичем лезли. Крест у него Георгиевский... Так у Мишки моего крест за дело! Он там текинцев бил, города брал, целые области Государю Императору завоевал. А у меня крест и вовсе ни за что.

— Ну, полноте, что вы, ваше превосходительство,— сказал Гарновский.— Мы знаем — за взятие турецкой батареи.

— Вот и неверно... Не я взял батарею, а казаки ее взяли.

За столом притихли. Половые гостиницы и вестовые солдаты в белых рубашках, стараясь тихо ходить, обносили обедающих жареной индейкой. «Скрип-скрип», — поскрипывали их сапоги, и запах жареной птицы смешивался с дегтярным запахом солдатских сапог.

— Так-то оно, судари. Был я в минувшую турецкую войну молодым флигель-адъютантом. Вот как и Мишка мой. Командовал я в ту пору сводным казачьим полком. Во время сражения под Баш-Кадыкларом стояли мы, как и полагается коннице, на фланге. Жарища была страшная. Там где-то бой идет пехотный, нас это не касается. Слез я с лошади, присел на камень и о чем-то задумался. Вдруг вижу, всполошились мои казачки, скачут куда-то мимо меня. Я им кричу: «Куда вы?.. Постой!», а один казачишка попридержал коня и кричит мне: «За постой, барин, деньги берут...» Сел я на коня и помчался догонять сорванцов. Гляжу, а они лупят прямо на турецкую батарею... Ну и я тогда припустил пошибче, кричу казакам: «Ребя-

та! Дарю вам эту батарею!» — ведь так, кажется, настоящие-то Бонапарты делывали, а урядник мне и отвечает: «Не беспокойтесь, батюшка Дмитрий Иванович, Георгия вам заработаем...» Вот, судари мои, как дела-то на войне делаются. Они взяли батарею, а мне дали Георгия...

— Ну, полноте, ваше превосходительство,— сказал Гарновский.

Скобелев повернулся к Орлову и негромко сказал:

— Да вот, Давыд... Мишка!.. Это беда такого сына иметь... На прошлом Георгиевском празднике Государь Батюшка и скажи мне: «Ты — сын и отец знаменитых Скобелевых»... А?! Знаю — ненароком сказал... Царь Батюшка меня любит... Он того и в мыслях не имел, чтобы задеть или обидеть меня... Ну а питерские-то завистники подхватили и понесли. Сын и отец!.. А?! А сам-то?.. Что же, понимаю — каждому свое.

Когда Скобелев уезжал, было темно. Тускло горели редкие керосиновые фонари. Офицеры вышли провожать гостя. Скобелев долго усаживался в высокую бричку рядом с Орловым, укручивался башлыком, бранился с кучером — тоже Мишкой.

— Ты, Мишка, черт, дьявол, смотри, осторожней по этим колдобинам... Не вывали.

Бричка загромыхла по замерзшей мостовой, и до Порфирия донесся сердитый голос старого Скобелева:

— Шагом!.. Черт!.. Дьявол!.. Тебе говорят — шагом!..

«Да,— подумал Порфирий,— куда ему с Дикой дивизией по турецким тылам гулять, башибузуков резать... Печь да завалинка — удел стариков... Состарился паша...»

Порфирий так и не собрался с духом проситься к Скобелеву в начальники штаба....

III

Через несколько томительных, скучных дней, проведенных Порфирием то в расчерчивании никому не нужных карт, то за ломберным столом,— играли в винт и в безик, а иногда, подзуженные толстым Сахановским: «Ма-ка-аш-ку, господа, зложим»,— кто-нибудь держал банк, играли в макао, играли скромненько, ставки были небольшие — и горки пестрых ассигнаций перекачывали из одного кармана в другой,— 19 марта, неожиданно, прямо с поезда для осмотра войск, расположенных в Бессарабии и в Кишиневе, прибыл Великий князь Нико-

лай Николаевич Старший с сыном и с начальником штаба генералом Непокойчицким и расположился в губернаторском доме. И еще прошло три дня какого-то томительного тихого ожидания, когда 22 марта поутру по приказу Великого князя на городской гауптвахте барабанщик ударил тревогу, вестовые казаки поскакали по казармам и весь город наполнился военным шумом спешащих на сборное место полков.

Сразу все переменялось. Куда девались скука и сплин. Точно сквозь серые тучи непогожего, дождливого и сумрачного дня проглянуло солнце. Все лица повеселели. Сомнения и опасения, что ничего не выйдет, исчезли. Не напрасны были труды, расходы и лишения. Будет, будет война!..

Все подтянулись, стали озабоченными и бодрыми. О том, что придется идти обратно, и речи больше не было. Ждали Государя. «Приедет и сам объявит войну!..»

Император Александр II прибыл в Кишинев вечером 11 апреля.

В окнах домов горели свечи, вдоль тротуаров чадно дымили и полыхали желтым пламенем плошки. Тихо реяли между позеленевших раин флаги. Народ толпился по улицам. В городских церквях шел пасхальный перезвон. Восторженное народное «ура» несло за Государевой коляской. На 12 апреля был назначен Высочайший смотр войскам, собранным в Кишиневе на скаковом поле.

Утро 12-го было хмурое и прохладное. Серо-фиолетовое небо висело над городом. Солнце не показывалось. Тихая печаль спустилась на землю.

Государь, в мундире с вензелями своего отца на погонах, утром подошел к окну и смотрел на непривычный вид южного степного молдаванского города. Широкая улица в тополях уходила вдаль. У подъезда губернаторского дома стояли коляски.

Государь посмотрел на часы.

— Его Высочество готов? — спросил он у стоявшего сзади дежурного флигель-адъютанта.

— Их Высочества Государь Наследник Цесаревич и Великий князь Главнокомандующий ожидают Ваше Императорское Величество внизу.

Государь еще раз взглянул на часы. Медленно, будто колеблясь, взял со стола белые замшевые перчатки и каску с серебряным свитским орлом, тяжело вздохнул, поднял прекрасные большие глаза к небу, перекрестился и пошел к лестнице, устланной ковром.

У Кишиневского собора, на высокой паперти Государя ожидал в полном облачении епископ Кишиневский и Хотинский преосвященный Павел.

Во вдруг наставшей после криков «ура» тишине были слышны бряцание шпор, стук шагов и звяканье сабель поднимавшейся за Государем на паперть свиты. Потом и эти звуки затихли, и в тишину прохладного весеннего утра вошли слова преосвященного:

— Благочестивейший Государь! Один Ты с верным Твоим народом возлюбил попираемые пятою ислама христианские народы не словом только или языком, но делом и истиною.

Порфирий стоял сзади владыки и думал: «Один Ты... вся Европа молчала... Вся Европа противоборствовала, мешала, спокойно и равнодушно взирая на избиения и муки славян. Наш Государь не говорил, не убеждал, но пошел — делом и истиною». Порфирий набожно перекрестился.

— Ты грядешь к нам для того, — продолжал владыка, — чтобы повелеть Твоим войскам, если не всецело сокрушить... («Отчего бы и нет?» — подумал Порфирий), то сокрушительно потрясти в самых основаниях врата адовы, именующие себя Высокою и Блистательною Портою...

«Да, конечно, — думал Порфирий, — конечно, война...» Его сердце часто забилося, и некоторое время он не мог слышать, что говорил владыка Павел.

— Под осенением небесных и земных благословений войска Твои, предводимые своим доблестным, беспредельно, восторженно любимым, тезоименным победе Вождем, Августейшим Братом Твоим, — неслось с высоты паперти, — да порадуют Тебя своими бранными подвигами и славными победами, как доселе, конечно, радовали Тебя превосходным воинским духом, порядком и благочестием, и в своем победном шествии да прейдут и тот предел, до которого в начале своего царствования дошел славный Ваш родитель, Император Николай, предписавший Порте мир в Адрианополе. От блеска подвигов и побед Твоих войск да померкнет луна и да воссияет, как солнце, Христов Крест! Аминь.

«Константинополь», — с восторгом думал Порфирий, осторожно и незаметно пробираясь за спинами певчих к наемному фаэтону, чтобы поспеть до Государя приехать на скаковое поле. Вслед ему неслось торжественное красивое пение архиерейского хора: «Исполла эти дэспота».

Звенели дисканты, густо, октавой гудели басы.

Лихой кубанский казак в развевающейся черкеске, с трепещущим за спиной алым башлыком, пролетел мимо генерала Драгомирова, не в силах сдержать занесшего его коня, и на скаку прокричал:

— Его Императорское Величество изволят ех-ха-ать!

— Ж-жал-лонер-ры на свои места! — профессорским баском пропел Драгомиров.

Над темными рядами солдат в мундирах вспыхнули пестрыми бабочками алые, синие, белые, зеленые и пестрые флажки и разбежались по полкам, исчезнув за ротами.

На разные голоса раздались команды: «Равняйся... Смирнов» и опять: «Равняйся...»

Все казалось, что кто-то выдался вперед, кто-то осадил, кто-то «завалил плечо»...

По широкой дороге, обсаженной раинами, вилась пыль. Звон бубенцов становился слышнее. С ним шло, приближаясь, народное «ура». Точно только этого и ожидала природа. Вдруг разорвались поднявшиеся к небу туманы, в серых тучах — голубой просвет, солнце брызнуло золотыми лучами, заиграло алмазами на остриях штыков, озарило алые, синие и белые околыши кепи, погоны, пуговицы, стальные бляхи ремней, медные котелки.

Кавалерия села на лошадей. Пестрые двухцветные уланские и трехцветные гусарские флюгера заиграли на пиках.

— Па-рад! Смир-р-рно!.. На плечо! По полкам шай на краул!

— Вол-лын-ский полк,— громко, распевно и радостно командовал командир полка полковник Родинов.— Шай!

Он выждал момент, когда Государь, выйдя из коляски, сел на лошадь и поднял ее в галоп, и тогда закончил:

— На кр-раул!

Тяжелые ружья взметнулись вверх и заслонили свежими кожаными погонными ремнями brave лица солдат. В тот же миг на правом фланге парада трубачи Конвойного эскадрона затрубили гвардейский поход. С резкими звуками труб слился грохот барабанов и отрывистые звуки горнов. Волынцы забили армейский поход.

Искусный наездник, Государь мягко сдержал лошадь и перевел ее на шаг.

— Здог'ово, волынцы! — бодро приветствовал Государь первый полк.

— Здравия желаем, Ваше Императорское Величество-о!! — с ударением на «о» ответили волынцы, грянул гимн, и понеслось раскатистое, дружное, не народное, но солдатское лихое «ура»...

Государь ехал вдоль фронта. Ни он, ни генерал Драгомиров, ни командир полка, ни батальонные, ни ротные, ни фельдфебеля, из-за рот высматривавшие Государя, как и вообще никто из военных не думал в эту минуту, что это парад перед войною, перед смертью, перед ранениями, перед всеми ужасами войны, но одни совсем бездумно, другие в восторженном ожидании грядущей победы, — победы несомненной, кричали «ура», сами поражаясь мощи своего крика.

Минцы взяли на караул, за ними подольцы и житомирцы, потом 7-й саперный батальон. Звуки гимнов, играемых четырьмя полковыми оркестрами, сливались вместе, их глушило все нараставшее, ставшее оглушающим «ура» шестнадцати тысяч солдатской массы.

За саперами стояли в густых колоннах два батальона солдат в черных бушлатах с алыми погонами и в круглых бараньих шапках с зеленым верхом. У них были легкие французские ружья Шаспо. На примкнутых саблях-штыках ярко блистало солнце.

Государь задержал лошадь и протянул руку заехавшему к нему с фланга генералу.

— Здг'аствуй, Столетов... Вижу... Молодцами... — и, обернувшись к батальонам, Государь поздоровался: — Здог'ово, болгар'ы!

И под раскатистый ответ болгарского ополчения Государь спросил Столетова:

— На чей счет так пг'екг'асно одел?

— На счет наших славянских благотворительных комитетов, Ваше Императорское Величество. Но многие явились в собственной одежде.

— Вижу... вижу... Стаг'ые вояки.

В рядах были видны старики с седыми усами и бакенбардами, и с ними рядом стояла юная, зеленая молодежь. Деды, не раз сражавшиеся в повстанческих боях с башибузуками, и вчерашние гимназисты, их внуки, покинувшие учение, чтобы постоять за Родину. Черные масляные глаза болгар с восторгом смотрели на «Царя Александра», гремело восторженнейшее «ура», и ружья колыхались от ликования.

Государь заехал за пехоту. Серебряные трубы «за Севастополь» 14-й артиллерийской бригады поднялись и заиграли «поход»...

А потом за артиллерией с ее легкими и батарейными пушками показались рыжие кони рижских драгун, гнедые чугуевских улан и вороные изюмских гусар и пестрые флюгера пик. Государь медленно проезжал вдоль рядов 11-й кавалерийской дивизии и приближался к фронту конных батарей — 18-й донской и 4-й казачьей.

Авангард Русской армии представился Государю блестяще. Государь слез с лошади. Полки стояли «смирно», держа ружья у ноги. От скакового павильона к середине фронта чинно подходило духовенство, имея во главе епископа Павла. На затишшем поле резко раздались звуки двух труб конвойных трубачей, певуче проигравших сигнал «на молитву». Пехотные музыканты повторили сигнал. Мягко улегся, успокаиваясь, рокот барабанов.

— Полки! На молитву... Шапки долой!

Солдатские ряды колыхнулись и замерли. Стало так напряженно тихо, что казалось — самое время остановилось в своем полете.

Дежурный генерал-адъютант подошел к владыке Павлу и подал запечатанный конверт.

Такая тишина стала по всему полю, что слышен был шорох взрезаемой бумаги, и, когда кто-то в солдатских рядах негромко вздохнул, все на него обернулись.

И вот раздалось то, что так напряженно ожидалось:

— «Божиею Милостью, Мы, Государь Император Всероссийский, Царь Польский...» — ясно и четко читал владыка слова Высочайшего манифеста об объявлении Турции войны.

Как только владыка дочитал последние слова манифеста, певчие звонко и радостно запели:

— Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав...

Часто закрестились солдаты, этим движением смирая напряженность момента, достигнувшую такой силы, что дальше уже нельзя было выдержать.

После троекратного «Христос воскресе» певчие начинали тихо, умиленно, а потом все громче и дерзостнее, с вызовом петь:

— С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!

Когда последний вызов к небу и ко всему миру — «яко с нами Бог» затих, начался молебен. В конце его протодиакон возгласил:

— Паки и паки преклоньше колена миром Господу помолимся.

Государь обернулся к войскам и громко скомандовал:

— Батальоны! На колени!

Солдатская масса с шорохом преклонила колени. Виднее стали артиллерийские запряжки и стоящие подле лошадей на коленях люди. Над обнаженными головами на флангах полков тихо реяли парчовые и шелковые знамена. Легкий ветер набежит на поле, развернет, заиграет пестрыми флачками жалонеров, флюгерами пик и упадет, и они прильнут к штыкам и древкам.

Когда подходили к кресту и позади Великого князя шел генерал Драгомиров, владыка Павел передал крест священнику, а сам принял от служки икону Божьей Матери и, осеняя ставшего на колено Драгомирова, громко сказал:

— Христолюбивый вождь пребывавшего в пределах нашей области воинства, благословляю тебя и всех твоих сподвижников святою Гербовецкою иконой Взбранной Воеводы, Царицы Небесной, покровительницы града и страны нашей, поручаю всех могущественному покровительству Ее и молю и буду молить Ее, да ведет Она вас от подвига к подвигу, от победы к победе... Да возвратит вас Господь к нам целыми и невредимыми, увенчанными лаврами...

Произошло некоторое замешательство. Духовенство отходило с поля и разоблачалось, генерал Драгомиров не знал, куда девать икону. Государь сажился на коня. Драгомирову подали его сытую гнедую лошадь. Но это продолжалось одно мгновение — адъютант принял от генерала икону, передал ее полевому жандарму, и тот благоговейно понес ее к драгомировской коляске, стоявшей за скаковым павильоном.

Генерал сел на коня и вынул саблю из ножен.

— Ж-жал-лон-неры на линию-ю!

Вот он, тот радостный момент для южного жалонерного офицера, когда может он лихо проскакать мимо Государя, мимо войск и народной толпы и в мгновение ока точно провести прямую линию. Бегут за ним жалонеры с флачками, стали с поднятыми ружьями, еще миг один — и ружья у ноги, — провешена ровная линия церемониального марша.

Полки проходили густыми батальонными колоннами «ружья вольно», артиллерия пополюбатарейно, кавалерия поэскадронно шагом. Государь не подавал, как обычно, сигналов «рысь» или «галоп». Точно хотел он еще раз внимательно и тщательно осмотреть каждого офицера и солдата. Гремели и гремели полковые марши, отбивал ногу турецкий барабан. Один хор сменял другой. Пели трубы кавалерийских полков свои напевные

марши, и, позванивая стремянами, брызжа пеной с мундштуков, проходили драгуны, уланы и гусары. Войска не расходились после марша, как это всегда бывало после парада, но снова выстроились на поле тесными колоннами. От Государя были поданы сигналы: «слушайте все» и «сбор начальников».

Офицеры, сверкая золотом погон, сбежались к Государю. Кавалерийские и артиллерийские офицеры карьером неслись в интервалы рот и батальонов. Визжали, устанавливаясь, нервные кобылы, чуя жеребцов.

Государь тронул шенкелями лошадь и медленно подъехал к офицерам. Наступила мгновенная тишина.

— Пег'ед отпг'авлением вашим в поход я хочу вас напутствовать,— сказал просто и громко Государь.

Это не речь, заранее заготовленная, но слово отца к детям. Прекрасные глаза Государя устремились на офицеров.

— Если пг'йдется вам сг'азиться с вг'агом, покажите себя в деле молодцами и поддег'жите стаг'ую славу своих полков. Есть между вами молодые части, еще не бывавшие в огне. Я надеюсь — они не отстанут от стаг'ых и постаг'аются сг'авняться с ними в боевых отличиях. Желаю вам возвг'атиться поског'ее... И со славою! Пг'ощайте, господа! Поддег'жите честь Г'усского ог'ужия!

Голос Государя стал громче, теплее и напряженнее.

— И да хг'анит вас Всевышний!

Государь тронул свою лошадь прямо на офицеров. В глубокой, благоговейной тишине те расступились, и Государь подъехал к молчаливо стоявшим солдатским рядам.

— Пг'ощайте, г'ебята! До свидания!

— Счастливо оставаться...

И вдруг — «ура!» Такое «ура», какого еще не было на поле. Все перемешалось. Кепи, каски и шапки полетели вверх, солдаты с поднятыми ружьями стали выбегать из строя и окружили Государя, восторженно крича «ура». Народ прорвал цепь полицейских и полевых жандармов и бежал по полю. Мужчины и женщины становились на колени, простирали руки к Государю и кричали:

— Ура!.. За братий!..

— Ура! За свободу славян! За веру Христову!..

Старый царский кучер Фрол Сергеев, с медалями на синем кафтане, мудрым опытом понимал и чувствовал ту грань, до которой можно доводить народный восторг. Он быстро подал коляску. На ее подножке стоял царский конюшний в синем чекмене и алой фуражке.

— Посторонитесь, господа! Дозвольте проехать!
Государь слез с лошади и сел в коляску. Его лицо было орошено слезами.

V

Взволнованный и потрясенный всем виденным и пережитым, Порфирий ехал в фаэтоне, обгоняя идущие с поля войска. Он на смотре узнал, что генерал Драгомиров берет его для поручений.

У самого въезда в город Порфирию пересекла дорогу идущая со смотра Донская батарея. Впереди песельники в лихо надвинутых набекрень, на завитые запыленные чубы, киверах пели дружно и ладно:

— В Таганроге со-олучилась беда...
Ой да в Таганроге солучилась беда —
Там убили мо-о-олодого казака...

Коричневые обуховские пушки позванивали на зеленых лафетах, серую пыль наносило на Порфирия. Пахло конским потом, дегтем, пенькою новых уносных канатов постромок.

Порфирий приказал извозчику свернуть в боковую улицу, и только тот раскатился среди цветущих фруктовых садов, как попал между двух эскадронов рижских драгун и должен был ехать между ними. Сзади звенел бубенцами и колокольцами разукрашенный лентами и мохрами бунчук, и запевала сладким тенором цел:

— В нашем эскадроне
Все житье хорошо...

Хор с бубном, с треугольником, с присвистом подхватил дружно и весело:

— Чернявая моя,
Чернобровая моя,
Черноброва, черноглаза
Раскудрява голова.
Раскудря-кудря-кудря,
Раскудрява голова...

Дзыннь, дзыннь, дзыннь, — дырг, дырг, дырг, — треугольник и бубен сливались с хором.

— Нам житье хорошо,
Командир вис-селый...

Подхватил хор:

— Чернявая моя,
Чернобровая моя,
Черноброва, черноглаза,
Раскудрява голова...

Лошади сзади фыркали и храпели. Офицеры, весело смеясь, говорили между собою. Запевала заливался:

— Офицеры бравы...
Вахмистры удалы...

Гремел хор:

— Чернявая моя,
Чернобровая моя,
Черноброва, черноглаза,
Раскудрява голова...

Порфирий словчился свернуть в переулок в обгон драгунского полка и, уже выезжая на главную улицу, был остановлен потоком пехоты. Гремел Старо-Егерский марш, били барабаны, песельники пели в ротах:

— Ура!.. На трех ударим разом,
Ведь страшен наш трехгранный штык.
— Ура!..— раздастся за Кавказом,
В Европе слышен тот же клик...
Ура!.. Ура!..
В Европе слышен тот же клик...

Могуче, дружно целою ротою пели солдаты. Порфирий ехал рядом с ними. Нельзя было обогнать. Толпа народа запрудила улицу.

Хрипловатый голос старательно выговаривал слова:

— Когда спасали мы родную
Страну и Царский Русский трон,
Тогда об нашу грудь стальную
Разбился сам Наполеон!..

Ура!.. Ура!..
Разбился сам Наполеон!..

«Видать драгомировскую школу,— думал Порфирий, при-
слушиваясь к гордым словам старой песни.— Во всем видать!
Пустяков не поют...»

— Как двадцать шло на нас народов,
Но Русь управилась с гостями,
Их кровью смыла след походов,
Поля белились их костями...

«По-суворовски учит! Знает Михаил Иванович солдатскую
душу!».
А рядом неслось:

— Ведь год двенадцатый — не сказка.
И видел Запад не во сне,
Как двадцати народов каски
Валялись в Бородине...

«Да — славянофилы и западники,— под песню думал Пор-
фирий.— Нам Запад всегда был враждебен. Особенно далекий
Запад — Франция и Англия... А как мы их любим! С их вели-
кой французской революцией и английским чопорным парла-
ментом и джентльменством. А вот где наше-то, наше!»

Песельники пели:

— И видел, как коня степного
На Сену вел поить калмык.
И в Тюльери у часового
Сиял, как дома, русский штык...

«Эк его, да ладно как»,— кивал головою в такт песни Пор-
фирий, а песня неслась и подлинно хватала за сердце:

— Как сын пределов Енисейских
Или придонской наш казак
В полях роскошных Елисейских
Походный ставил свой бивак...
Ура! Ура!
Ура! На трех ударим разом!!!

В приподнятом, восторженном настроении, усугубленном песнями, точно застрявшими в ушах, не захотел Порфирий идти в столовую «Столичных номеров», где были бы пустые разговоры, где пошли бы шутки, где кто-нибудь — Порфирий знал пошлую переделку только что слышанной им песни — споем ему:

— На одного втроем ударим разом,
Не победивши — пьем...

Хотелось быть одному, хотелось беседы с такою душою, которая вся открылась бы ему и зазвучала согласным с ним возвышенным гимном.

Порфирий в номере, где сейчас никого из его сожителей не было и где по кроватям и походным койкам валялись каски, шарфы и сабли, снял мундир, отдал его чистить денщику и приказал подать себе в комнату завтрак.

Он подошел к столу, вынул походную чернильницу, достал бумагу и своим твердым, красивым почерком начал:

«Милостивая Государыня, глубокоуважаемая и дорогая графиня Елизавета Николаевна...» Он остановился... Шаловливый голос, потом целый хор запел ему в уши с бубном, с бубенцами, тарелками, с присвисточкой:

— Черноброва, черноглаза,
Раскудрява голова!..

Порфирий порвал листок, полез под койку, выдвинул походный чемодан, отстегнул ремни и откинул медную застежку. С самого дна чемодана достал он сафьяновый конверт и оттуда большой «кабинетный» графинин портрет.

Графиня Лиля снималась у лучшего петербургского фотографа Бергамаско и, должно быть, несколько лет тому назад. Но Порфирию она представилась именно такою, с какою он так недавно расстался в Петербурге. Подвитая черная челка спускалась на красивый лоб. Подле ушей штопорами свисали локоны, большие глаза смотрели ласково и любовно. Бальное платье открывало полную высокую грудь. Пленительны были прелестные плечи.

В ушах все звенело малиновым звоном, пело сладким нежным тенором, заливалось красивым хором.

— Чернявая моя,
Черноглазая моя!
Черноброва, черноглаза,
Раскудрява голова..
Раскудря, кудря, кудря,
Раскудрява голова!..

Порфирий поставил карточку, чтобы видеть ее, и снова взялся за перо.

Он начал просто: «Графиня...» Он описал молебен и смотр войск на скаковом поле.

«...Итак, война объявлена,— писал он,— я иду с драгомировскими войсками в авангарде Русской армии на переправу через Дунай, иду совершать невозможное... Молитесь за меня, графиня. В эти торжественные для меня часы пишу Вам один в гостиничном номере среди походного беспорядка. Весь я, как натянутые струны арфы — прикоснитесь к ним, и зазвучат... Только Вы, графиня, поймете меня, только со струнами прелестью Вашей души мои струны дадут согласный аккорд. Графиня, я сознаю, я не молод, я вдовец, у меня взрослый сын — Вы все это знаете, но Вы знаете и то, как я Вас люблю и как Вы мне нужны. Я прошу Вашей руки. Как только я получу Ваше согласие — я напишу отцу. Он Вас любит и ценит, и я уверен, что он будет счастлив назвать Вас своею невесткой...»

Порфирий не сомневался в согласии. Он писал, увлеченный своею любовью, все поглядывая на милый портрет. Вдруг охватил его стыд: в такие торжественные, великие минуты, когда нужно было все свое, личное, отбросить куда-то и позабыть и думать о самопожертвовании, о смерти, о подвиге, он думал и писал о личном счастье, о победе, о Георгиевском кресте, о славе, о долгой счастливой жизни с веселой, чуткой, жизнерадостной графиней Лилей. В ушах звучало ее любимое словечко: «подумаешь?..» «Подумаешь, Порфирий мне предложение сделал...» А незримый хор все пел в душе веселыми, бодрыми драгунскими голосами:

— Чернявая моя,
Черноглазая моя,
Черноброва, черноглаза,
Раскудрява голова!..

С карточки Бергамаско улыбалось несказанно милое лицо, и казалось, вот-вот оживут и счастьем загорятся блестящие черные глаза и маленькие губы сложатся в неотразимо прелестную улыбку.

Драгомировская дивизия, направляясь через Румынию к Дунаю, остановилась на дневке у деревни Бею.

Афанасий лежал на поле подле своей низкой палатки и смотрел, как его денщик, солдат Ермаков, сидя на корточках, налаживал «паука». Подле Афанасия, подложив под себя скатку, сидел молодой стрелок с пестрым охотничьим кантом вокруг малинового погона. Загорелое, чисто побритое лицо было точно пропитано зноем долгого похода. Черное кепи было сдвинуто на затылок. Мундир был расстегнут, и ремень со стальной бляхой валялся подле стрелка.

От самоварчика «паука» тянуло смолистым дымком сухих щепок, томпаковое туловище самовара побулькивало, и легкие струйки пара вырывались в маленькие отверстия крышки.

— Зараз и вскипит,— сказал Ермаков,— пожалуйста, ваше благородие, чай; заваривать будем.

Не вставая с корточек, ловкими, гибкими движениями денщик достал чай из поданного ему мешочка и всыпал в мельхиоровый чайник, ополоснул, залил кипятком и поставил на самовар.

— А переправа будет,— вдруг сказал он,— солдатики рассказывают — у Зимницы.

— Ты почему знаешь? — сказал Афанасий. — Это же военный секрет. Никто, кроме Государя Императора и Главнокомандующего, о том не знает и знать не может.

— Точно, ваше благородие, тайна великая. Оборони Бог, турки не проведали бы. Ну, только солдатики знают... От них не укроется. Мне говорил один понтонного батальона — земляк мой... У Зимницы... И казак терский, пластун, рассказывал тоже. Там, говорил, берег — чистая круча и не взобраться никак. Виноград насажен. У турок, рассказывал, ружья аглицкие, многозарядные и бьют поболее, чем на версту, и патронов несосветимая сила. Так в ящиках железных подле их ашкеров и стоят.

— Откуда казак все это узнал? — спросил Афанасий.

— Ему болгары-братушки рассказывали.

Солдат вздохнул.

— Ну, однако, возьмем!.. Взять надо!..

Он разлил чай по стаканам и, подавая офицеру и стрелку, сказал:

— Пожалуйста, ваше благородие. Коли чего надо будет — вы меня кликните. Я тут буду возле каптенармусовой палатки.

И с солдатской деликатностью Ермаков ушел от офицерских палаток.

— Видал-миндал,— сказал стрелок.— Все, брат, знают. Все пронюхают. Почтище колонновожатых будут. У нас стрелки тоже говорили, что у Зимницы.

— Все одно, где укажут, там и переправимся,— сказал Афанасий.— Скажи мне, князь, что побудило тебя вдруг так взять и пойти на войну солдатом?..

— Офицерских прав не выслужил, пришлось идти в солдаты.

— Но ты? Мне говорили... Ты труд презираешь... А это же труд!..

— Еще и какой!

Стрелок показал свои руки, покрытые мозолями.

— Видал? А ноги в кровь... Эту проклятую портянку повязать — это же искусство! И сразу не поймешь такую на вид немудрую науку. Почтище и поважнее будет всех этих чертячьих Спенсеров и Карлов Марксов.

— И вот ты пошел!.. Добровольно!.. Что же, или и тебя захватило, как многих захватило...

— Видишь, Афанасий... Я и точно хотел жить так, как создан был Богом первый человек. Без Адамова греха, не мудрствуя лукаво. Ты помнишь — в Библии...

— В Библии?.. Ты за Библию принялся? С каких это пор? Это после твоих чертовых Марксов, Бюнхеров и еще там каких мудрящих немцев. Чудеса в решете!

— Так вот, по Библии — Бог создал человека для того, чтобы он ничего не делал. Пища сама в рот валится. Животные служат ему. Солнышко греет. На мягкой траве с этакой милой обнаженной Евушкой сладок сон. Это и есть райская жизнь — ничего не делать. Ни о чем не думать, не иметь никакой заботы. И надо же было этому балбесу Адаму согрешить и навлечь на себя проклятие! Стал он задаваться дурацкими вопросами. Отчего солнце светит? Что ему, дураку? Светит и светит — радуйся и грейся в его лучах... Нет, стал думать, а какая там земля? А имеет рай пределы и что за ними?.. Вот осел, как и все ученые ослы!.. Что ему с этого? А накликал на себя беду — труд...

— Но ты, князь, кажется, сумел так устроиться, что не трудился никак.

— Устроиться-то я устроился, а вот представь себе — стало мне тошно. И пошел я потому еще... Ну, да это потом... Пришел, видишь ли, такой момент в жизни, что либо в стремя ногой,

либо в пень головой. Ну, пня-то мне не захотелось,— вот и надел солдатскую лямку.

— А трудно?..

— Поди, сам знаешь... Нелегко. Не говорю — физически,— ну, там бороду побрить, волосы чтобы под гребенку, работы, ученья, поход — все это ничего... А вот морально очень трудно было. Перекличка вечером. И молитва!.. Ты понимаешь, я — Болотнев — ученик Кропоткина, я — атеист, ничего такого не признающий, а пой молитву... Да у меня еще и голос оказался хороший, слух, ве́ди роту за собой... Фельдфебель приказал... Пой «Отче наш»!.. А то, понимаешь? Ведь фельдфебель, хотя и охотник я, может и в морду заехать. Зубы посчитать.

— Н-да, брат. Назвался груздем — полезай в кузов.

— Что же — и полез... Это что у тебя во фляге? Коньяк?

— Ром.

— Позволишь? Люблю, знаешь, по-прежнему люблю, чтобы этакое тепло ключом побежало по жилам. И мысли!.. Мысли всегда это проясняет... Мысли становятся глубокие. Тогда за мною только записывай. Не хуже Григория Сковороды или иного какого мыслителя будут те мои мысли.

Князь хлебнул горячего чая с ромом, долил рома, хлебнул еще, долил и потянулся.

— Хор-рошо-о!..— сказал он и замолчал, щуря веки в белесых ресницах на солнце.

— Ну, дальше?.. Ты мне все еще главного-то и не сказал.

— Я тебе по совести ничего пока не сказал. Да вот что... А ты записывай... Я вот думаю, что вам таким, как я, князьям, дворянам, лодырям барским, очень не вредно, чтобы иногда фельдфебель мужицким кулаком и... в морду, в личико барское!.. Дурь вышибить! Для протрезвления чувств. А крепок твой ром! И душистый! Теперь взводному на глаза не попадайся. А то услышит... Беда!.. Допытывать станет... Где достал? Не поверит, что у офицера-товарища. А я не откупаюсь... Да и нет у меня, чем откупиться. Я ничего не имею... Мне, как из Кишинева выступали, Елизавета Николаевна три рубля прислала — а это три месяца тому назад. Вот и живи, как в песне солдатской поется: «и на шило, и на мыло, чтобы в баню сходить было...» Положеньице!.. Видишь, с жиру мы, князья, бояре, бесимся... Умны очень становимся. Вот и нужна нам одержка. Иван Грозный какой-нибудь или Петр Великий — ох как они это понимали! А как пошло расслабление власти, как пошли Императрицы мудрить, да с Вольтерами-богоотступниками переписываться, с Дидеротами знаться, как появилась вольность дворянства —

ну, понимаешь, дисциплина понадобилась... Надо, чтобы кто-нибудь тебя по-настоящему поучил. А то сами пошли искать света — кто в масоны, кто куда, ну а я — в стрелки... На войну... Навстречу курносой, безглазой... Под ее жестокую косу. Да тут еще и одно обстоятельство было. Ну, да это потом, когда-нибудь...

— Что ты все вертишься около одного места? Потом да потом... Не договариваешь чего-то. Проигрался, что ли?.. От долгов бежишь?

— Нет... Я в карты не играю.

— Гадость какая вышла, что бежать пришлось?

— Нет, и этого не было... То есть, если хочешь, конечно, как посмотреть?.. Если хочешь, то и гадость. Во всяком случае, не радость. Видишь, случилось то, о чем я никогда и не думал, что со мною это может случиться. Я полюбил...

— Ты? Чучело!.. Ты, помнится, еще в корпусе любовь и женщин отрицал... Философа Канта приводил в пример. Мы тогда, прости, брезгали тобой.

— Я это давно бросил...

— А не секрет,— с дурною и злою усмешкой сказал Афанасий,— кого ты удостоил своей любовью?

— Брось, Афанасий, этот тон... Того князя Болотнева, кем вы брезгали в корпусе, нет. Нет и того, кого прогнал отец из дома и кто, читая умные книжки, заблудился между трех сосен. Есть стрелок Болотнев. В близком будущем — ефрейтор. А там, гляди, кавалер и... офицер! Таким, как я, кому терять нечего, на войне легко... Главного у меня нет — страха смерти. Мне смерть, по совести, даже желанна.

— Скажи, пожалуйста... Каким Чайльд-Гарольдом...

Ревнивые огни загорелись в глазах Афанасия. Кого мог полюбить этот одинокий, странный и страшный человек? Графиню Лилю? Та помогает ему из жалости, как сестра, как мать. Кого-нибудь, кого Афанасий не знает? А если Веру?.. Странно... Веру? Возможно, что и Веру.

— Ты, князь, говори, так до конца. Что ты все в прятки играешь?

— Хорошо. Скажу. Я даже делал предложение.

— И получил отказ,— со злорадством сказал Афанасий.

— Я в нем и не сомневался. При моей печальной-то репутации. Только я думал, что та девушка тоже оригинальна и не обыденна, не кисейная наша барышня-дворянка, что она поймет меня и согласится вместе со мною пойти прокладывать новые жизненные пути. Я все говорю тебе...

— Почему же ты достаиваешь меня своих конфиденций. Потому ли, что мы с тобою старые товарищи по корпусу, или тому есть и другие причины?

— Есть и другие причины. Та девушка, кого я полюбил, — близкий тебе человек — твоя кузина Вера Николаевна.

— Постой, князь! Ты ври, да не завирайся. Ты полюбил Веру? Ты?.. Ты Вере делал предложение?

— Ну... Да...

— Да это же совершенно невозможно! Ты!.. И Вера!.. Князь! Я тебе совершенно серьезно говорю. Завтра, послезавтра может быть бой. Наша четырнадцатая дивизия идет на переправу. В такие минуты не шутят. Откровенность за откровенность. Так я тебе говорю... Я! Это я!.. А не ты делал предложение Вере!..

— И?..

— Ты понимаешь!.. Надо, чтобы кончилась война... Я вернусь — героем... Я все сделаю для этого, и тогда... Нет, мне отказа не было!.. Не могло быть отказа... Так вот я говорю тебе. Я не ревную тебя. Не ревную, но мне, почти жениху, это неприятно, и прошу тебя — оставь это. Я не хочу, чтобы кто-нибудь стоял между мною и Верой. Понимаешь?

— Не бойся, Афанасий. Если бы что-нибудь осталось — я не сказал бы тебе всего этого.

— Почему? Разве ты это знал?

— Догадывался... Как было тебе не полюбить Веру Николаевну, она так резко выделяется из барышень своего круга.

— Да, брат... Вера — это класс!

Афанасий молча думал свои думы, вспоминал загадочную, манящую Веру с ее русалочьими глазами и пепельными пушистыми волосами. Князь Болотнев поднялся со своей скатки, застегнул мундир, надел скатку через плечо, надвинул кепи на правую бровь и стал совсем молодцом-стрелком. И не узнать было в этом бравом молодом солдате расхлюстанного, обыкновенно небрежно одетого князя. Поднялся с земли и Афанасий.

Громадное зеленое поле расстилалось перед ними. Оно все было покрыто маленькими походными палатками. Узкая балка с белыми меловыми щеками разделяла поле на две части. По одну громадным квадратом стояли биваки 14-й Драгомировской дивизии, по другую — меньшими квадратами стали батальоны 4-й стрелковой бригады генерала Цвецинского.

Биваки гомонили человеческими голосами. Люди расходились от ужина и собирались на передних линейках для перекулички. Где-то печально и напевно играла гармоника. Из балки

вилась редкая, белесая, высокая пыль. Сотня донцов, охлюпкой, в пестрых рубахах, в шароварах с алым лампасом и с босыми ногами, поднималась из балки с водопоя. Оттуда неслась негромкая песня. Пело два голоса, очень красиво и ладно, но что пели — разобрать было нельзя.

На западе небо краснело, солнце, наливаясь пламенем, опускалось к земле. После дневного зноя тянуло прохладой и запахом потоптанной молодой травы и пыли.

Оба молодых человека долго стояли молча, любуясь широким видом громадного бивака. Князь Болотнев первый прервал молчание.

— Афанасий,— сказал он, и в голосе его послышалась теплота, какой никогда не предполагал Афанасий у князя.— Афанасий, я пошел в солдаты... Нелегко мне это далось. Все — и раннее вставание по стрелковому рожку, и тяжкий труд похода... Боль во всем теле... Ну, да что говорить, и возможности... Фельдфебель... в морду... Чем черт не шутит?.. Видал я и это... Так вот я три месяца прожил с этими людьми — солдатами. Это тоже своего рода хождение в народ. И я понял многое... Все ищут правду жизни. Мы ее не знаем. Они знают... Они жить умеют — мы не умеем. Мы все чего-то ищем, а то, что мы ищем, с нами всегда... Когда я пою «Отче наш», и рота, следя за моим голосом, вторит мне в унисон — я чувствую, я ощущаю, что что-то есть. Это еще не вера, далеко не вера. Мне, атеисту, трудно так вот сразу и поверить, но это уже сомнение в правоте того, что я так жадно ловил у иностранных философов. В эти вечерние минуты я ощущаю, что у них, у этих заумных немцев и англичан, а более того — евреев — ложь, а правда в этом мерном гудении солдатских голосов, идущих за мною, в этих взмахх коротко остриженных затылков, крестящихся истово людей... Повторяю, я еще не верю, но я со смыслом пою — «и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого...» Искушение было, и большое, но оно было и прошло, совсем и навсегда прошло... Не бойся, Афанасий... Вера Николаевна никогда меня не увидит и не услышит обо мне. Но... Если станет она твоею женою — береги ее! Она трудный человек. У нее громадные запросы. У нее много того, что было и во мне, но я попал к солдатам и излечиваюсь у них. К кому-то попадет она?.. На нее так легко повлиять, и в то же время, если она замкнется, — она ни за что себя не откроет. В ней много честности и доблести — хотя бы и мужчине впору, и в то же время она так слаба, так может подпасть под чужое влияние. Береги ее! Ну!.. Мне пора... Уже строятся на перекличку. Сам понимаешь — опоздать нельзя...

Фельдфебель... И в морду!.. Неловко это будет... Все-таки я — князь!.. Да, что я хотел сказать тебе еще?

И, не прощаясь и не протягивая Афанасию руки, князь Болотнев быстро пошел с волынского бивака. Он уже спускался в овраг, когда Афанасий бегом догнал его.

— Что ты мне хотел сказать? — крикнул Афанасий, хватая князя за рукав.

— Чтобы ты был счастлив с нею! — сказал Болотнев, вырвался от Афанасия и бегом, прыгая через мелкие кусты боярышника и терна и через промоины, побежал в балку.

На том берегу беспокойно трубили стрелковые горны повестку к заре.

VIII

На просторном румынском дворе богатого крестьянина были собраны офицеры полков 14-й дивизии. Они стояли по полкам. Был знойный день и время после полудня. Запыленное золото погон тускло блестело на солнечных лучах. Околыши кепи выгорели в походе, и так же запылились и точно выгорели лица офицеров. Они похудели от долгого похода, загорели и, хотя были тщательно вымыты и подбриты на подбородках, носили следы усталости тяжелого похода в знойное лето.

В четырехугольнике, образованном полковыми группами офицеров, похаживал невысокого роста генерал в длинном черном сюртуке с аксельбантами и академическим значком, в белой фуражке с большим козырьком. Мало загоревшее лицо его с небольшими, вниз спускающимися черными, «хохлацкими» усами было спокойно. Похлопывая правой рукой по кулаку согнутой в локте левой, генерал Драгомиров говорил офицерам последнее наставление перед боем.

«За словом в карман не полезет, — думал Порфирий, стоявший в середине четырехугольника с чинами штаба. — Говорит, как пишет. Профессор!.. По-суворовски учит. Молодчина!»

— Так вот-с, господа, прошу не забывать, что это прежде всего тайна... Военная тайна... Не мне говорить вам, господа, как свято и строго должна быть соблюдена эта тайна... Опустите руки, господа.

Руки в белых перчатках, приложенных к козырькам кепи, опустились. Стало менее напряженно, вольнее. Кто-то переступил с ноги на ногу, кто-то кашлянул, кто-то вздохнул.

— Сегодня ночью, значит, в ночь на пятнадцатое июня, будет наша переправа через Дунай для прикрытия наводки моста через реку... Первыми на понтонах переправляются три стрелковые роты Волынского полка и первые два батальона того же полка. Полковник Родионов, сделайте расчет и подготовьте ваших людей...

В рядах волынцев произошло движение. Кое-кто приложил руку к козырьку и сейчас же опустил ее. Кто-то придвинулся ближе к середине квадрата.

«Афанасий пойдет», — подумал Порфирий и любовно посмотрел на сына. Глазами сказал: «Не осрамись», — и Афанасий взглядом и улыбкой ответил: «Не бойся, папа, не подкачаю».

Драгомиров после краткой паузы продолжал:

— Передать солдатам... Научить, вразумить... На судне — полная тишина. И прошу не курить... Если неприятель огонь откроет — не отвечать. Раненым помощи на понтоне не подавать. Каждое движение может опрокинуть понтон. И раненому не поможешь, и других потопишь. Начнется дело — тут не до сигналов и команд. Слушай и помни, что приказано раньше, то и исполняй. Береги пулю, не выпускай ее зря. Стреляй только наверняка. Иди вперед и коли. Пуля обмишультся — штык не обмишультся. Побьешь турка — не говори: победил!.. Надо войну кончить — тогда и скажешь!.. Конец венчает дело, а это сегодняшнее, завтрашнее — только начало.

«Все под Суворова ладит, — думал Порфирий, — а запоминается легко».

— План атаки? Вот меня спрашивали, какой план? Да какой же может быть план? Темно. Ночь — и местность незнакомая. Скажите людям — поддержка будет — подпирать будем непрерывно — смены не будет. Кто попал в первую линию — так и оставайся в ней, пока не будет сделано дело.

Драгомиров помолчал немного. Зоркими черными глазами он осмотрел офицеров и опять заговорил о том, что, видимо, волновало его более всего: беречь патроны. Знал, что патронов мало, что подавать их за реку будет нелегко, знал и то, что у его солдат «Крнка», едва на шестьсот шагов бьющее, а у турок «Пибоди-Мартини», на полторы версты пристрелянное, а патронов уйма. Значит — вперед, и штык. Так и учил.

— Патроны беречь!.. Скажите своим молодцам — хорошему солдату тридцать патронов хватит на самое горячее дело. И не унывать!.. Главное — не унывать... Как бы тяжело ни было — не унывать! Отчаяние — смертный грех, и сказано в Писании: «претерпевый до конца — спасется...»

Опять замолчал, похлопывал рукой по кулаку, посматривал в глаза офицеров. «Что они, как?» Потом сказал, повысив голос:

— Так вот-с! Это и все! Война начинается. Прикажите по ротам на вечерней молитве после «Отче наш» петь: «Господи Сил с нами буди»... Знаете-с? «Иного бо разве Тебе Помощника в скорбех не имамы»... Помните? Силы небесные помогут вам там, где земные силы изменят... Чего человек не может — то Богу доступно-с!..

Порфирий сбоку и сзади смотрел на Драгомирова и думал: «Что он: точно верит или опять под Суворова — безверное войско учить, что железо перегорелое точить?»

— От души желаю вам, господа, полного успеха-с!

Драгомиров еще повысил голос, сделал паузу, вздохнул и решительно добавил:

— Да иначе, господа, и быть не может. На нас возложено Государем великое дело! Исполним его... с достоинством!!

Драгомиров приложил руку к большому козырку своей фуражки и сделал полупоклон.

— Попрошу по местам! Авангарду генерала Иолшина через два часа выступать!

Офицеры с озабоченным говором выходили со двора. Они стеснились в воротах, постояли в тени раскидистого чинара, раскуривая трубки и папиросы, и пошли к полю, где белели палатки биваков. Там было тихо. Солдаты спали крепким послеобеденным сном.

IX

Смеркалось, когда Волынский полк вошел в румынское селение Зимницу. Рота, где служил Афанасий, остановилась в узкой улице. В хатах загорались огни. У колодца столпились солдаты. Старик румын подавал им воду.

— Пофтиме, пофтиме¹, — говорил он ласково.

Фельдфебельский окрик раздался сзади:

— Чего стали! Пошел вперед!

Двинулись по улице, в темноте, между высоких садов, плетневых изгородей, мимо белых домов. Нет-нет и донесет в улицу запах большой реки — пахнет илом, сыростью и свежестью широкого водного простора. Никто не спрашивает, что это такое? — все знают: под селом — Дунай...

¹ Попрошу покорно (рум.).

Вышли из улицы и наверху, на каком-то поле, стали выстраивать взводы и без команд, следуя за своими ротными командирами, стали в густые батальонные колонны.

Вполголоса командовали:

— Рота, стой! Составь!

Звякнули штыки составляемых в козлы ружей. Усталые тридцативерстным переходом без привалов, солдаты полегли за ружьями, сняли ранцы и скатки.

— От каждого взвода послать по два человека к котлам за порциями...

От артельных повозок на широких полотнищах принесли куски холодного вареного мяса и хлеб и раздали солдатам. Люди сняли кепи, перекрестились и жадно ели ужин. Пахло хлебом, мясом, слышались вздохи, кто-нибудь икнет и вздохнет.

Снизу, из балки, оттуда, где была река, проехал казак и спросил:

— Где генерал Иолшин?

Никто ему не ответил, и казак проехал дальше вверх и исчез во мраке.

Большим, красным рогом, предвещая ведро, проявилась в потемневшем небе молодая луна. От деревьев, от составленных в козлы ружей, от людей потянулись тени... В мутном, призрачном лунном свете растворились дали.

— Первый и второй батальоны, в ружье!

Роты молча поднялись, разобрали ружья и стали спускаться к реке. Вдали под небесным темным пологом черною полосой чуть наметился другой, «его» берег.

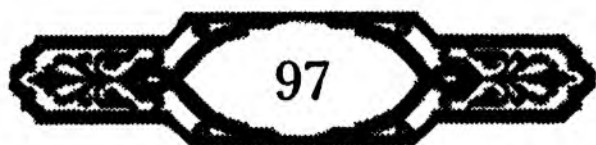
Вдруг на том берегу засветилось много огней. Стали видны раскидистые купы больших деревьев, снизу освещенные золотистым пламенем костров. Там певуче и стройно заиграла музыка. Военный оркестр играл мейерберовского «Пророка».

По узкой, пыльной дороге, толкаясь среди солдат, Афанасий спустился к реке. Перед ним была протока, между румынским берегом и длинным островом, поросшим кустами. В протоке были причалены к берегу понтоны. Здесь была старая австрийская таможня и подле нее пристань. К этой пристани один за одним подходили понтоны для погрузки. Саперный офицер ладонью отделял ряды, отсчитывая их на понтон.

— Вторая стрелковая?

— Так точно,— ответил Афанасий.

— Два, четыре, шесть,— проворней, братцы,— отсчитывал ряды офицер.— Двадцать четыре, шесть, восемь, тридцать, тридцать восемь, сорок. Стой!



По намокшим, скользким, колеблющимся доскам солдаты сходили на понтон. Бряцали приклады о железные борта. На банках подле уключин сидели уральские казаки в лохматых бараньих папах.

По берегу, между столпившихся солдат, проехало несколько всадников. По крупной лошади и по белой фуражке Афанасий признал в одном из них генерала Драгомирова.

— Генерал Рихтер здесь? — спросил Драгомиров кого-то у самой воды.

— Я здесь, ваше превосходительство, — ответили из солдатской толпы, и высокий генерал в черном сюртуке подошел в Драгомирову.

— Первый рейс готов к отправлению?

— Есть, готов к отправлению, — ответил офицер.

На протоке, у берега, удерживаемые веслами на месте, длинной вереницей стояли понтоны.

— С Богом, братцы, — сказал Драгомиров и снял белую фуражку. — Напоминаю вам в последний раз: отступления нет! Разве что в Дунай! Так или иначе — надо идти вперед! Впереди — победа! Позади — гибель, если не от пуль — то в воде...

Низко спускавшаяся к берегу луна коснулась земли и стала быстро исчезать за Дунаем. Сразу стало темно, неприятно и жутко. Стоявшие в протоке понтоны исчезли в ночном мраке. Ветер зашумел ивами на острове. Заплескала вода о железные борта понтона.

— С Богом, братцы, отваливайте!

— Отваливай!

С пристани раздался короткий свисток понтонного офицера. Казачий урядник на понтоне, где был Афанасий, негромко сказал:

— На воду, паря!

Чуть покачнулся понтон. Конные фигуры и толпы солдат поплыли мимо Афанасия. Ближе подошли кусты Чингинева и пошли мимо. Сильнее пахнуло илом, сернистым запахом расквашенной глины и сырою травой. У Афанасия сладко закружилась голова. Он оперся рукою на плечо близ стоявшего солдата и закрыл глаза.

Х

Когда Афанасий открыл глаза — сильный, порывистый ветер бил ему в лицо. Волна плескала по понтону. Порывисто гребли уральские казаки. Кругом была кромешная тьма. На

мгновение в ней показались черные понтоны с людьми и сейчас же исчезли, точно мелькнули призраками. Падала вода с весел. Афанасию казалось, что понтон не подавался вперед, но крутился на месте. В полной тишине, бывшей на понтоне, с тяжелым грохотом упало ружье и солдат мягко опустился на дно. Сосед нагнулся над ним, хотел помочь ему, прошептал, как бы оправдывая товарища:

— Сомлел, ваше благородие.

— Не шевелиться там! — сердито, вполголоса окликнул понтонный унтер-офицер. — После поможешь. Отойдет и так.

Снова стала напряженная тишина на понтоне. Ветер свистал между штыков, пел заунывную песню, навевал тоску.

Уральский урядник, с большой седою бородой, прошел вдоль борта. Афанасию показалось, что он тревожно сказал гребцам:

— Правым, паря, шильнсь нажимай... Понешло далеко.

В темноте отблескивали белые гребешки большой волны. Должно быть, вышли па стрежень реки.

Сколько времени прошло так, Афанасий не мог определить. Ему казалось, что прошло «ужасно» много времени. Не было мыслей в голове. Ветер резал глаза. Была какая-то полуявь, полусон, без воспоминаний, без соображения, и было только одно томительно-страстное желание, чтобы все это скорее как-то кончилось.

Волна стала мельче. Уральцы гребли ровнее и чаще. Понтонер с длинным крюком прошел вперед, и совсем неожиданно, вдруг, сразу, Афанасий в крошечной тьме увидал высокие стены берега. Быстро наплывал на Афанасия берег. Мелкие кусты трепетали на ветру черными листьями, где-то — не определить, далеко или близко — высоко над водой светилося пламя небольшого костра.

Днище понтона коснулось вязкого дна. Понтонеры шестами удерживали понтон на месте.

— Пожалуйте, ваше благородие, прибыли, — сказал понтонный унтер-офицер Афанасию.

Солдаты, без команды, стали прыгать в воду и выбираться на берег. За ними прыгнул и Афанасий, ощутил вязкое дно — едва не упал — крут был берег, и выбрался на сухое.

Солдаты столпились вокруг Афанасия. Кто-то растерянно прошептал:

— Что же теперь будет?..

Глухая и тихая ночь была кругом. Тьма, тишина. За спиною плескала волнами река. Пустой понтон уплывал за вторым рейсом.

По приказу предполагалось, что все понтоны первого рейса причалят к берегу одновременно и в одном месте. Две стрелковые роты поднимутся прямо перед собою, 1-я и 2-я роты волинцев примкнут к ним справа, 3-я и 4-я слева, лицом на Тырново. Образуется живой клин. Этот клин врежется в турецкий берег. Следующая высадка — 2-й батальон — расширит его вправо и влево и образует нужный плацдарм.

Афанасий оказался один со своим взводом на неизвестном берегу. Нигде не было никаких стрелков, и где находится Тырново, о том Афанасий не имел никакого представления. По-настоящему надо — «в цепь»... Но перед Афанасием была узкая площадка песчаного берега, кусты и совсем отвесная круча. Где-то наверху, влево чуть виднелся огонь костра. Солдаты жались к Афанасию, ожидали от него указаний, что делать. Афанасий помнил одно из наставлений Драгомирова: «идти вперед»...

Он и пошел вперед, сначала вдоль берега, ища, где бы ухватиться, чтобы подняться на кручу. Вскоре показался ручей, сбегавший по узкой балочке, углублявшейся в кручу. Афанасий и за ним солдаты пошли вдоль ручья, все поднимаясь на гору. По уступам стали показываться колья виноградников, пахло землею, свежим виноградным листом. Какой-то человек в черном сбегал навстречу Афанасию.

Афанасий выхватил свой тяжелый «Лефоше» из кобуры и спросил:

— Кто идет?

— Свой, свой,— быстро ответил человек, и перед Афанасием оказался казак в черной короткой черкеске. Рваные полы были подоткнуты спереди за тонкий ремешок пояса, низкая, смятая баранья шапка едва держалась на макушке бритой головы. Казак остановился в шаге от Афанасия и сказал, тяжело дыша и переводя дух:

— С переправы, ваше благородие? Пожалуйста, сюда, за мною. Генерал Иолшин уже тут наверху... Приказали, чтобы всех, которые с переправы, к нему направлять.

Точно посветлела ночь. Томительное чувство беспокойства, страха, одиночества и неизвестности вдруг исчезло. Все стало просто. Генерал Иолшин — бригадный — был где-то тут, и казак шел. Теперь впереди, легко, как дикий барс, продираясь по круче, там отведет ветку, чтобы не хлестнула по Афанасию, там молча укажет, куда надо ступить, чтобы подняться на обрывистый уступ.

— А чей это там огонек, станица? — спросил взводный унтер-офицер, шедший сзади Афанасия.

— Его, милый человек, — как-то ласково и мягко сказал пластун. — Тут как раз его пост был. Мы к нему прокрались. С огня-то ему нас не видать, а нам каждого человека видно. Мы его враз кинжалами прикончили. Безо всякого даже шума.

Все ближе был догорающий костер. В отсветах его пламени показалась низкая каменная постройка. Подле нее лежали пять темных тел. Белые лица были подняты кверху. Пламя играло на них.

— Ту-урки, — прошептал кто-то из солдат и нерешительно потянулся снять кепку.

— Зда-аровый народ...

— В фесках...

— Ружье бы обменять, — жадно глядя на составленные подле убитых магазинные ружья, прошептал ефрейтор Белоногов.

— Обменять, — прорычал шепотом унтер-офицер Дорофеев. — А патроны? Что, он тебе поставлять их будет с того света?

Солдаты, пожимаясь и сторонясь от мертвых и пристально глядя на них, проходили подле «снятого» пластунами поста.

Костер, догорая, полыхал пламенем. Шевелились тени на лицах убитых. Точно подмигивали убитые волынцам: «Что, брат? И тебе то же будет»...

Холодом смерти веяло от убитых турок.

Перешли через ручей, стала балочка шире, снизу вверх стало видно небо, край обрыва, уступы гор и виноградники. И вдруг совсем неожиданно и, казалось, близко застучали выстрелы. Желтые огоньки стали вспыхивать по краю темного гребня.

Все остановились. Только казак продолжал идти дальше.

— Да-алече, — сказал он. — Вишь, как свистит. Излетная. Она не укусит.

Порывом, рывком, упираясь руками в комья земли, вскочили наверх и остановились.

Тут была площадка. На площадке, на барабане, сидел Иолшин.

— Волынцы?

— Так точно, ваше превосходительство, первый взвод четвертой роты, — ответил Афанасий.

— Разгильдяев, что ли?

— Так точно, ваше превосходительство, — бодро ответил Афанасий.

— Рассыпайте цепь вдоль ручья. Залегайте по гребню. На выстрелы турок не отвечать. И не достанет, и ночь. Будете стрелять, когда увидите его перед собой.

Вдоль уступа протекал ручей, окопанный с краев. Волынцы залегли за ним. Справа все подходили и подходили какие-то люди. Видимо, всех, кто высаживался на берег, принимали посланные Иолшиным пластуны и направляли сюда. Все шло, может быть, и не так, как предполагалось, но шло так, как надо. Все длиннее и длиннее становилась русская цепь, залегавшая вдоль ручья.

Впереди часто стреляли турки.

«Тах... тах... Тах-тах-тах», — раздавалось в ночной тишине. Ветром наносило едкий, сернистый запах пороха. Желтые огоньки часто вспыхивали, и временами над Афанасием свистали пули — «фью-фью!.. пи-ий». Совсем так, как свистали они на стрельбище у Софийского плаца в Царском Селе, когда Афанасий сидел с махальными за стрельбищными земляными валами.

Время точно остановилось. Ночь не убывала. Пули свистали без вреда.

И вдруг где-то вправо громадным, полным звуком, потрясшим воздух и заставившим всех вздрогнуть, ударила пушка: «бомм...» Высоко в небе над головами лежавших в цепи солдат прошуршала граната, и звук исчез и замер, растаяв вдали. Сейчас же ударила вторая, третья, четвертая пушка. Небесными громами заговорили две турецкие батареи.

— По нашим, значит, понтонам, — прошептал унтер-офицер Филаретов. — Храни их Царица Небесная. Открыли, значит, нашу переправу.

Только теперь заметил Афанасий, что совсем ободняло.

XI

Утро наступало ясное. Ночной ветер разогнал собравшиеся было тучи. Солнце еще не взошло, но небо посветлело, звезды исчезли, и все шире и шире открывался горизонт.

— Что на реке-то делается! Не приведи Бог! Страсти Господни, — с тяжелым вздохом сказал Филаретов.

Афанасий оглянулся в том направлении, куда показал унтер-офицер, и теперь уже не мог оторвать глаз от того, что он увидел на Дунае.

Внизу, где розовели откосы холмов, местами покрытые сетью виноградников, широкою, белою дорогой тек Дунай. Солнце всходило. Золотыми искорками весело играли мелкие волны реки. Во всю ширину ее плыли понтоны. Сверху было

отчетливо видно, как неподвижно стояли на них люди в Черных мундирах и белых штанах, как на других двойных понтонах были лошади, орудия, передки, повозки, казачьи пики и солдаты.

Непрерывно, отвечая громам артиллерийского боя, между понтонами фонтанами взлетала вода от падающих кругом гранат. Белые дымки шрапнелей вспыхивали над понтонами. Румынский берег был закутан розовеющими на солнце пороховыми дымами. Русские батареи отвечали туркам.

У небольшого песчаного острова Адда два парома с орудиями нанесло на песчаную мель. Афанасий видел, как, словно муравьи, копошились на них люди, стараясь шестами спихнуть понтоны на глубокое место. Остров окутался белым дымом ружейной пальбы. Турки били по понтонам. Лошади на понтонах взвивались на дыбы, и падали люди. Вдруг яркое пламя, потом белый дым взметнулись над понтонами и закрыли их от Афанасия. Когда дым рассеялся, уже не было ни понтона, ни людей, ни лошадей — низкий прозрачный дым стлался над водой. Сплывший на глубину понтон был потоплен турецкой гранатой.

— Царствие им небесное! — прошептал ефрейтор Белоногов. — Ночью куда ладнее было. Это же ужас, что такое!

В это время в цепи Афанасия без команды застреляли, и Афанасий оторвался от реки, точно очнулся от тяжелого сна.

Теперь, когда стало совсем светло, было видно, что турки стреляли главным образом из двухэтажной деревянной постройки, где была мельница. Крытая черепицей постройка эта служила опорным пунктом турок. Пули теперь уже не свистали безвредно в воздухе, но часто и резко шлепали по земле подле людей.

«З-зык... З-зык», — резко щелкали они, и пыль поднималась дымком от них. По цепи слышались голоса, непривычные, жалобные.

— Ваше благородие, ногу зашибло, отнести бы куда...

— Смирнова убило...

— Хоть бы перевязаться чем... Мочи нет терпеть — в самый живот...

— Ни встать, ни сесть не могу, отбило совсем...

Красивый Смирнов как лежал в цепи, так и затих, только голову опустил к земле. Страшная неподвижность его тела поразила Афанасия. Под откосом корчился от боли Неладнов. Он расстегнул мундир, и густая темная кровь текла у него из живота.

Тут вдруг осознал Афанасий все значение этих коротких щелчков пуль по земле. Страх подкрался к нему, и ноги и руки у него похолодели. Горизонт вдруг стал узким, и все получило особое значение. Афанасий как сквозь туман видел мельницу, но что было за нею, уже не видел. Точно там уже ничего и не было. Но зато то, что было в цепи, своих раненых и убитых, видел поразительно ясно и четко, как сквозь увеличительное стекло. На небольшом куске земли, шагов пятьдесят в обе стороны от него, замкнулся мир. И теперь Афанасий увидел, что тут были не одни люди его взвода, но тут же лежали рослые гвардейцы, должно быть сводной роты Императорского конвоя, были тут и люди их Волынского 3-го батальона. Как и когда появились эти люди, Афанасий не заметил.

Все эти люди стреляли, отвечая туркам, но, должно быть, было далеко, пули не долетали, и турки оставались все на том же месте, и их цепь обозначалась белым дымом выстрелов и красными фесками.

В этом малом мире, бывшем перед Афанасием, вдруг появлялись и исчезали непонятным образом люди. Было, как бывает на постоялом дворе, где вдруг появятся и исчезнут, придут и уйдут прохожие и проезжие. Кто они? Куда едут? Куда идут? Как зовут их?

Так вдруг увидел Афанасий маленькую фигуру капитана Фока. Откуда тот появился? Почему он здесь? Зачем?

Капитан Фок выпрыгнул вперед цепи, поправил на голове кепи с алым околышем и вынул саблю из ножен.

— Цепи вперед! Ура! — визгливо крикнул он.

Афанасий привычным движением схватился за свисток, свистнул и подал команду:

— Перестань стрелять! Вынь патрон! Цепь, встать! Вперед! Бегом! Ура!

Афанасий побежал за капитаном Фоком. Рослые гвардейцы Гренадерского полка обгоняли их. Афанасий мельком увидел высокого, худощавого, черномазого подпоручика Поливанова, которого знал по Петербургу. Поливанов бежал впереди лейб-гренадеров, вдруг точно споткнулся, упал навзничь, стал подыматься. Афанасий на бегу увидал, что нижняя часть лица и шея Поливанова залиты кровью.

— Алексей Андреевич, вы ранены? — крикнул на бегу Афанасий. Поливанов ничего не ответил и сел на землю.

Сбежали в балочку и стали подниматься по винограднику. Вот и они, турки! Сколько их было, Афанасий не мог рассмотреть. Они были смуглые, ярко блестели зубы из-под усов. Алые

фески, синие куртки, расшитые алым шнуром, — все это было тут, совсем близко и вовсе не страшно. Одни турки бежали назад к мельнице, другие встали и бросились навстречу нашим солдатам. Что-то хряпнуло, кто-то застонал. Как во сне, увидел Афанасий, как Белоногов с размаха всадил турку в живот штык и тот упал, взмахнув руками. Унтер-офицер Филаретов прикладом ударил по черепу турка, послышался странный и страшный звук — будто спелый арбуз треснул — и турок свалился на спину. Каких-то ашкеро́в схватили и повели назад — и все это шло быстро-быстро, почти мгновенно, на протяжении одной какой-нибудь минуты.

И сейчас же залегли. Без команды стали стрелять по мельнице, а она — вот она! — и двухсот шагов не будет до нее.

Все закуталось белым пороховым дымом. Опять стали щелкать пули и раздаваться крики:

- Петрова убрать бы — мучится здорово.
- Ваше благородие, Филаретова убило...
- Семенюку ногу, кажись, чижало.

Стрельба в цепи затихала. Все крепче и крепче прижимались к земле люди. Если бы можно было одною волею заставить войти в землю тело — с ушами ушли бы в нее. Все меньше стреляли: и патронов было мало, и страшно было поднять голову, чтобы прицелиться. Афанасий со страхом почувствовал, что еще какая-нибудь минута, и все поползет назад, вниз в спасительную балочку, в кукурузу. Турецкие пули косили колья виноградников, и страшно было их частое, непонятное и немое падение.

Горизонт зрения Афанасия стал еще уже. Порою у него и вовсе темнело перед глазами. В это время сзади, из спасительной балочки, из кукурузы, о которой со страхом искушения думал Афанасий, послышался знакомый басок генерала Драгомирова. Афанасий не посмел оглянуться, чтобы посмотреть, откуда взялся начальник дивизии, как мог он появиться на этом страшном гиблом месте.

Не повышая голоса, но громко Драгомиров сказал кому-то спокойно, и во вдруг затихшей цепи каждое его слово было отчетливо слышно:

- Так или иначе, надо взять эту мельницу... Вперед, ребята!

Драгомиров сказал это сзади и сказал просто — «надо взять», и каждый понял, что и точно надо.

Снова появился перед цепью маленький Фок и махнул саблей, и его третья рота рванула с гулким «ура» за ним. Побежал со своими людьми и Афанасий, побежали гвардейцы, и неров-

ным потоком, несколькими случайными цепями, а сзади и просто толпой, все подбежали к самой мельнице. Турки скрылись в постройке и заложили двери. Теперь они стреляли сверху, из второго этажа. Не обращая внимания на огонь турок, солдаты старались прикладами выбить двери. В солнечном утре вдруг метнулось кверху ясное и прозрачное пламя. Черный дым повалил от мельницы. Наверху не то кричали, не то выли турки. Пламя трещало и гудело. Сухая старая постройка вспыхнула, как солома. Кто поджег мельницу, наши или турки, — Афанасий того не знал. Теперь кругом ревело русское «ура», откуда-то появилось много людей, и все бежали вперед к новым кручам, к новым изгибам холмов. Навстречу заструились белые змейки частой турецкой пальбы.

Волынцы добежали до отвесного обрыва. Солдаты карабкались на него, помогая друг другу, втыкая штыки в землю и взлезая по ним. Турки стреляли почти в упор сверху.

Афанасий услышал, как отчаянным голосом закричал штабс-капитан Брянов:

— Двенадцатая, голуби! Вперед! Ура!

Брянов обогнал Афанасия. Лицо его было красное, кепи сдвинуто на затылок. Брянов первым стал взлезать на розовый в солнечных лучах утес.

Турки подставили ему щетину штыков.

— Шалишь! — прокричал Брянов. — Наша взяла, братцы, еще маленько вперед!..

И упал, пробитый штыками. Из живота, из груди, через лохмотья изодранного мундира лила кровь. Кусая руку от боли, Брянов хрипло и надрывно кричал солдатам:

— Братцы! Вперед! Вперед! Братцы! Молодцами, двенадцатая!

Двенадцатая ворвалась на утес. Турки побежали...

Запыхавшиеся, измученные, вспотевшие люди залегли по вершине. Турки, отбежав, устраивались на следующей гряде холмов. Снова стихла перестрелка.

Афанасию казалось, что с того времени, как в темноте тихой ночи он спрыгнул с понтона в воду у берега, прошла целая вечность. Он взглянул на часы. Было пять часов утра. Солнце только начинало пригревать — день обещал быть очень жарким.

Теперь, когда тут, подле него, не стреляли, снова горизонт расширился, и Афанасий увидел, что весь их полк длинной чередой алых околышей и погон лежал по только что занятому гребню. Между волынцами часто лежали гвардейцы, а правее,

сколько было видно, все подходили и подходили темные кепи и малиновые погоны, должно быть, и 4-я стрелковая бригада Цвецинского перешла через Дунай. Пушки стреляли с обеих сторон, но снаряды летели, минуя волынские цепи. Все то, что было утром, казалось просто страшным предутренним сном. Раненный в шею поручик Поливанов, и этот милый веселый Фок — «кто носит кепушку на бок, — то штабс-капитан Фок», вспоминал Афанасий полкового «Журавля», и сгорающие, мелькающие в золотом пламени черные тени турок, и Филаретов, бьющий по черепу, и он же, мертвый, неподвижно лежащий, с белыми пальцами, сжатыми для крестного знамения, и Брянов с его хриплым криком: «Двенадцатая, вперед!» — все это уплыло в каком-то тумане, стало казаться не бывшим, но лишь показавшимся. И потом, когда Афанасий вспоминал это утро, все вспоминалось неясно, и как-то неуверенно рассказывал он про бывшее товарищам, точно и не было этого, а только казалось. Все снилось — и вот, проснулся — жаркое летнее утро, холмы в зеленых виноградниках, розовато-серые кручи, пушечная пальба, точно оттеняющая тот праздник, что вдруг поднялся на душе от горделивого сознания: «а ведь мы за Дунаем!»

Но дремотное затишье это продолжалось очень недолго. Турки оправились, возможно, что к ним подошли резервы. Гул артиллерийского огня стал грознее, и вдруг снова запели, зашвистали, зачмокали пули, опять со страшной последовательностью, все приближаясь к цепи Афанасия, стали непостижимо тихо падать срезанные пулями колья виноградников. Опять то тут, то там вздымались струйки пыли от падавших пуль.

«З-з-зык, з-з-зык!.. Пи-ий, п-ий!» — щелкали, свистали и пели пули.

Опять сжался горизонт, сухо стало во рту, и одно было желание врыться в землю, с ушами совсем уйти в нее. Огонь все усиливался. Отвечать не было смысла, «Крнка» не достало бы до турок. Приходилось молча лежать под расстрелом в томительном ожидании, когда пуля хватит по мне...

В затишье, в сознании, что встать невозможно, тут, там стали пятиться назад солдаты и скрываться в обрыве.

— Ты куда?

— Я раненый...

— А ты?

— За патронами, ваше благородие.

Сосущая тоска поднялась на сердце Афанасия. Стало казаться — все потеряно.

Сзади Афанасия, снизу из обрыва, кто-то свежим, спокойным, красивым, барским, картавым голосом сказал:

— Ну-ка, бг'атцы, кто из вас?.. Пг'отяни мне г'уку, помоги взобг'аться. Пачкаться не охота.

Афанасий отполз к кручине и оглянулся. Внизу, на уступе, стоял молодой свитский генерал. Появление его здесь было совсем необычайно. Тут были цепи — солдатские цепи. Тут было самое пекло боя. Люди, в измазанных грязью, пылью, потом и кровью мундирах, с бледными лицами, с лихорадочно-напряженно смотрящими глазами, тут было тяжело, страшно и вовсе не весело и не празднично. Не место тут было свитским генералам, да еще таким, что точно во дворец, на бал пожаловали. А генерал был именно веселый и праздничный. Прекрасно сшитый — «богдановский», опытным взглядом петербуржца, щеголя-гвардейца, определил Афанасий, — длинный темно-зеленый сюртук, такой новый, точно сейчас от портного, прекрасно сидел на высоком, стройном генерале. Серебряные погоны с вензелями, свитские аксельбанты, новенькая белая фуражка, в петлице Георгиевский крест на свежей ленточке, шарф с кистями, сабля, — все было чистое, почти незапыленное. Красивые рыжеватые бакенбарды были тщательно расчесаны, пушистые усы лежали над детскими пухлыми губами, ясно смотрели веселые большие глаза.

Афанасий протянул руку генералу, тот крепко обжал ее маленькой рукой, туго затянутой в перчатку, и легко вскочил на гребень. Афанасий почувствовал тонкий запах одеколона и хороших духов.

— Тут стреляют, ваше превосходительство, — сказал Афанасий. — Надо лечь.

— Э, милый мой, на войне всегда стг'еляют. На то и война. Генерал спокойно прошел к цепи, стал между лежащих солдат, расставил ноги в щегольских высоких сапогах с прибитыми к каблукам мельхиоровыми шпорами, не спеша вынул бинокль из футляра и стал смотреть на турок. Пуля щелкнула в землю у самого его каблука — генерал не шелохнулся.

Вся солдатская цепь смотрела теперь на генерала, не сводя с него глаз.

— Да что он, нешто заговоренный? — прошептал лежавший рядом с Афанасием младший унтер-офицер Дорофеев. — Ить как стоит-то! Монамент!

— Братцы, вот это так генерал,— прошептал, приподнимаясь на локте, белобрысый Малахов и сейчас же скорчился от боли — пуля пробила ему плечо.

Генерал окончил свой осмотр, отошел несколько назад и сказал кому-то, должно быть следовавшему за ним, но не решавшемуся выйти на открытое.

— Штабс-ротмистр Цуриков, пригласите ко мне сюда генералов Иолшина и Цвецинского. Скажите: генерал Скобелев с приказанием от генерала Драгомирова.

— Скобелев!.. Скобелев!..— понеслось по цепи.— Вот он какой, Скобелев!

— Видать, дело понимает.

— С таким не пропадешь.

— Теперь — шалишь, турки!

— Скобелев!

Скобелев повернулся снова к цепи и, как будто тут не свистали пули, не лежали убитые, не стонали и не корчились раненные, прошел по цепи и спросил молодого солдата:

— Первый раз в бою?

— Первый, ваше превосходительство. Не доводилось раньше.

— Пиф-пафочек не боишься?

Солдат, лежа у ног генерала, молча улыбался. Пули свистели и рыли землю кругом. Неслышно падали скошенные ими жерди виноградников.

— Ничего, брат. Та, что свистит, пролетела уже, не ужалит. Бояться нечего.

— Чего ее бояться-то,— смущенно сказал солдат.— Все мы под Богом ходим.

— Верно, братец. Двум смертям не бывать, а одной не миновать.

Солдат молчал. Его сосед ответил за него генералу:

— Это точно, ваше превосходительство.

Скобелев вышел навстречу подходившим к цепям генералам.

Иолшин вышел на гребень, под пули, спокойно-нахмуренный. Старый кавказский генерал, он знал, что такое огонь: когда надо — тогда надо, а когда не надо, то зачем? — говорило его суровое, загорелое темное лицо.

Элегантный, в свежем стрелковом мундире, Цвецинский был наигранно спокоен. Он произвольно помахивал рукой и смотрел то на своих стрелков, густыми цепями лежавших впереди, то на турок, бывших совсем недалеко.

Свита, начальники штабов, ординарцы и штаб-горнисты остались внизу, в мертвом пространстве.

— Вот, ваше превосходительство,— звучно и красиво картавя и так спокойно, точно это было не на поле сражения за только что перейденным Дунаем, а на маневренном поле под Красным Селом или в кабинете над разложенной картой, говорил Скобелев,— нам отсюда все хорошо видно и все ясно. Вон там,— Скобелев рукой в белой перчатке показал вправо,— это Систовские высоты. Вы видите — какая местность. Виноградные сады — между ними глубокие рвы, каменные стенки... Во все стороны выются узкие тропинки. Совсем траншеи.

Точно уже был там Скобелев, точно все это сам видел и прошел. Таково было свойство этого человека — посмотрел в бинокль и увидел все до последней мелочи.

— Как видите, там полно турок! Так и копошатся синие куртки их ашкеров. Так вот,— генерал Драгомиров приказал второй бригаде генерала Петрушевского взять эти высоты. Ваше превосходительство,— повернулся Скобелев к Цвецинскому,— с вашими стрелками должны содействовать этому отсюда, атакой во фланг... Вашим,— повернулся Скобелев к Иолшину,— волынцам и минцам оставаться на занятой вами позиции и сковать турок на их местах. Ваше превосходительство,— снова повернулся Скобелев к Цвецинскому,— вы ничего не будете иметь против того, если я поведу ваших стрелков?

— Ах, пожалуйста, ваше превосходительство,— любезно сказал Цвецинский.

Вся группа генералов пошла вниз к ожидавшей их свите.

XIII

— Ваше превосходительство, колонны генерала Петрушевского поднимаются на Систовские высоты. Прикажите батальонам резерва подойти ближе.

Скобелев отдал приказание генералу Цвецинскому, и сам Цвецинский, и никто в его свите не удивился этому. То, как вел себя здесь, на поле сражения, Скобелев, как ходил он по цепям, не обращая внимания на пули, дало ему это право еще более, чем его свитские аксельбанты. То, что про него говорили раньше: «халатников бил в степях — пусть попробует настоящей войны», сразу было оставлено и забыто. «Скобелев приказал»... «Скобелев поведет» — в этих словах уже было обаяние имени, была магия победы.

Сопровождаемый каким-то случайным ординарцем, Скобелев, не имевший никакого определенного места, бывший, как и Порфирий, в «диспонибельных» при генерале Драгомирове,— легкой походкой спустился в балку, бережно, боясь замочить свои сапоги, перешел через ручей и стал подниматься на уступ, где густо цепями залегли стрелки. Несколько сзади него шли Цвецинский и начальник штаба с ординарцами и штаб-горнистом. Всем своим видом Цвецинский показывал, что не одобряет и не сочувствует этому ненужному риску.

У стрелков было много жарче, чем у волынцев. Они крепко сцепились в огневом бое с турками и подошли к наскоро накопаным турками окопам шагов на двести. Их цепи как котлом кипели непрерывной стукотней выстрелов. Пороховой дым низко стлался над виноградными садами и закрывал временами турецкую позицию. Стрелки из своих берданок стреляли метко, и турецкий очень сильный огонь был не так губителен, как у волынцев. Пули больше свистали поверху. Турки боялись высунуться, чтобы прицелиться, и стреляли вверх, не целясь.

Артиллерия помогала туркам. Позади стрелков постоянно раздавались грозные громы разрывов гранат; клубы порохового дыма, смешанные со столбами пыли и земли, взлетали облаками кверху. Тяжелые осколки свистали и реяли в воздухе. Тогда все приникало к земле в стрелковых окопах. Огонь в эти мгновения становился слабее. Иногда неожиданно граната упала в самую цепь, и тогда точно ахала ужасом земля и люди долго лежали, уткнувшись лицом в землю, а потом слышались жалобные стоны и недовольные крики: «Носилки!»

Скобелев стоял над этой цепью, и так же, как волынцы, так и тут стрелки 16-го батальона смотрели на него с жадным любопытством и восхищением.

Цвецинский со свитой остановился внизу за уступом, где было потише и где ни пули, ни осколки не могли зацепить.

— *Cela ne prendra jamais fin*¹,— сквозь зубы сказал сам себе Скобелев и повернулся к генералу Цвецинскому.

— Ваше превосходительство! — крикнул он.

Цвецинский понял Скобелева без слов. Он только оглянулся на стоявшего сзади него штаб-горниста, и тот схватил серебряный горн. Резкий и сухой звук сигнала «Предварение атаки» раздался в поле и на мгновение заглушил неистовую стукотню ружей.

¹ Так можно без конца продолжать (фр.).

По всей стрелковой линии залились свистки взводных и стрельба сразу стихла.

Стрелки лежали на боку и смотрели на взводных.

— В атаку! — крикнул Скобелев.

— В атаку!.. В атаку!.. Цепи, встать!

Впереди виноградные колья и лозы падали, точно скошенные невидимою косою, и падение их было так часто и непрерывно, что казалось невозможным встать и идти туда. Гранаты и шрапнели рвались над виноградным полем.

Цепи продолжали лежать.

Гонимый легким ветром пороховой дым сошел в сторону, и близкими показались алые фески и смуглые лица турок. Близкими и вместе с тем недостижимыми.

Тогда перед цепями появилась фигура высокого статного генерала в темном сюртуке и белой фуражке. Легко, быстро и свободно, презирая выстрелы по нему, шел этот генерал по виноградникам. Он вынул из ножен саблю и громко, красивым баритоном крикнул:

— Стг'елки, впег'ед!..

Мгновенно цепи вскочили. Держа ружья наперевес, с могучим, страшным «ура» стрелки бросились через виноградники, обгоняя генерала. К ним сейчас же примкнула музыка духового оркестра: батальонные резервы с развернутыми знаменами быстрым «стрелковым» шагом настигали Скобелева, все еще шедшего позади цепей. Все смешалось в стремительном порыве вперед.

Турки не приняли штыкового боя и бежали.

XIV

Было два часа дня. Волынцы продвинулись вперед. Турки отходили перед ними. Все выше и выше по уступам гор поднимались волынцы и, наконец, достигли вершин. Перед ними широко развернулась вся Систовская долина.

Там кипел теперь страшный бой. Пушки били непрерывно, и уже в самой частоте и непрерывности их огня чувствовалась растерянность поражения.

— А видать, наша берет, — сказал сосед Афанасия и сел на землю.

— А что там, братцы, делается, страсть!..

Турки уже более не стреляли по волынцам, и в цепях зашевелились. Кто сел, кто даже и встал и напряженно смотрел и прислушивался к тому, что делалось под Систовом.

— Глянь, а гляньте, что делается? Стрелки пошли... Слышьте, музыка.

Легким ветром доносило певучий, красивый стрелковый наступный марш.

— А идут-то! Идут! Как на ученье!..

— «Ура» слышно, значит, пошли уже по-настоящему...

«Ура» все гремело и гремело не переставая, перекатываясь все дальше и дальше. Потом раздались залпы: определилась наша победа. Еще и еще прилетела граната и лопнула в лощине, где светлой полосой тянулось широкое шоссе, и все стало стихать.

— Ваше благородие,— обратился к Афанасию солдат,— гляньте, наши казачки в самый Систов входят. Знать, ушли оттеля турки.

Радостное, ни с чем не сравнимое чувство победы теплым током залило сердце Афанасия, и сразу вместе с ним явилось и нестерпимое желание есть и спать. Он тут вспомнил, что и точно не спал всю ночь, ничего со вчерашнего вечера не ел и не пил, и вот уже солнце нового дня перевалило далеко за полдень и невыносимо печет, нагоняя дремоту. Афанасий растянулся на земле, надвинул кепку на брови и сейчас же забылся в крепком и покойном сне.

Спал он недолго. Сквозь сон он услышал, как совсем подле него кричали:

— Подпоручика Разгильдяева к командиру полка!

Афанасий встал, протер глаза, обтер платком разомлевшее от сна и солнечного зноя лицо, вскочил на ноги, поправил кепи, стряхнул от земли мундир и шаровары и огляделся. Шагах в ста от него стоял полковник Родионов и сзади него жалонеры полка с пестрыми ротными и батальонными значками.

Афанасий окончательно стряхнул с себя сон и, придерживая рукою саблю, побежал к полковому командиру.

— Подпоручик Разгильдяев, забирайте жалонеров и ступайте в Систово,— сказал ему Родионов.— Там разыщите штаб дивизии и узнайте, что делать полку, куда ему теперь идти? Если укажут ночлег — повесьте бивак жалонерами.

— Слушаюсь,— бодро ответил Афанасий.

Усталость точно слетела с него. Он скомандовал жалонерам и быстрым шагом пошел вниз к шоссе.

Как только Афанасий по Тырновскому шоссе стал приближаться к Систову, ему стало ясно — победа! Невозможное стало возможным. Русские войска окончательно перешли через Дунай...

У входа в Систово была такая толчея людей, что Афанасию пришлось протискиваться через нее.

У колодца болгарки непрерывно черпали воду. Скрипело по-мирному деревянное колесо колодца, мокрое ведро подхватывали десятки рук, и запекшиеся, воспаленные, запыленные губы жадно приникали к студеной воде. Румяные, чернобровые лица болгарок под пестрыми платками улыбались, сверкали белые зубы.

Донцы в белых фуражках с назатыльниками, в расстегнутых мундирах поили у колоды запотелых, с прилипшею пылью на боках и крупах приморенных лошадей. Пики были прислонены к плетню, на остриях их пестрели букеты цветов.

Людской гомон шумел по улицам.

Вдруг загрохотали барабаны и грянула музыка. Болгарки в праздничных платьях, в монисто из монет поднимали маленьких детей над головами, чтобы те могли разглядеть «русов»-освободителей. У садовых плетней женщины и старики вынесли бадьи с водой и жбаны с вином, корзины с большими ломтями белого пшеничного и желтого кукурузного хлеба и кусками наскоро нажаренной баранины. Девушки и дети кидали солдатам букетики и веночки, стараясь накинуть их на штык.

Старо-Егерский марш гремел, эхом отдаваясь по улице. Житомирцы в колонне по отделениям, круто подобрав штыки, входили в Систово. Знамя под золотым копьём колыхалось над штыками. Болгары снимали шапки с голов. Все громче звучали голоса приветствий:

— Да живей Царь Александр!

— Добре дошли!

Внезапно радостно и празднично грянул хор песельников:

— Шуми Марица окровавенна,
Плачи вдовица люто ранена.
Напред да ходим, бойницы милы,
Динав да бродим с сички сили..
Марш, марш, с генерала наш!..
Раз, два, три! Марш, войницы!

Женские голоса болгарок звонко вторили победному гимну:

Марш, марш, с генерала наш!..
Раз, два, три! Марш, войницы!

— Ура-а-аа!..— загремело в толпе жителей.

— Живие!.. Живие-е-еее!!

Афанасия с его жалонерами сначала притиснули к садовым плетням, потом подхватили общим солдатским потоком и понесли к городской площади. Вокруг мощно гремел хор:

— Юнака донски нам е водитель,
С препорец левски — вождь победитель.
Виждте, десноти, генерала наш,
Чуйте, запойми Николаев марш!
Марш, марш! С генерала наш!
Раз, два, три! Марш, войницы!

Вдруг остановились, сорвали ружья «к ноге», сжались в колонне. Хор смолк, солдаты снимали кепи, вытирали вспотевшие лбы, шумно сморкались.

Афанасий протолкался через колонну на площадь. У церкви с белыми жестяными куполами стояло духовенство в высоких шапках и в золотых ризах. Крестный ход с иконами, и хоругвями вышел навстречу войскам. Седовласый и седобородый, смуглый болгарин в длинном черном сюртуке — систовский старшина — говорил речь генералу Петрушевскому, пешком стоявшему против него. Девочка в расшитой пестрыми нитками рубашке и пестрой юбке поднесла генералу громадный букет лилий и роз.

— Да что вы, право,— смущенно говорил Петрушевский.— Да я же не главный здесь начальник. Это же надо генералу Драгомирову.

— Генерала Драгомирова тоже,— сказал старшина.

Священник выдвинулся с крестом, глухо, в унисон, запели певчие. В открытые двери храма за священником и Крестным ходом входил Петрушевский с букетом в руках...

Раздалась команда. Ружья взяли «вольно» и тронулись дальше. По площади раздавались крики:

— Живие Царь Александр!

— Ура!

Загрохотали барабаны. Стоголосый хор запел:

Марш, марш, с генерала наш!
Раз, два, три! Марш, войницы!

Афанасия с войсковым потоком проносило через площадь. Тут он увидел своего отца и направился к нему.

— Афанасий! Жив? Здоров? Нигде не зацепило? Но голоден, конечно? А? Каково? Орлами перелетели через Дунай!

Порфирий обнял Афанасия и, обернувшись к стоявшим на крыльце штабным офицерам, сказал:

— Мой сын!.. С первым рейсом переправился через Дунай... Молодчага!

В расстегнутом у шеи, насквозь пропотелом сюртуке с бляхующимися аксельбантами, сразу дочерна загорелый, запыленный, с измятыми грязными бакенбардами, — столько раз они были в пыли, а потом мокли в воде, когда Порфирий пил, — Порфирий сиял счастьем победы.

— Ты и представить себе не можешь, Афанасий, что твоему отцу пришлось проделать! Не мальчик!.. Не прапорщик! По этим чертовым горам, колдобинам, виноградникам, везде — пешком!.. Подумай, твой отец — пешком!! Наших лошадей когда-то еще переправят...

Завтра, и то дай бог! Ты зачем здесь?

— Меня послал командир полка узнать, где стать полку.

— Генерала Драгомирова еще нет здесь. Ну, да это мы сейчас тебе узнаем. Идем со мной.

В большой, просторной хате толпились офицеры — колонновожатые. На столе, накрытом холщовыми полотенцами, были наставлены тарелки с курицей, порезанной кусками, с бараниной, салом и хлебом, стояли тяжелые деревенские стеклянные стаканы с розоватым, мутным вином, похожим на уксус.

Немецкий генерал Вердер, военный агент, высокий, тощий, в длинном сюртуке, стянутом в талии, в черной кожаной каске с прусским орлом, в монокле, держа одной рукой полковника Гарновского под локоть, а в другой стаканчик с вином, говорил по-французски, отчетливо и резко выговаривая слова:

— Je crains que la facilite avec laquelle-vous avez effectue le passage du Danube ne vous entraine dans des operations risquees et ne vous apporte des revers¹.

Порфирия как бичом стегнуло, он и про сына забыл. Он вмешался в разговор:

— Excellenz! — сказал он, — wir müssen jetzt — vorwärts, vorwärts²!

¹ Я боюсь, как бы легкость, с которой вы совершили переправу через Дунай, не увлекла вас на рискованные операции и не принесла вам разочарования (фр.).

² Ваше Превосходительство!.. мы теперь должны — вперед, вперед, вперед! (нем.)

Вердер — он был выше ростом Порфирия, — расставив ноги, снисходительно, сверху вниз посмотрел через монокль на Порфирия.

— Ach, so! — сказал он. — Meinen Sie?¹

— Aber natuf lich².

— Es ist kaum glaubhaft, dab Sie als Stabs-offizier so sprechen³.

— Vorwärts! bis Konstantinopol!⁴ — восторженно прокричал Порфирий.

— Ach, so! Na, ja⁵!

Вердер засмеялся и выпил вино.

— Viel Glück!..⁶

Порфирий торопливо схватил со стола стакан с вином и залпом осушил его.

— За успех русского оружия! — крикнул он и пошел от Вердера устраивать дело Афанасия.

В открытые окна неслись солдатские песни, звуки музыки, барабанный бой и топот тысячи ног. Подольцы проходили за Систово, чтобы стать там биваками и выставить сторожевое охранение.

Когда Афанасий, получив нужные указания, вернулся к полку, он нашел его свернутым в резервную колонну. Ружья были составлены в козлы. Усталые, измученные, голодные солдаты лежали за ружьями и спали крепким сном.

Солнце спускалось за горы. Серебряным блеском в лощине горели купола систовских церквей. Там звучала музыка. Должно быть, туда входили только что переправившиеся части 9-й пехотной дивизии.

Молодая луна, светлая, бессильная и прозрачная, чуть проявилась на потемневшем небе. По шоссе трещали колеса. Длинным транспортом тянулись белые лазаретные фургоны и между ними тяжелые болгарские арбы. Свозили раненых и убитых.

Теплая ночь спускалась над Дунаем. Там теперь смело и непритаенно стучали топоры. Понтонеры и саперы строили мосты.

Где-то недалеко от волынцев загорелся небольшой костер, стали видны в нем потреноженные лошади, казачьи пики. Два голоса оттуда согласно и стройно пели:

¹ Ах так? Вы думаете так!.. (нем.)

² Ну конечно! (нем.)

³ Вы офицер Генерального штаба — и вы так говорите. Невероятно (нем.).

⁴ Вперед! до Константинополя! (нем.)

⁵ Ах так... Н-ну, да... (нем.)

⁶ Желаю счастья (нем.).

— На речушке было Дунаю... Дунаю!..
Перевоз Дунюшка держала... держала!..
В роще калина, в темной не видно,
Соловушки не поют...

Было что-то грустное и в то же время томительно-сладостное в их словно тающих в вечернем воздухе голосах...

XVI

В эти месяцы войны и русских побед Софья Львовна Перовская случайно, на юге, познакомилась с молодым социалистом Андреем Ивановичем Желябовым. Она слышала, как тот говорил на собраниях кружков; разговорила с ним и увлеклась им. Они оба тогда искали, оба шли как бы в потемках, спорили и ссорились с другими революционерами — «подпольщиками», оба не имели никакой определенной программы. Роман Чернышевского «Что делать?» не мог быть программой.

Самолюбивая и властная, — в ней всегда где-то внутри, потаенно сидело, что она «генеральская дочь», что она Перовская, очень чувственная, но до сего времени прекрасно владевшая собою, Перовская с первого взгляда почувствовала, что нашла человека.

Такой был цельный Андрей Иванович! Такой и физически, и душевно прекрасный. Он отвечал ее идеалам, как бы создан из неопределенных мечтаний о настоящем мужчине. Софья Львовна шла в народ, чтобы служить народу — Желябов сам был из народа. Сын крепостного крестьянина, рабом рожденного, и сам был родившийся рабом. Он был мужик! А когда смотрела на него Перовская, — высокого, стройного, в длинном черном сюртуке, — она думала: «Какой же он мужик?» Густые темные волосы были расчесаны на пробор, и одна черная прядь все упрямо падала на лоб. Мягкие усы, небольшая борода, тонкие черты иконописного лица и волевые острые глаза. У Желябова были маленькие, совсем не рабочие руки — а как он работал в поле! В Желябове Перовская нашла то самое, что никак не могла воспитать в себе. Она работала в деревне как фельдшерица, прививала оспу ходила по тюрьмам, она совершала отчаянные «подвиги», была судима, ссылаема — но она всегда оставалась барышней, генеральской дочерью. И крестьяне и на суде к ней так и относились. И это оскорбляло ее.

Желябов, как хамелеон, менялся в зависимости от той среды, куда он попадал. Он репетиторствовал у южного помещика Яхненко и был в обстановке богатого и хорошо поставленного дома таким приятным и образованным человеком, что увлек дочь Яхненко — Ольгу Семеновну, и там забыли о происхождении Желябова и охотно приняли его в свою среду и выдали за него замуж Ольгу. Жена Желябова была музыкальна, она играла на рояле, и Желябов с нею пел романсы и готовился стать помещиком... Но приехал на свой отцовский надел и стал так работать и жить, точно никогда не расставался с избою и сохой. Все в нем изменилось — говор, манеры. Крестьяне приняли его как своего, и Желябов легко и просто вел пропагандную работу среди них. Два года он провел в деревне, но понадобилось попасть в офицерскую среду Артиллерийского кружка в Одессе, и никто не сказал бы, что этот прекрасно говорящий и образованный молодой человек — простой крестьянин.

Перовская, сама властная, сама желавшая всех подчинять себе, в полной мере подчинилась Желябову. Ей стало казаться, что Андрей Иванович знает то, что ей надо. Он умел всегда доказать, почему то или другое нужно, а если его не понимали, он просто говорил: «так надо», и ему все верили — верила ему и Перовская.

Суханов рассказал Софье Львовне о Вере Ишимской, такой же барышне, какой была и сама Перовская, и Софья Львовна спросила Желябова:

— Как вы думаете, Андрей Иванович, не привлечь ли в наш кружок и такую барышню? Она хорошей семьи. Я слышала про нее — она очень честная, она нас никогда не выдаст... И она так же страдает за народ, как страдаю я, как страдаем мы все...

Веселые огни заиграли в глазах Желябова.

— Что же, София Львовна, — сказал он. — Нам всякие люди нужны, и люди вашего круга нам, пожалуй, особенно нужны. Они своим влиянием прикрывают нас. Они оправдывают нашу работу. Нам нужно, чтобы не одно крестьянство шло с нами, но чтобы с нами шло и дворянство. Это ухудшает положение режима. Что же? Попробуйте Ишимскую, по душам поговорите с нею, а там — посмотрим. У нас, надо правду сказать, женщины работают лучше и смелее мужчин...

Опять Желябов посмотрел на Перовскую, и та вспыхнула от восторга.

В первый же свой приезд в Петербург Перовская поручила Суханову передать Вере, что она ждет ее.

Знойным летним утром, пешком, в старенькой мантилье, пробиралась Вера в Измайловские роты. Она шла к «нелегальной», к какой-то новой, еще не знаемой Соне Перовской, которая носила уже не свое имя, которая была под арестом, бежала от полиции, шла к «революционерке»! И Вере все казалось иным, сама она себе казалась другой, до подвига было еще далеко, но что-то было новое, и это новое заставляло ее все видеть в ином свете.

На Загородном проспекте, у бульвара, шедшего вдоль семеновских казарм, сохли тополя. Акации свесили длинные стручья. На твердом, убитом кирпичом бульваре играли дети. Няньки сидели с солдатами на низких скамейках без стенок и лущили семечки. В душном воздухе пахло каменноугольным дымом с царскосельской дороги. От Введенского канала несло гнилой водой и рыбой.

За Обуховской больницей пошли сады, деревянные заборы, маленькие деревянные дома. Стало глуше. Пыльны были широкие, не сплошь замощенные улицы, меньше попадалось прохожих. Местами шла стройка новых кирпичных домов, были поставлены «леса», заборы, каменщики поднимались по полому настилу, несли на спинах кирпичи. Пахло известью, свежей замазкой, кирпичной пылью.

Перовская жила во втором этаже большого, серого деревянного дома. На лестнице, покрашенной желтой охрой, с деревянными перилами, у квартирных дверей стояли высокие кадки с водой. Посередине площадки были двери общих неопрятных уборных. Пахло пригорелым луком, кошками, жильем — не розами пахло.

Ничего этого Вера не замечала и не ощущала. Она шла к «революционерке», шла к той, кто ходил в народ, и это все так и должно было быть.

Вера позвонила в дребезжащий колокольчик на проволоке и, когда дверь открылась, тихим голосом спросила Марину Семеновну Сухорукову.

— Я самая и есть, — весело ответила молодая простоволосая девушка с остриженными косами и небольшими серыми глазами. — А вы — Вера Николаевна Ишимская? Прошу пожаловать.

От прежней молоденькой, хорошенькой девушки, какую помнила Вера по балам, немного осталось. Мелкие черты лица огрубели, скулы выдались, маленькие, узко поставленные гла-

за смотрели на Веру напряженно. Стриженные волосы очень изменили и опростили лицо. За годы революционной работы сильно изменилась Перовская. Она была опрятно, но и очень просто одета. Горничные в доме Разгильдяева одевались много лучше. Светлая с черными цветочками ситцевая блузка была вобрана в юбку и подпоясана широким черным кушаком с простою пряжкой.

— Пожалуйте, пойдете ко мне. Мне Николай Евгеньевич много говорил про вас, да ведь мы и раньше встречались,— улыбаясь, сказала Перовская.

Улыбка скрасила ее некрасивое лицо.

В спальне Сони, куда они пришли, было чисто и аккуратно прибрано. Две железные кровати стояли вдоль стен, ситцевая занавеска висела на окне. На висячей этажерке лежали книги. На столе валялись газеты.

В комнатах был тот жилой запах, присущий летом деревянным густо населенным домам без водопровода. «Мещанский» запах — определила его Вера, но и запах подходил к той «нелегальной», к кому Вера пришла.

— Ну, что же, побеседуем,— сказала Перовская, приглашая Веру сесть на простой соломенный стул.— Все мы с этого начинаем. Обнюхаемся, как говорит Андрей Иванович. Вот так — познакомишься, поговоришь с хорошим человеком, и яснее и веселее станет жить... Откроются горизонты. Книга того не дает, что дает живая беседа. Слово лучше учит. А потом и пойдешь за этим человеком. До конца поверишь ему.

Вера смущенно смотрела на две одинаково постланные, накрытые простыми серыми одеялами кровати.

— Вы не одна живете, Софья Львовна? — понижая голос, спросила Вера.

— Сейчас одна... Это для Андрея Ивановича, когда он сюда приезжает.

Вера смутилась и покраснела. Перовская заметила ее смущение.

— Когда работаешь вместе и во всем единомышлен, так естественно, что живешь вместе общей жизнью. В этом прелесть свободы.

— Вы... вышли замуж?

— Нет. Андрей женат. Он добивается развода, но не для себя, а для жены. Но жена не дает ему развода. Да это нам и не нужно. Мы люди свободные, у нас нет предрассудков.

— Но как же? Брак?..

Перовская сухо засмеялась.

— Ни я, ни Андрей в Бога не верим. Для нас — Бога просто нет. Значит, нет и таинств, нет ни церкви, нет и попов.

Перовская замолчала, Вера тихо сидела и ждала, что скажет дальше эта смелая, необыкновенная девушка.

— Так вот, Вера Николаевна, — начала говорить Перовская. — Скажите, что же больше всего волнует вас? Какие «проклятые» вопросы встали перед вами и мучают вас, что привело вас из вашей золотой клетки на страдный и бедный путь революционера?

— Ах, милая Софья Львовна, — так о многом, многом мне нужно расспросить вас! Так все для меня вдруг как-то осложнилось. Ну, вот, хотя бы сейчас... Война... Русские войска перешли через Дунай. Везде повешены флаги, идет народное ликование.

— Народное ли? — тихим голосом вставила Перовская.

— Горят газовые звезды и императорские вензеля. Пушки палят с крепости. На спичечных коробках портреты героев. Имена Скобелева, Драгомирова не сходят с уст. Лубочные картины... Иллюстрации Брожа...

Вера говорила все это быстро, сразу, задохнулась, смутилась и замолчала.

— Я слушаю вас, Вера Николаевна. Что же дальше? Иллюстрации Брожа...

— И корреспонденции Суворина в «Новом Времени», Крестовского в «Правительственном Вестнике», Немировича-Данченко, — а более того письма моих дяди и кузена — везде восторг победы, преклонение перед героями войны и особенно перед Скобелевым. Я теряюсь. Скобелев!.. Скобелев!.. Я спросила дедушку. В нем есть старческая мудрость. Я его уважаю. И вот что он мне вчера сказал: «Россию кланут за самодержавие. В России, мол, касты... Все заволокло дворянство, простому человеку хода не дают... Да герои-то наши откуда? Из народа... Скобелев! Сын генерал-адъютанта и внук солдата! Солдата!! Это не дают хода? А? Сестра его, к слову сказать, писаная красавица — княгиня Богарне — в свойстве с герцогами Лейхтенбергскими, в родстве с Императором Австрийским и Наполеоном!.. Внучка солдата!.. Сдаточного, крепостного раба!.. Да благословлять надо такое рабство, такое самодержавие...» — вот что сказал мне вчера дедушка и что я дословно, до самой интонации его голоса, запомнила. И меня это так смутило. Вдруг показалось мне, что весь прошлый год мучительных дум, колебаний, сомнений, исканий — понапрасну, что жизнь проста и не сложна, что не нужно задумываться, но нужно жить вот этою старою мудростью...

— Плыть по течению,— перебила Веру Перовская.— Мы учим плыть против течения.

— А я думала,— не слушая Перовской, продолжала Вера,— надо вернуться к исходной точке... К Казанской!.. К Государю, к царской России! С ними победы, слава, великое и честное дело освобождения славян... С ними — подлинная свобода!

— И я, Вера Николаевна, пережила такие же колебания, такие же сомнения... Но это потому, что мы не видим иной стороны медали. Освобождение славян?.. Свобода от царя?.. Все это приснилось вам. Это дедушкина сказка... Скобелев — наемная царская собака, крестьянский выродок, пошедший служить царям за вензеля, аксельбанты, за сытый кусок хлеба... Победы... Слава... Свобода... Что вы, Вера Николаевна! В армии и кругом нее идут невероятные хищения... Интенданты и подрядчики наживаются на крови русского солдата. Отпускают сапоги с картонными подошвами, а себе строят каменные дома. Корреспонденты об этом не пишут, художники этого не зарисовывают... Ваш дедушка вам этого не расскажет... Командиры необразованные дураки, не понимающие военного дела...

— Софья Львовна. Перешли Дунай!.. Победы!..

— Пойдите, подождите... Скобелев... Авантюрист. Ему — победы. Ему слава. На прошлой неделе я ехала в Петербург. Мимо меня тянулись длинные поезда красных товарных вагонов, наполненных изможденными, искалеченными солдатами. Окровавленные повязки, бледные лица. Безрукие, безногие... Такое горе, какое описать невозможно! И тут же рядом — синие и малиновые вагоны, бархатные обивки, шампанское, полуобнаженные женщины, штабные офицеры и интенданты, смех, шутки, веселье... разгул... Вот что такое война, о которой вам не напишут никакие корреспонденты. Война — это неурядица, неразбериха, бестолочь, беспокойная суматоха.

— Но Дунай, Софья Львовна, Дунай!..

— Да, перейден. Что из того? В обществе — недовольство. Флаги вешает полиция, а не народ. Дворники зажигают плашки, а по рукам ходит стихотворение крепостника Некрасова, который умеет подладиться к общественному настроению. Вы знаете его?

— Нет.

— Так вот слушайте:

Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя,
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя,

Увы! Утешится жена,
И друга лучший друг забудет,
Но где-то есть душа одна:
Та — век, до смерти помнить будет.
То — слезы бедных матерей.
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей...

Перовская с чувством прочла стихи. Синевато-серые глаза ее побледнели и стали прозрачными, в них появилось то напряженно-тупое выражение, которое видела Вера тогда у молящихся подле иконы Казанской Божьей Матери. Только у тех сквозь пелену напряженности светились вера и любовь — здесь была страшная, лютая ненависть.

— В дворянстве земском, слышите, Вера Николаевна, в дворянстве поднимается оппозиционный дух, готовят адреса Государю с требованием конституции. В Киеве уже образован «конституционный кружок». Мы переживаем времена декабристов. Чтобы спасти Россию, нам не воевать за славян нужно, но перейти к политической работе...

— Да, я понимаю вас. Вот этого я и хотела... Работать... Вести политическую работу...

— Слушайте, Вера Николаевна, я не хотела этого вам говорить. Скобелев... Что Скобелев? Герой — это товарищ Андрей! Это подлинный герой!

Перовская замолчала. В комнате было тихо. Рядом, на кухне, громко тикали часы. Душно было в спальне. Сквозь запыленные окна с двойными, не снятыми за лето рамами был виден немощеный двор, высокий деревянный забор, за ним строящийся дом, лабиринт высоких деревянных лесов. По ним ходили люди, и ровно, методично, наводя тоску на душу, стучал по камню железный молоток.

Так промолчали они обе долго.

Медленно и размеренно, тихим голосом начала Перовская:

— Мы видим роскошь, красоту, величие, славу России. Все это создали императоры. В детстве гувернантка водила меня по Петербургу. Императорский Эрмитаж с его удивительными картинами, с его мраморной лестницей, где от ее величины, ширины и вышины голова кружится...

Императорские дворцы; одетая в гранит Нева! Мне говорили, что нигде ничего подобного нет. Соборы и митрополит в

карете шестериком — лошади серые в белых попонах... В Москве мне показывали Успенский собор, собор Василия Блаженного — цари создали все это... Куда ни пойдешь — красота, роскошь! Грановитая палата, Кремль! Цари строили... А там — Киев, мать городов русских. Харьков, Нижний Новгород, монастыри, обители — все устроено, создано и украшено русским гением. У нас лучшие в мире опера и балет. А какая литература! Пушкин, Лермонтов, Гоголь... А я, Вера Николаевна, потихоньку читала Добролюбова и Писарева, восхищалась Белинским, прочла «Что делать?» Чернышевского и... ушла из дома... пошла в народ... И вот тогда я увидела... Глаза открылись у меня... Роскошь городов, парков, помещичьих усадеб, вся наша так называемая культура, которой мы так гордимся, стала мне противна. Вера Николаевна, в Курской губернии, как во времена Гостомысла, — курные избы!.. Грязь, вонь, дым ест глаза. В избе с людьми — телята, куры, и тут же в этой грязи копошатся вшивые, в паршах дети!.. Десять веков стоит Россия, — а крестьяне как были нищими, дикими и грязными десять веков тому назад, такими же и остались.

— Их теперь освободили.

— Освободили, — с глубоким презрением сказала Перовская. — А что переменилось? Та же нищета, грязь, тараканы, клопы, вши и бедность. Люди, питающиеся черным хлебом и водой, иногда кашей, только по праздникам мясом, люди неграмотные, не знающие ничего — разве это народ? Это — нация? Провозгласили «земля и воля». Это хорошо, это шаг вперед. Но мы пересматриваем это решение. Нам нужна не конституция и уже не республика нам нужна. Нет, мы не повторим ошибок декабристов. Нужно дать волю народу. Не знаю, как это выльется у нас. Нам мешает война. Победы нам мешают. Скобелевы!.. «Народные» герои! Надо ждать. Мы хотим, чтобы была народная воля! Воля народа!

— Софья Львовна, вы сами сказали: темный, невежественный, грязный, дикий народ. Такой, как был при Гостомысле. Не думаете вы, Софья Львовна, что такой народ не сможет, не сумеет использовать своей воли? А не приведет это к анархии, к пугачевщине?

— Мы поднимали и этот вопрос. И вот что сказал Андрей: «Мы государственники, не анархисты. Знаю, нас будут обвинять в анархизме. Вздор! Ерунда! Мы не дети, мы знаем — правительство всегда будет, государственность неизбежно должна будет существовать, поскольку будут существовать общие интересы. Наша задача работать на пользу народа, ведя пропаган-

ду социалистических идей. Мы насилия не признаем, политики мы не касаемся. Мы учим, мы просвещаем народ. Мы хотим действовать мирным путем в народе, но когда нас сажают в тюрьмы, простите — выкорчевывать придется...» Так сказал Андрей!

— Много вас?

— Не все ли это равно, Вера Николаевна? Государь один, и все зло исходит от одного человека. Много нас или мало, это не имеет никакого значения, важно лишь то, что мы существуем, что мы работаем, что мы проповедуем. У Христа было двенадцать апостолов, да один еще и изменил, и не мир принес Христос, но меч, и вот уже скоро девятнадцать веков трясется весь мир от учения Христа. Возможно, мы все погибнем. Но дело всякого убежденного деятеля дороже жизни.

— Я понимаю вас, Софья Львовна, как понимаю я вас, — говорила Вера. Она точно вырастала в эти часы задушевной беседы. Ей, «кисейной барышне», с которой никто никогда, кроме разве Суханова, серьезно не говорил, с кем были только смешки или пустые разговоры о цветах, о картинах, очень редко о книгах, кого «занимали» на балах во время танцев, вдруг с нею говорили о будущем устройстве России, о народоправстве, о воле народа. И как звучало все это «мы государственники, не анархисты»... Вера забывала время. Ей хотелось слушать и слушать, войти во все это. Вот он где, подвиг, о котором она мечтала едва не с детских лет. Вот ее «Жанна д'Арк», ее «Екатерина»! И Вера повторила за Перовской:

— Дело, дело должно быть дороже жизни.

И снова была долгая тишина, тиканье часов на кухне, временами треск в них и все тот же надоедливый стук молота по камню. В окне билась и жужжала большая черная мясная муха. Вера сильнее ощущала спертый воздух квартиры, мешанский запах пригорелого лука, непроветренных комнат и вони человеческого жилья, она чувствовала себя в совсем ином мире, бедном, неопрятном, но странно влекущем. Подвиг не мог быть усыпан розами.

Близко к Вере было загорелое лицо Перовской с ярким румянцем и тонкими чертами. Светлые глаза застекленели, и снова в них стала страстная молитвенная напряженность. Перовская заговорила плавно, точно прислушиваясь к какой-то звучащей в ее сердце таинственной музыке, иногда распевно протягивая слова:

— Народная воля!.. Чего же может желать себе народ, как не общего блага? Когда везде и над всем будет воля народа, когда

народ сам будет распоряжаться всеми средствами такой прекрасной, необъятной, богатой страны, — все переменится в ней! Опустеют холодные каменные дворцы вельмож, потонет в болоте, растворится в туманах петровским проклятием созданный Петербург, — и вся Россия покроется прекрасными каменными городами-садами. Каменные дома будут в деревнях, прекрасно освещенные. Везде керосиновые лампы, везде фонари... Хорошие дороги, прекрасные школы, где вместо Закона Божьего будут преподавать мораль и философию. Богатство земли будет распределено поровну между всеми, падут сословные перегородки, все станут на общее дело, и поселянин получит заслуженный отдых. Это будет! Все равно, Вера Николаевна, будем мы или нет — это будет! Наши дети увидят это благоденствие и благополучие. Исчезнут суды, розги и шпицрутены, не будет полиции, не будет войска, ибо войн не станет вести благополучный народ. Самый климат России переменится.

— Климат?

— Да! Климат! Разве нельзя обсадить реки лесами, устроить древесные стены на востоке, чтобы преградить дуновение сибирских ветров, разве нельзя управлять природой, не Богу, но человеку, просвещенному наукой? Для такого человека — все возможно. Мы будем, Вера Николаевна, летать, как птицы! Изменяются пути сообщения, не станет границ, народы протянут друг другу руки — и наступит общий мир, общий благословенный наукой труд. Вот что будет, вот что станет, когда будет не Государева воля, не Монаршая милость, объявляемая с высоты престола манифестами, но народная воля — социализм!.. Это мы и идем проповедовать народу, и вы пойдете с нами, а не со Скобелевыми...

Взволнованная своею речью, Перовская встала и прошла на кухню.

Вера с ужасом увидела на своих маленьких плоских часиках, висевших на тонком черном шелковом шнурке, что уже половина первого. Как быстро прошло время! Она только-только успеет проехать к завтраку на Фурштадскую.

— Софья Львовна, — поднимаясь со стула, сказала Вера.

— Что, милая?

— Мне надо идти... Генерал будет сердиться, если я опоздаю.

— А пусть себе сердится.

Перовская стояла над плитой, где пылали щепки, и ставила на огонь кофейник.

— Напьетесь кофе со мною и тогда пойдете.

— Нельзя, Софья Львовна.

— Вера Николаевна, если хотите идти с нами, строить счастье русского народа, проповедовать социализм — вам надо научиться обходиться как-нибудь без генералов. И тут путь один и неизбежный — ложь.

— Ложь? — воскликнула Вера.

— Да... Надо прежде всего научиться лгать.

— Софья Львовна, я не ослышалась? Лгать?

— Это неизбежно. Надо все скрывать до времени и для того — лгать. Ведь не скажете же вы своему благонамеренному деду, генерал-адъютанту Его Величества, что вы были у нелегальной, у Перовской, у Марины Семеновны Сухоруковой, которую разыскивает полиция? Ведь не выдадите вы меня с головой?

— Нет... Конечно, нет.

— Ну, так и говорить нечего, идемте пить кофе, оно сейчас и готово.

Вера осталась у Перовской, она пила кофе, слушала восторженные рассказы Перовской про Андрея, о его физической силе и мужестве.

— Вы знаете, Вера Николаевна, кто не боится смерти — тот почти всемогущ. И Андрей смерти никак не боится. Как-то в деревне на мать Андрея бросился бык. Андрей, который был неподалеку, выломал жердь из изгороди и стал между матерью и быком. Бык налетел на кол, сломал его, Андрей устоял, удар пришелся мимо, мать Андрея была спасена, и все просто, без позы. Это не тореадор, но это выше самого знаменитого тореадора. Это мужество, Вера Николаевна... И это, поверьте, выше вашего Скобелева! А как красив Андрей! Румянец во всю щеку, темные, глубокие глазка с вечно горящим в них пламенем. Они пронизывают насквозь. У него красивого рисунка губы и темная бородка. Шелк!.. А как он говорит!

— Вы влюблены в него?

— Оставьте это, Вера Николаевна. Отвечу вам словами Рахметова из «Что делать?» «...Я должна подавить в себе любовь... Любовь связывала бы мне руки... Скуден личными радостями наш путь. Мало нас. Но нами расцветает жизнь всех. Без нас она заглохнет, прокиснет, мы даем людям дышать...» Такие люди, как Андрей! Да он куда выше Чернышевского Рахметова. Это цвет лучших людей. Это двигатель двигателей... Соль земли...

— Вы познакомьте меня с ним?

— Когда-нибудь, Вера Николаевна.

Вера опоздала к генеральскому завтраку и на строгий вопрос Афиногена Ильича, где она была, что случилось с нею, Вера ответила, скромно потупляя глаза:

— Я была в Казанском соборе, дедушка. Там служили молебн. Я молилась перед иконой Пречистой Матери о победе русского воинства. Я забыла о времени. Увлеклась молитвой.

Вера никогда не лгала. Ей поверили. Первая ложь прошла гладко и легко. Она не оставила следа в душе Веры. Она чувствовала себя призванной на служение русскому народу, призванной к строительству счастливой и свободной жизни, и при такой работе что такое совесть? Один из человеческих предрасудков. Совесть — ее частное, и какое мелкое частное — перед общим великим делом освобождения русского народа.

XVIII

По вечерам в кабинете у генерала читали газеты и письма. Графиня Лиля, на правах будущей невестки Афиногена Ильича, бывавшая у Разгильдяева каждый день, читала английские газеты и переводила их. Дальний родственник генерала, семеновский офицер, штабс-капитан Ловягин, окончивший Академию колонновожатых, два раза в неделю приезжал на эти вечера и на большой карте военных действий расставлял булавки с цветными флажками согласно с тем, что вычитывала в газетах графиня Лиля.

К осени разыгралась у генерала подагра, и он не расставался с палкой. Так и теперь он сидел в глубоком кресле в тени кабинета. Графиня Лиля, отделенная от генерала большим круглым столом, разбирала толстую пачку писем Порфирия. На столе горела керосиновая лампа под зеленым абажуром. Она освещала оживленное Лилино лицо и руки Веры, сидевшей, откинувшись в кресло, и положившей руки на груды газет. У стены на особом столе два канделябра освещали большую карту, повешенную на стене. У карты стоял Ловягин.

— Порфирий пишет,— сказала, повышая голос, графиня Лиля.— Шестнадцатого июня — это его старое письмо-дневник, присланное мне с оказией.— Государь Император на военном катере с гребцами гвардейского экипажа, с их командиром и лейтенантом Полтавцевым на руле переплыл Дунай и смотрел на турецком берегу четырнадцатую и тридцать пятую дивизии.

Он лично надел на шею Драгомирова крест Святого Георгия третьей степени и вручил ордена Святого Георгия четвертой степени генерал-майорам Иолшину и Петрушевскому и командиру Волынского полка Родионову. Кресты третьей степени пожалованы начальнику штаба действующей армии генерал-адъютанту Непокойчицкому, генерал-лейтенанту Радецкому, генералу Рихтеру и четвертой степени Великому князю Николаю Николаевичу Младшему.

Графиня Лиля подняла прекрасные глаза от писем и сказала, вздыхая:

— Как это все хорошо — все наши герои!

— Это было в корреспонденциях Крестовского. Я своевременно докладывал о том вашему высокопревосходительству, — сказал Ловягин.

— Это *пишет Порфирий*, — значительно сказала графиня Лиля, давая понять, что это имеет гораздо большее значение, чем газетные корреспонденции. — Порфирий пишет: уже два моста наведены через Дунай. Наука, — пишет Порфирий, — сказала: это невозможно. Русский гений совершил невозможное. Двадцать пятого июня передовой отряд генерала Гурко отправился в Тырново... Порфирий получил орден Святого Владимира четвертой степени с мечами и бантом. Он организовал переправу... *Si jeune et si decore!*¹ Государь посещал лазаретные шатры с ранеными. В каждой палате Его Величество благодарил за службу. Порфирий был в свите Государя. Его Величество говорил: «Показали себя молодцами, сдержали то, что обещали мне в Кишиневе...» Раненые и умирающие кричали со своих носилок: «Рады стараться, Ваше Императорское Величество!..» Какой подъем был, Лиля, в этих палатах, полных страдания, ужаса и смерти!

— Дедушка, разве когда солдаты по-уставному кричат: «Постараемся, Ваше Императорское Величество!» — они дают обещания? — сказала Вера.

Никто ничего не сказал. Генерал строго посмотрел на Веру, графиня Лиля заторопилась «спасать положение».

— Порфирий в своем дневнике пишет: «Двадцать пятого июня генерал Гурко занял Тырново и пошел на Сельви. Его отряд идет за Балканы. Балканские проходы заняты нами. Нам остается идти вперед, вперед, вперед!!!» С тремя восклицательными знаками, Афиноген Ильич! Это самое восторженное место у Порфирия.

¹ Так молод и так украшен! (фр.)

— А Плевна?! — вдруг выкрикнул, вставая, тяжело опираясь на палку, Афиноген Ильич. — Плевна? Ловягин, покажи, где Плевна?

Ловягин не мог сразу отыскать Плевну. Афиноген Ильич, хромя на больную ногу, подошел к карте и ткнул палкой по ней.

— Вот Плевна, — сердито сказал он.

— Маленькая деревушка или городок, ваше высокопревосходительство, — успокоительно сказал Ловягин.

Генерал сердито застучал палкой по карте.

— Чему учат?! — крикнул он. — Академики! Плевна! Ты понимаешь, что такое Плевна?!

— Ваше высокопревосходительство, наши войска были в Плевне, — обиженно сказал Ловягин.

— Знаю... Не учи! Не вовсе еще выжил из ума, не впал в детство, не утратил памяти. Когда это?.. Графиня, напомните... Когда это Фролов писал нам, что тридцатого Донского казачьего полка есаул Афанасьев с сотней был в Плевне?

— Двадцать пятого июня, Афиноген Ильич, — блестя прекрасными глазами, как драгоценными алмазами, сказала графиня, щеголявшая своей памятью на все события войны.

— Да, двадцать пятого июня... Точно! И в Плевне тогда никого не было. А пятого июля лейб-казаки с ротмистром Жеребковым уже только после боя взяли Ловчу, и тогда в Плевне были войска. Маленькая деревушка, — передразнил Афиноген Ильич Ловягина, — да громадный стратегический пункт. Они идут вперед, вперед, вперед!.. Да что они там, с ума все посходили? Почему Непокойчицкий или Казимир Левицкий не пожаловали в Плевну? На карту посмотрели бы, проклятые академики!.. Все поляки там!.. Им русский позор, русская кровь ничто...

— Но, Афиноген Ильич, Порфирий тоже ничего не пишет про Плевну, а он виделся и с Жеребковым, и с Фроловым после блестящего дела лейб-казаков под Ловчей.

— Порфирий! Много мой Порфирий понимает в военном деле.

Генерал яростно захлопал палкой по карте. Ловягин со страхом смотрел: вот-вот пробьет карту насквозь.

— Где Осман-паша? С целой армией! Они батальонами Константинополь брать хотят... Войск нет, а вперед, вперед, вперед!! Какие, подумаешь, Суворовы нашлись! Заб-были на наполеоновское правило...

И с тою блестящею отчетливостью, с какою говорили по-французски светские люди николаевского времени, Афиноген Ильич сказал:

— *Les gros bataillons ont toujours raison*¹. Войска подвезти надо... Дополнительную мобилизацию сделать. На Плевну эту самую три, пять корпусов поставить... Заслониться от нее надо. Это поважнее Рущука будет. Гляди, где шоссе-то идут. Как ах-нет Осман-то паша прямо на Систово, на мосты, почище петровского Пута будет катастрофа. Два моста навели и рады. Двадцать мостов надо там. Академики! Вы увидите, графиня, помянут они эту самую маленькую деревушку. А Осман-паша уже в тылу наших...

Афиноген Ильич, постепенно успокаиваясь, вернулся в свое кресло.

— Ну, читайте дальше, графиня, что там еще мой пишет.

— Пишет Порфирий, как тяжело было ему второй раз в Ловче. Болгары, первый раз так сердечно и радостно принимавшие их, — во второй раз волками смотрели, и один старик сказал: «Помните, русы, вода с берегов сбегает, а песок остается...»

— Хорошо сказал, — пробурчал Афиноген Ильич и, постукивая палкой и исподлобья смотря на Ловягина, добавил: — Можно только тогда идти вперед, когда уверен, что назад не пойдешь. Стратеги! Войска-то ничего — схлынут, а каково жителям, что как песок останутся! Плевна... Прут... Позор... Проклятые имена все... Плевна!

XIX

Эти жаркие дни второй половины июля Скобелев провел под Плевной в большом болгарском селении Боготе. Русская армия остановилась в своем движении на Балканы и точно замерла в ожидании чего-то крупного.

Государь жил при армии, деля с нею все походные невзгоды.

Скобелев продолжал быть не у дела, все в «диспонибельных», как Порфирий и другие офицеры, приехавшие в армию не с частями, а одиночками.

Но не в пример другим одиночкам, у Скобелева, привыкшего к походной жизни в азиатских пустынях, все было организовано. Был у него повар, был и большой погребец с приборами на несколько человек, чтобы принять и угостить тех, кто будет

¹ Обилие войск всегда себя оправдывает (*фр.*).

к нему назначен, было несколько прекрасных — и все серых — лошадей, и при них киргиз Нурбай в неизменном желтом халате, холивший лошадей, как нянька ходивший за своим тюркой и не раз препиравшийся с ним из-за излишней скачки и брагирования опасностями.

— Тебя зацепит — твоя дело, коня зацепит — Нурбай подавай другого. Гавару тебе — не езд, куда не надо.

Эти жаркие дни Скобелев ездил, куда не надо. Сядет до рассвета на коня, в свежем кителе, тщательно умытый, надушенный, веселый, радостный, бодрый, с ним Нурбай, один-два ординарца или казака терско-кубанской бригады, временно бывшей в его распоряжении, кто-нибудь из штабных, присланных к нему за приказаниями или за сведениями, выедет в поля, в холмы, балки, пустит лошадь свободным галопом и скачет, куда глаза глядят. На лице радость движения, конского скака, в больших, выпуклых, прекрасных глазах напряженная мысль.

Порфирий попал в эти дни к Скобелеву, чего он так добивался, и должен был скакать с ним по болгарским полям и деревням. Скобелев встретит болгарина, расспросит — и Порфирий диву дастся, как знает все деревни, названия всех урочищ Скобелев, точно родился здесь. Прискачет Скобелев на батарею под Плевной, где сонно копошатся артиллеристы, где все застыли, приморившись в жарком солнечном полудне, Скобелев соскочит с коня, бросит поводья Нурбайке и, разминая ноги, пойдет к самым пушкам.

— Устали, Порфирий Афиногенович? Присядем, что ли?

Сядет калачиком подле пушки, вынет из кобуры бинокль, посмотрит в сторону турок и начнет ласково:

— И без бинокля видно. Глаза у вас хорошие, Порфирий Афиногенович. Видите, Разгильдяев, вот это наша батарея, а там еще и еще... А вон там, на гребне-то, уже турецкая будет. Да что я?.. Ее вам и не видно. Она не стреляет... А ну-ка, есаул, разбудите-ка ее... Откройте огонь гранатами. Авось надумает ответить — вот полковник и увидит, где она находится.

Прислуга бежит к орудиям. Порфирий оглушен громом орудийных выстрелов. И вот уже блеснули вдали желтые вспышки ответных выстрелов, выкатились за зелеными холмами клубы белого дыма, и уже свистят осколки, лопаются шрапнель, приникли к земле люди, спрятались в ложементы, донеслись ответные громы и сзади слышен крик: «Носилки!»

Кого-то ранило.

Скобелев стоит между пушек. Он спокоен, сосредоточен. Он поглядывает на Порфирия, а тот сидит калачиком, старается

улыбаться, делает вид, что все это пустяки, баловство... даже приятно.

— Что, есаул, на тех же местах? — спросит Скобелев.

— На тех же, — ответит хмурый есаул, — только давеча восемь отвечало, а нынче только семь. Я полагаю, не подбили ли одно...

— Что же, отлично...

Скобелев похаживает между пушек, ждет, когда затихнет турецкая канонада. И все поглядывает на Порфирия.

Стихли громы, улеглись пороховые дымы. Жаркий полдень. Сонные казаки. И вдали двое носилок, удаляющихся от батареи к перевязочному пункту.

— Что же, Разгильдяев, пойдемте теперь в цепи, на аванпосты, к Владикавказскому полку?

Они идут вдвоем к желтым окопам, где, притаившись, лежат спешенные казаки.

— Что это, станица, турки сегодня не стреляют?

— Не стреляют, ваше превосходительство. Надо быть — приморились или спят.

— А вы разбудите их. Ну-ка, сотник, редкий огонь.

И вот уже закурилась дымом «его» турецкая позиция. Завизжали, зачмокали пули. Все притаилось, спряталось за накопанными земляными валиками. «В-жж, вж-жи... цок, цок, цок...» — щелкали и свистали пули. Порфирий в землю готов был врыться, так ему это все было неприятно. Вес кругом лежало, сотник совсем скрылся в своем окопчике и даже голову руками укрыв. Скобелев стоял, как мишень, и внимательно смотрел на турецкую позицию. Он крепко стиснул зубы, так что скулы напряглись. Чуть развевались на знойном ветру рыжеватые бакенбарды. Пули падали подле ног Скобелева. Порфирий стоял в пяти шагах в стороне от Скобелева на виду у него, подрагивал ногой, делано, напряженно улыбался, старался не согнуться, не поклониться пуле, когда просвистит или ударит совсем подле.

— А их больше стало, — спокойно сказал Скобелев.

— В четыре раза больше, — ответил из окопчика сотник. — И все роет, все роет. Там, за Зелеными горами, за ручьем между виноградником чего-чего не нарыл.

Перестрелка смолкает. Еще и еще просвистали пули, и снова тихо. Полдень... Зной... Истома...

Кульком, недвижимое, лежит неподалеку тело убитого казака. Кто-то вполголоса говорит, без досады, без упрека, с неизбежною тоской:

— Эх, братцы, кого-то недосчитаются нынче дома.

Скобелев идет рядом с Порфирием. Они идут напрямик, полями, спускаясь в ложину, где их ожидает с лошадьми Нурбайка.

Неожиданно Скобелев берет Порфирия под руку и говорит:

— Давайте будем на «ты».

Оба снимают фуражки, трижды целуются, точно христосуются. Потом идут дальше.

Легка походка Порфирия. Точно он получил какой-то ценный подарок. Радостные колокола звонят в ушах.

— Как ты не боишься, Михаил Дмитриевич? — говорит Порфирий и сам не слышит своего голоса.

— Ты думаешь? Поверь мне, Порфирий Афиногенович, нет такого человека, который не боялся бы. Но нужно уметь владеть собой и не показывать вида, что боишься. В этом и есть храбрость. В этом счастье победы над собою перед лицом смерти.

Нурбай подает Скобелеву лошадь. Он держит повод и стремя и влюбленными глазами смотрит на своего господина.

Скобелев скачет с Порфирием к Боготу. Порфирий скачет рядом со Скобелевым. Он чувствует, что влюблен в Скобелева так же, как Нурбайка, как влюблены все, кто видел в бою и соприкасался со Скобелевым.

XX

Старый Разгильдяев ошибался, когда так рьяно и сердито стучал по карте, указывая на Плевну. В штабе Главнокомандующего Плевну учли и принялись за нее усердно.

Шестого июня 1-я бригада 5-й пехотной дивизии была направлена на деревни Вербицу и Палац, где должна была соединиться со стоявшим у Турского Трестеника Костромским полком, чтобы вместе с ним атаковать турок у Плевны.

Бригада шла без мер охранения, без кавалерии. Обозы шли при частях. По ошибке колонновожатого — он говорил, что карта была неверна — бригада неожиданно вышла на Плевну и, не считая сил неприятеля и без предварительной разведки, атаковала плевненские траншеи. Там оказалось двадцать тысяч войска Османа-паши, сидевших в прекрасных укреплениях. Бригада, неся потери, овладела траншеями и дошла до предместий Плевны. Командир бригады был ранен, потери были огромные. К туркам подошли подкрепления, пришлось отступить... Это была первая *Плевна*...

Плевну оценили в ставке, поняли опасность положения и на 18 июля барону Криденеру с 4-м, 9-м и 11-м корпусами было приказано «взять Плевну».

В центр турецкой плевненской позиции, на гривицкий редут, был направлен князь Шаховской, на левом фланге, на Зеленые горы, с горстью пехоты — батальоном Курского полка — и с казачьей бригадой шел Скобелев. К вечеру, после упорного боя, всюду лично ведя войска в атаку, он занял Зеленые горы и отдельные люди ворвались в Плевну.

У князя Шаховского войска прошли тученицкий овраг, попали под перекрестный огонь из турецких укреплений, попали, как говорили офицеры этих частей, не в бой, а на убой, атака захлестнулась, и к вечеру части откатились назад.

Ни у князя Шаховского, ни у Криденера не было скобелевского порыва к победе, чтобы с малыми силами бить турок.

Это была *вторая Плевна*.

Плевна тормозила столь удачно начатое движение на Балканы, и было решено в третий раз брать Плевну.

Сознавая силу плевненских укреплений и величину армии Османа-паши, было подтянуто все, что можно было собрать, с 27 августа осадная и полевая артиллерия громила Плевну, и 27 августа началась *третья Плевна*. И опять, как и при второй Плевне, с полным сознанием важности и необходимости победы шел только Скобелев — он и дошел со своими малыми частями опять до предместья Плевны — все остальное остановилось, едва продвинувшись вперед. Потребовались подкрепления. Это была румынская армия князя Карла — она должна была взять Плевну 30 августа.

Причины плевненских неудач происходили от того, что не было достаточных сил, чтобы развивать операцию по всему Турецкому фронту. Но мало кто и в армии-то, не говоря про общество, знал, почему же брали Плевну, признавая, что сил мало и что с имеющимися силами ее взять нельзя?!

Главнокомандующему нужно было на деле доказать, что сил мало, что нужна присылка основательных подкреплений. Доказывать это приходилось кровью, потерями, сражениями и... поражениями. Ибо слова неубедительны.

Когда решался вопрос о том, объявлять или нет Турции войну, — Государь колебался. Он признавал всю трудность и опасность войны, но ему было жаль славян. Общественное мнение давило на него. Тогда Государь вызвал старых фельдмаршалов графа Берга, князя Барятинского и Коцебу, Великих князей — Николая Николаевича Старшего и Михаила Никола-

евича, военного министра и министра финансов и устроил нечто вроде военного совещания. Был задан вопрос: какой силы должна быть армия для того, чтобы победить Турцию? Все три фельдмаршала доложили, что для того, чтобы одолеть современную Турцию, принимая во внимание ее географическое положение, устройство театра военных действий, пути сообщения и учитывая ту несомненную помощь, которую Турция получит от Англии, необходимо иметь от 400 до 500 тысяч войск.

Оба министра заявили, что состояние финансов России и ее воинских кадров таково, что Россия не может выставить более 120 тысяч солдат.

Наступило тяжелое молчание. Государю нужно было или отказаться от войны («сербам сидеть смирно, а Черняеву вернуться назад»), или, как Самодержцу, повелеть напрячь все силы, сделать невозможное, собрать полумиллионную армию и исполнить его волю.

Государь молча смотрел на своего брата, Великого князя Николая Николаевича Старшего. Тогда Великий князь сказал:

— Если Ваше Императорское Величество прикажет, согласен принять пост Главнокомандующего, имея сто двадцать тысяч штыков!

Государь встал и обнял своего брата. Заседание было окончено — война решена, стали расходиться.

На подъезде граф Милютин подошел в Великому князю и сказал:

— Как, Ваше Императорское Высочество, вы решаетесь на такое дело со столь малыми силами?

— Знаю,— ответил Великий князь,— что не хорошо делаю, да если бы ты видел выражение глаз Государя, как он смотрел на меня! В этих неотразимо прекрасных глазах Государя было прямо написано: «Выручай!» Ты знаешь, как я его люблю... Пойдем так... а после сам прибавишь...

После второй Плевны и была потребована эта прибавка, но для того, чтобы она прошла, понадобилась вся кровь и муки третьей Плевны. Только после них Россия до конца исполнила свой долг и выполнила волю своего Государя Самодержца...

XXI

Накануне третьей Плевны Порфирий, назначенный к Скобелеву, поехал к стрелкам: ввиду убыли офицеров в бригаде генерала Добровольского к ней был прикомандирован от Во-

лынского полка Афанасий, и Порфирий хотел перед решительным сражением повидать сына.

— Что, Афанасий, и ты скобелевцем стал? — сказал Порфирий, любясь еще более похорошевшим и возмужавшим сыном.

— Кто, папа, хоть раз повидает Скобелева, тот ему не изменит.

— Знаю, милый, сам на себе это испытал... Молодчина ты у меня... И у тебя уже и «клюква» на сабле, и чин поручика.

— За переправу через Дунай, папа,— значительно сказал Афанасий и добавил: — Ты ей напишешь?.. Я не смею...

— А ты осмелей. Перед скобелевцем и Вера не устоит. Вернешься, и, поверь, все по-хорошему будет.

Они помолчали.

— Ну, мне пора. Темнеет. И какой дождь! Надо еще к твоему бригадиру заглянуть, а, видишь, как погода-то испортилась! Ты напиши сам...

— Да, если вернусь из боя,— тихо и с несвойственной для него печалью сказал молодой поручик.

Порфирий внимательно посмотрел на сына:

— Ты что?

— Я ничего, папа. Сам знаешь, пехота при штурме горит, как солома в огне.

— Ну, ну. А что Скобелев говорит?

Лицо Афанасия просияло.

— Никто, как Бог! Двум смертям не бывать, а одной не миновать!

— Вот то-то и оно-то!

И, не прощаясь с сыном, Порфирий пошел с бивака.

— Прощай, папа! — донеслось к нему от палаток стрелков.

— Вере напишу,— ответил Порфирий, хотел вернуться и обнять сына, да раздумал.

«Что тревожить понапрасну,— подумал Порфирий.— И так мальчик не в себе...»

XXII

Стоявшие все эти дни духота и зной, когда сильно наносило вонь гниющих трупов от турецкой позиции, в понедельник, 29 августа, стали еще сильнее. С полудня раскаленная земля закурилась туманами, небо сразу потемнело, солнце скрылось во вдруг откуда-то появившихся тучах, и полил дождь. Не короткий, летний ливень с грозой, но нудный, ровный, холодный

осенний дождь, долгий и упорный. Глинистая почва сразу намокла и стала скользкой, по глубоким колеям потянулись коричневые лужи, и пузырями вспыхивали по ним частые дождевые капли. С дождем и тучами сразу надвинулась хмурая, ненастная, безотрадная осенняя ночь.

Непогода и ночь захватили Порфирия в дороге. Едва он выбрался с бивака 9-го стрелкового батальона, как настала такая тьма, что Порфирий совсем растерялся. Ноги вязли и расползались по глинистой дороге. Ветер распахивал бурку, дождь забирался за ворот и холодными струями бежал по телу.

Впереди и совсем недалеко загорелось желтое пламя костра, сквозь сырость потянуло угарным, смолистым дымком, и показалось, что с ним и тепло нанесло. Порфирий пошел на огонь.

Под навесом из сучьев и распяленных на них рогож, попон и шинелей солдаты раздули костер и повесили над ним большой томпаковый чайник. В отсвете пламени стала видна коновязь, где мокли под попонами лошади, и тут же стояла большая коляска с поднятым верхом и пристегнутым наглухо кожаным фартуком. Внутри коляски горел фонарь. В щели между фартуком и верхом просвечивал неяркий свет.

— Генерала Добровольского коляска? — спросил Порфирий у солдат.

— Так точно, генерала Добровольского, — бойко ответил красивый черноусый стрелок, вглядываясь в Порфирия, и, признав в нем офицера, ловко поднялся от костра.

— Матюшин, это кто там? Не с диспозицией ли?

— Это я, ваше превосходительство, полковник Разгильдяев.

— Что это вы, батенька, в такой дождь! Небось промокли совсем...

— Да, есть малость.

— Заходите погреться, чайку вместе напьемся. Я один. Паренсова услад к Имеретинскому.

Полог коляски отстегнулся, и Порфирий с удовольствием влез в нее. Там было тепло и после непогожего вечера показалось уютно. Внутри коляски на проволоке висел фонарь со свечой. В его свете Порфирий, сам любивший походный комфорт, с удовольствием рассматривал, как в коляске было хорошо и ладно устроено. Передняя часть коляски откидывалась, образуя две мягкие постели. Под сиденьями были устроены выдвижные ящики и сундучки, на бока верха нашиты карманы.

Добровольский в наглухо застегнутом стрелковом сюртуке сидел на заднем сиденье. Перед ним был расставлен раскрытый дорожный погребец, обитый белой жостью «с морозами», под-

ле него был приготовлен поднос со стаканами, тарелками и закуской.

— Как кстати вы пожаловали, — сказал Добровольский, усаживая Порфирия против себя. — Я всех своих услал. Начальника штаба и адъютанта послал за приказаниями. Говорят, завтра — штурм Плевны, а мы еще ничего не знаем. Да и какой может быть теперь штурм? Вы вот пешком шли, так видали, что делается. Какие могут быть по эдакой грязище атаки, перебежки. Да просто не влезть на эти страшные горы.

Порфирий молча вглядывался в лицо Добровольского. Странное оно было или казалось в этом освещении. Совсем особенная, смертельная бледность была на нем, и оранжевый свет свечи не менял его, как свечи, горящие у изголовья покойника, не рассеивают мертвенной бледности его лица. Выражение глаз было жуткое. Точно эти темные живые глаза на мертвом лице провидели нечто ужасное.

— Я, Порфирий Афиногенович, прямо считаю завтрашний штурм невозможным. Я надеюсь... Я уверен, что Государю Императору все это доложат и Его Величество именно ввиду своего тезоименитства его отменит.

Порфирий сомневался в этом. Он знал, что деликатнейший Государь никогда не вмешивался в оперативные распоряжения штаба армии. Чтобы переменить разговор и отвлечь Добровольского от мрачных мыслей, Порфирий стал расхваливать устройство коляски.

— Как только у вас все это хорошо придумано. И спать отлично, и сидеть, точно маленький дом... И все под руками.

— Пожалуйста, не хвалите, — желчно сказал Добровольский. — Это мой гроб!

— Полноте, ваше превосходительство! Всех нас, Божиею милостью, переживете.

— Нет! — настойчиво и, еще сильнее раздражаясь, сказал Добровольский. — Я это точно знаю. Меня в ней и повезут...

Порфирий растерялся. Мертвое лицо Добровольского страшило. Порфирий замолчал. Добровольский пронизывал его печальными глазами. Так прошло более минуты. На счастье, полог отвернулся, солдат протянул в коляску дымящийся чайник и ласково сказал:

— Пожалуйте, ваше превосходительство, горяченького чаю. Самое время.

Добровольский стал наливать чай по стаканам. В палатке было тихо. Мерно, ровно и усыпительно сыпал по кожаному верху холодный дождь, и вода, стекая с верха, журчала по лужам.

Была глухая ночь, когда Паренсов привез князю Имеретинскому диспозицию на 30 августа.

Прилегший было, не раздеваясь, на походной постели в хате князь поднялся и накинул на плечи черную черкеску с Георгиевским крестом на свежей ленточке.

— Ну что? Привез? Завтра? — спросил он и от горевшей на крестьянском столе свечи зажег вторую.

— Садись... Читай.

— «Завтра, тридцатого августа, назначается общая атака укреплений Плевненского лагеря, — начал читать Паренсов. — Для чего: 1. С рассветом со всех батарей открыть самый усиленный огонь по неприятельским укреплениям и продолжать его до восьми часов утра. В девять часов одновременно и вдруг прекратить всякую стрельбу по неприятелю...»

— Постой. Как же это так? Ты прочел: «продолжать огонь до восьми часов утра» — значит, в восемь часов огонь прекращен. Как же дальше сказано — «в девять часов одновременно и вдруг прекратить всякую стрельбу по неприятелю»... Тут что-нибудь да не так...

— Так написано в диспозиции, — смутившись, сказал Паренсов.

— Ну, читай дальше.

— «В одиннадцать часов дня вновь открыть усиленный артиллерийский огонь и продолжать его до часа пополудни. С часа до двух тридцати часов опять прекратить огонь на всех батареях, а в два тридцать часа вновь начать усиленную канонаду, прекращая ее только на тех батареях, действию которых могут препятствовать наступающие войска. В три часа пополудни начать движение для атаки...»

— Это уже даже не по-немецки выходит, а что-то по-польски, — с тонкой иронией кавказского человека сказал Имеретинский. — В три часа начать... В семь часов уже сумерки, а там и ночь... Как же по этой-то грязи мы за четыре часа дойдем до Плевны и возьмем весь лабиринт ее укреплений? Ну, что же дальше?

— «Румынская армия атакует северное укрепление...»

— Да ведь там, милейший Петр Дмитриевич, не одно укрепление, а целая сеть укреплений, названная Опанецкие редуты, и рядом почти неприступные Гривицкие редуты! Ну, да это уже меня не касается. Что мне-то указано делать?

— Тебя, ваше сиятельство, собственно говоря, нет.

— То есть? — хмурясь и вставая с койки, сказал князь. — Где же моя вторая пехотная дивизия, стрелковая бригада генерала Добровольского, тоже подчиненная мне, и шестнадцатая пехотная дивизия?

— Под литерою «е» значит: «Отряду генерала Скобелева в составе бригады шестнадцатой пехотной дивизии, стрелковой бригады генерала Добровольского и полка второй пехотной дивизии атаковать укрепленный лагерь, прикрывающий Плевну со стороны Ловчинского шоссе...»

— Постой... Как?.. Скобелеву?.. Та-а-ак! Я говорил... Добился, значит, своего. Недаром он эти дни все ездил то на позицию, под самых турок, то в Ставку. Но все-таки?.. Ведь Скобелев подчинен мне... Ну, его взяли, Бог с ним совсем, но я-то с чем-нибудь остался? Где же я?

— Под литерою «ж» значит: «В резерв колонны генерала Скобелева с обязанностью поддерживать его атаку и прикрывать левый фланг его колонны следуют остальные полки второй пехотной дивизии с их батареями под начальством Свиты Его Императорского Величества генерал-майора князя Имеретинского».

— Та-а-ак! — с тяжелым вздохом сказал князь и подошел к двери. — Значит, теперь уже меня подчинили Скобелеву! Не гожусь, значит!

Он приоткрыл дверь и крикнул на двор:

— Модест! Прикажи запрягать и давай мне одеваться.

— Князь, — воскликнул Паренсов, — да что случилось? Куда ты едешь? Зачем?

— Как куда? В главную квартиру. Что же, любезный, или ты думаешь, что я здесь останусь? Да разве ты, знающий все наше положение, не понимаешь, что Скобелев сразу у меня все отнимет. Это он умеет... А я с чем останусь?

Князь торопливо надевал в рукава черкеску и перепоясывался поясом с кинжалом и шашкой.

— Князь! Я умоляю тебя остаться!

— Остаться? О да! Я вижу, и ты уже стал скобелевцем! Остаться?.. Восемь дней тому назад мне за Ловчу дали Георгия — значит, не так уж я плох!.. А теперь отставляют от командования отрядом и даже мою дивизию отнимают у меня... И ты еще спрашиваешь, зачем я еду...

— Князь! А долг солдата повиноваться при всех обстоятельствах.

— Долг? Ты мне указываешь мой долг?.. Долг солдата... Нет, уж прости меня — я уеду...

— Князь, подумай! Как можно уезжать с поля сражения, покидать свои войска за несколько часов до штурма?

Низко опустив красивую седеющую голову, князь молча шагнул по комнате. Паренсов подошел к нему, обнял его за плечи и сказал глубоким проникновенным голосом:

— Князь, голубчик, останься! Ну, хочешь... Я на колени стану и буду умолять тебя исполнить твой долг! Подумай о Государе!

Имеретинский отстранил Паренсова и снова стал ходить взад и вперед. Так в напряженном молчании прошло несколько минут. Одна свеча догорела и погасла. В хате стало темнее, и, казалось, в ночной тишине слышнее был мерный, ровный шум дождя.

— Хорошо,— останавливаясь против Паренсова, тихим голосом сказал Имеретинский.— Изволь! Но помни, завтра же с утра Скобелев отберет от нас все, и мы останемся с тобой вдвоем... Садись, пиши приказ!

XXIV

Скобелев встал до света, вышел во двор хаты и долго смотрел, как Нурбайка и вестовой, терский казак, чистили в полутьме под навесом сарая его лошадей. Мягко шурхала щетка, скребница отбивала о камень, в мутном свете походного фонаря со свечою серебром отблескивали крупы серых коней.

— Со светом поседлаете,— сказал Скобелев и по скользкой дощечке, положенной через грязь и лужи двора, прошел в хату. Там, при свете одинокой свечи, одевались его ординарцы. Озабоченный Куропаткин, начальник штаба Скобелева, в накинутом на плечи сюртуке с аксельбантами, торопливо писал приказание.

— Вот что, Алексей Николаевич,— сказал Куропаткину Скобелев.— В приказе написано: «Наступление начать в три часа дня...» Это не годится. По такой грязи скоро не пойдешь, да и люди вымотаются. Пиши: «Людей не позже одиннадцати часов накормить горячим обедом с мясом. Движение начать в полдень. Я буду при авангарде Владимирского полка». Как рассветет, так и поедem. Кажется, и дождь перестает.

Пришедший со двора ординарец Скобелева, осетин Харанов, сказал:

— Дождь, ваше превосходительство, точно перестал, но туман! Такого и тогда не было!

С первыми проблесками дня дождь прекратился. Земля клубилась седым паром. На двадцать шагов не было видно человека.

«Туман Инкермана,— подумал только что вернувшийся от Добровольского Порфирий, вспоминая утро 27 августа.— Нет, сейчас еще хуже».

Тогда туман, все густея, поднимался и потом растаял в знойном воздухе, и из-за него проглянуло солнце. Теперь небо было сплошь затянуто черными тучами, и туман бродил под ними седыми пеленами. По-осеннему пахло сыростью и дождем. На дворе по соседству редко и хрипло — на осень, на ненастье,— точно жалуюсь или бранюсь, лаяла собака.

Дороги так распустились, что ноги вязли в грязи по щиколотку. На улице, где грязь была покрыта опавшими листьями, ноги скользили.

Уже гремела по всему фронту артиллерия, но кто и куда стрелял — нельзя было определить. За туманом не было видно ни вспышек выстрелов, ни разрывов шрапнелей и гранат, ни порохового дыма. Точно далекие небесные громы, предвестники грядущей грозы, катались над землею.

Скобелев, в свежем кителе, в легком генеральском пальто с алыми лацканами нараспашку, в белой свежей фуражке, на сером коне, просторным шагом выехал по растоптанной людьми грязной дороге в поле.

По сторонам дороги, за составленными в козлы ружьями стояли темными колоннами солдаты. Должно быть, подвезли ротные котлы; пахло щами, черным хлебом, махоркой, пахло пехотным солдатом. В тумане были видны лишь ближайшие ряды да вспыхивали огоньки солдатских трубок. В колоннах было тяжелое молчание. По серой лошади, по значку, по свите кое-где признавали Скобелева. Порфирий слышал, как кто-нибудь скажет:

— Скобелев!.. Скобелев!.. Наш генерал проехал!

Кое-кто станет смирно за ружьями. Офицер приложит руку к козырьку фуражки... Все это мелькнет в тумане, как видение, и растает.

— Стрелки, что ли? — крикнул в колонну Куропаткин.

— Никак нет... Володимирский полк... Стрелки сзади остались...

«Призраки,— подумал Порфирий,— мелькнули и исчезли, как и все мы в жизни мелькнем и исчезнем. Что ожидает нас всех сегодня, меня, Афанасия, Скобелева, Харанова? Вон как гремит артиллерия... Граната разорвалась где-то неподалеку,

разрыва не видно, а как жутко просвистели осколки совсем близко. Туман... Ничего не видно... Куда мы едем?.. Туман Инкермана!.. Брррр!»

Остановились, слезли с лошадей, подтягивали подпруги. Как исполинский серый призрак, стоял у дороги громадный карагач. Вода с него капала. Под деревом собрались пехотные солдаты. Кто-то, должно быть, пришедший с разведки, рассказывал:

— Нарыто у него!.. Чисто кроты какие! И ходы, и переходы, и все турами оплетенными обставлено. Наша артиллерия почему зря бьет. Не дохватывает до его. А он там как в дому сидит, что в крепости за стенами. Ему и не страшно вовсе!

— А тебе, поди, страшно было?

— А ты сам попробуй? Страшно... Ну, однако, не очень...

— И все, ребята, ничего, кабы только не погода. Уж очень грязь. Грузко стало. Ни тебе окопаться, ни лечь — так и ползет.

— Кручи большие, не взберешься...

Говорившие сквозь туман разглядели Скобелева. Замолчали. Кто-то тихо сказал:

— Никак Скобелев?

Стали «смирно».

Скобелев сел на лошадь.

— Что, ребята, пообедали? — спросил он.

— Так точно, ваше превосходительство.

— Лопаты получили?

— Получили.

— Не так чтобы много... Не на каждого.

— Чего говоришь, что не надо! Получили, ваше превосходительство.

— Турка не боитесь?

— С вами, ваше превосходительство, самого черта, и того не боимся.

Скобелев тронул лошадь. Зачмокали по грязи копыта лошадей его свиты. Грязевые брызги полетели вперед.

Мелкий, холодный и упорный дождь снова сыпал с неба.

Впереди падали гранаты. Сквозь серую пелену тумана и дождя было видно, как вдруг исполинскими кустами вздымались клубы разрыва и медленно таяли в воздухе. Свистали и были осколки.

Владимирцы рассыпались в цепи и ползли на холм, как улитки. Все чаще и слышнее становилась трескотня ружей. Скобелев поднялся на гору и остановился на шоссе. По одну

сторону шоссе наступал Владимирский полк, по другую — стрелки.

Турецких редутов не было видно — они скрывались в сумерках дождливого дня. Они давали о себе знать пушечными громами и непрерывной стукотней ружей. Точно вода кипела там в громадном котле.

Пули свистали над Скобелевым. Сзади с легким шуршанием проносились снаряды наших батарей и лопались где-то вдали невидимыми разрывами и взрывами.

Под сотником Александром Верещагиным, скобелевским ординарцем, убило лошадь, казак вестовой соскочил со своего коня и повел его к Верещагину, но тут упал и сам Верещагин, раненый. Его понесли вниз, под гору. Только что люди с ним скрылись на шоссе, как прискакал казак и доложил Скобелеву, что посланного вперед, к стрелкам, ординарца Сергея Верещагина — «зараз насмерть свалило... Сильно теснят турки стрелков. Наши начали подаваться назад...»

— Как странно: сейчас Александра ранило, и в то же время его брата убило. Судьба! От судьбы не уйдешь. Что же, пойдемте, господа, — сказал Скобелев и стал спускаться в овраг, а потом подниматься на Зеленую гору к стрелковым цепям.

Берданки стреляли непрерывно. Сквозь стукотню выстрелов, сквозь недалекие грома турецкой батареи, стоявшей на гребне, были слышны крики:

— Носилки!

— Санитаров!

— Дохтура! Ротного ранило!

Навстречу Скобелеву шли одиночные люди. Они деловито, скользя по грязи, спускались с холма и шли назад.

— Вы зачем? — спросил Скобелев.

— За патронами, ваше превосходительство... Патронов у нас больше нет.

И по тому, как смело и уверенно ответили они, Скобелев видел, что и точно люди шли за патронами.

Сзади, обгоняя Скобелева, прошли к цепям люди. Измазанные сплошь красноватою глинистою грязью, с кепи на затылке, они несли в рубашках и мешках коробки с патронами. Еще издали было слышно, как один из них молодым возмущенным голосом громко говорил:

— Я ему говорю — давай патроны... А он мне крыночные сыплет. Да что ты, милый человек, говорю ему, не видишь, кому сыплешь? Не видишь — стрелки мы. Нам давай — берданочные...

— Так вот, Второв крыночные принес у цепу, а ему поручик патронами-то в самую морду! Потеха!

— За дело! Не бери зря...

Они увидели Скобелева и замолчали.

— Ну как, стрелки? — крикнул им Харанов. — Не подкачаете?

— Держались крепко, однако подмога нужна.

Скобелев вынул из-за борта золотые часы и посмотрел на них.

— Алексей Николаевич, — сказал он, — пишите приказание. Ординарцы, приготовьтесь.

Куропаткин слез с лошади, расставил бурку шатром над собою, стал на колени в грязь и достал полевую книжку. По бурке шел дождь, блестящие капли стекали с черного бурочного ворса. Чаще и чаще посвистывали турецкие пули.

— Генералам Тебякину и Добровольскому, — диктовал Скобелев, — командирам Владимирского, Суздальского и Ревельского полков, девятого и десятого стрелковых батальонов.

«И моему Афанасию, значит», — подумал Порфирий и почувствовал, как холодный пот прошиб его сверху донизу.

— Готово?

— Сейчас, ваше превосходительство. Не успеешь за нами, — грубовато ответил Куропаткин.

— Пишите всем одинаково: «Начинайте штурм. Генерал Скобелев... 3 часа пополудни, 30 августа».

Куропаткин вызывал ординарцев и передавал им маленькие конверты.

— Поручик Лисовский — генералу Тебякину! Кто от стрелков?

— Поручик Марк, господин капитан.

— Командирам девятого и десятого батальонов... Хорунжий Дукмасов! Хорунжий Харанов!

Офицеры скрывались в дождевой мгле.

Дождь усилился и уже лил непрерывно.

В три часа дня точно для того, чтобы русским войскам виднее была цель атаки, чуть приподнялся туман.

За белесой дождевой полосой показались за третьим гребнем Зеленых гор турецкие редуты, опоясанные сплошной линией белых дымков ружейных выстрелов.

В логу, совсем близко от редутов, сипло и печально раздался сигнал на горне «Предварение к атаке!» Он повторился дальше и дальше за шоссе, там, где уже не были видны лежащие цепи, и замер. Прошло несколько мгновений, показавшихся Скобелеву бесконечно долгими.

Вдруг весело, справа, от владимирцев, грянула музыка, загрохотали барабаны.

Длинными темными цепями поднялись владимирцы и суздальцы и пошли вперед. Видно было, как солдаты скользили на мокрой глине и падали.

Раздалось сначала несмелое, потом все более и более громкое «ура». Оно покатилося, понеслось и вдруг стихло. Умолкла и музыка, барабаны перестали бить.

Налетевший порыв ветра на мгновение согнал туман и пороховой дым с холма. Показались редуты Кованлек и Исса-Ага и перед ними чистый, гладкий, точно выбритый, глинистый скат, мокрый и скользкий.

Этот скат был сплошь покрыт ползущими по нему, как червяки, людьми. И видно было, как кто-нибудь выскочит вперед — вероятно, с криком «ура», неслышным за стрельбой, — и упадет тут же...

Цепь ползет все тише и нерешительнее...

Остановилась... Замерла...

Ординарец!

Лицо Скобелева спокойно, полно решимости.

— Ревельскому полку!

— Ваше превосходительство, — чуть слышно говорит сзади Скобелеву Куропаткин, — это последний наш резерв!

— Знаю-с... Ревельскому полку поддержать атаку!

Старик полковник Писанко взял руку под козырек, принял от ординарца, хорунжего Харанова, приказание... Подал команду полку.

Передние роты раздались в темные цепи, за ними потянулись линиями ротные поддержки. В резерве грянула музыка. Ветхое знамя развернулось над резервом.

Ревельские цепи влились в цепи владимирцев и суздальцев.

И уже не цепи, но темная солдатская масса ползла, скользила, падала, карабкалась вперед, навстречу гулу пушек, непрерывной ружейной трескотне. Пошли вперед, еще... еще... Остановились, опоясались белой полосой ружейного огня и поползли назад.

— Алексей Николаевич, у Имеретинского есть либавцы, у Добровольского остались одиннадцатый и двенадцатый батальоны. Прикажите всех двинуть на поддержку атаки!

Ординарцы поскакали передавать приказание...

Время идет. Время остановилось... Холодный дождливый день меркнет. В мгlistом тумане видно, как из Плевны идут

густые колонны турок. Они вливаются в промежуток между редутами Исса-Ага и Плевной.

Либавцы и стрелки косят их огнем — но они идут вперед и вот слились с передовыми цепями.

В третий раз грянула музыка. Либавцы пошли на штурм. Все подалось с ними вперед, опять раздалось «ура», и видно было, как начался рукопашный штыковой бой.

И вдруг поползли назад. Сначала тихо, одиночными людьми, нерешительно, потом группами... Сейчас будет бегство!..

.....

Скобелев в сопровождении Куропаткина, немногочисленной свиты — разосланные с приказаниями ординарцы не вернулись — и с казаком со значком медленно спускается с кручи. Лошадь скользит по мокрой глинистой земле. Она расставила задние ноги, тормозит ими себя. На середине ската Скобелев останавливается. Его лицо очень бледно и мрачно. Волевой огонь то загорается, то потухает в пристально глядящих вперед глазах. С намокших рыжих бакенбард на потемневшее полотно кителя каплет вода. Дождь зарядил косой и упорный.

Сквозь пелену дождя — в сером сумраке — совсем близко, и восьмисот шагов не будет, за оврагом по склону холма еще идет бой. Турки стреляют в упор. В пелене выстрелов, между высоких дымов взрывающихся гранат, видно, как темная масса перемешавшихся между собой полков ползет неудержимо назад.

Время измеряется долями секунд...

Скобелев оборачивает бледное лицо на Куропаткина. Он испытующе, пронзительно смотрит на того.

— Алексей Николаевич, — тихо говорит он. Его голос слышит один Куропаткин. — Не пора ли мне? Самому?

Куропаткин молчит. Его лицо угрюмо. В узких, волчьих глазах вспыхивает злой волевой огонь. «Пора!»

Лицо Скобелева краснеет, загораются минуту тому назад потухшие, печальные глаза. Решительно подобрав поводья, Скобелев дает шпоры коню, и тот клубком катится вниз, утопая по бабку в грязи, перескакивает на дне оврага какой-то бурлящий, глинистый поток и в мгновение ока взмывает наверх, в самую гущу залегших недвижно, в нерешимости отчаяния, цепей.

— *Вперед, ребята!*

В дыму и сумраке печального дня Скобелева видят единицы. Но по всей цепи, по трем ее полкам и по стрелковой бригаде шорохом, электрическим током проносится:

— Скобелев! Скобелев!!

Все встает, гремит победное «ура»...

Сквозь участвовавший треск совсем близких выстрелов, сквозь грохот орудийной пальбы, визг и шлепанье пуль и осколков — кажется, везде слышно бодрое скобелевское: «Вперед, ребята!»

Грязь в полголенища — ее не чувствуют. Глина скользка, течет под ногами. Люди обрываются, падают, встают снова и, грязные, измазанные землею, бегут вперед, где на мгновение увидели Скобелева, его белого коня, его белую фуражку.

«Ура» заливало всю полосу гребня, гремело с лишком на две версты, неумолимо ликующее и победное. Солдатам казалось, что неудержимая сила несет их наверх, на кручи турецких брустверов, через канавы ложементов и окопов.

Турки отхлынули из передних укреплений и бежали в промежутках между редутами.

Скобелев, ухватившись за гриву коня, взобрался по крутому скользкому скату гласиса, скатился с лошастью в ров, там лошадь упала, Скобелев выбрался из-под нее и одним из первых ворвался в редут.

Первым вскочил в укрепление штабс-ротмистр Ревельского полка Добржинский. Редут был полон турками. О сдаче, о плене никто не думал. Дрались штыками, валили турок прикладами. Тела в синих куртках и тела в черных мундирах и белых, измазанных грязью штанах покрывали всю внутренность укрепления. В нем, хрипя, схватились грудь с грудью — кругом, правее и левее редута, гремело ликующее, победное «ура».

Кованлек был занят с налета — на него вел Скобелев! С ним шла несокрушимая победа. У редута Исса-Ага атака остановилась. Не было того, кто кинулся бы на гласис, окруженный скобелевским победным ореолом. Там залегли под самым гласисом и стали копать в мокрой земле и отходить назад. Победное «ура» смолкло.

От Кованлека часть турок бросилась к Плевне. Отдельные смельчаки побежали за ними, без офицеров, никем не руководимые. В садах Плевненского предместья раздались русские выстрелы.

И еще сильнее зарядил дождь.

Шел шестой час. Черные тучи точно упали на землю, сырая мгла окутала редут Кованлек. Небольшая группа схваченных турок, уже обезоруженных, стояла между солдат и ошалелыми глазами смотрела на толпившихся в укреплении людей. Офи-

церы собирали свои части. В углу, у самой горжи, горнист настойчиво играл сигнал, сзывая первый батальон.

«Дан сигнал для гренадер», — все повторял он, и звенели звуки его горна, эхом отдаваясь о крутости брустверов.

— А какому полку сигнал? — удивленно говорил солдат в изорванном, грязном мундире. — Эх его! Который раз...

«Дан сигнал для гренадер», — опять прозвучало по укреплению.

Ошалевшие люди толпились в беспорядке.

Вдруг у северного фаса слышались выстрелы. Часть людей бросилась туда и, залегши за укреплением, приготовилась стрелять. Густые цепи карабкались сзади за холмы, и не разобрать было, что это за цепи, свои или «его».

Впереди увидели высокого человека в белом и с русою бородой.

Человек этот шел впереди цепей и махал рукой.

— Скобелев!.. Да это наши! — сказал кто-то.

Фельдфебель подошел к офицеру.

— Ваше благородие, да это же турки! Какой тут Скобелев, ить Скобелев-то был в пальте! И фуражка не скобелевская совсем...

По фронту раздавались крики:

— Не стрелять! Свои! Это наши!

Таинственные цепи поднимались на горжу укрепления.

Стало ясно видно, что это были турки.

— Огонь! — крикнул офицер. — Пальба ротою! Шестая рота! Пли!..

Сорванный залп слился с общим треском ружей.

Человек в белом упал. Турки отхлынули назад...

XXV

Тишина?..

Нет, тишины не было. Это только после напряженнейшего боя казалось, что тихо. С Кришинских высот — слева и сзади — били пушки, и каждая граната, попадавшая в гущу людей, толпившихся в Кованлеке, вырывала десятки жертв.

Темнота?..

Ночь еще не наступила, и люди были видны. В Кованлеке распоряжался Куропаткин. Он отсчитал двести человек разных полков и, выведя их из редута, укладывал их на землю и пока-

зывал, как рыть окопы и откуда ожидать турок. Присланный Скобелевым Порфирий помогал ему.

Они стояли в вечернем сумраке, когда подле них совсем неожиданно появился генерал Добровольский. Высокий, прямой, какой-то очень уже не к месту «официальный», со смертельно бледным лицом, тяжело дышащий, он быстрыми шагами подошел к Куропаткину, нагнувшись к солдату и лопатой прочерчивавшему в жидкой земле линию, по которой надо было рыть окоп, и ударил его рукою, затянутой в белую перчатку, по плечу. Куропаткин выпрямился.

— Ваше превосходительство?

— Вы меня видите? — сердито спросил Добровольский.

— Вижу, ваше превосходительство, — с недоумением сказал Куропаткин.

— Видите здесь? — еще сердитее спросил Добровольский.

— Так точно, ваше превосходительство.

— Значит — я не трус!

Куропаткин молчал. В этой обстановке сам вопрос показался неуместным.

— Так передайте это вашему Скобелеву! Я принимаю здесь командование!

И с высоко поднятой головой Добровольский направился к укреплению. Порфирий нагнал его.

— Ваше превосходительство, что все это значит? Зачем вы здесь?

Генерал Добровольский поднялся в редут и устало опустился на берму. Нижняя губа у него дрожала. Казалось, он сейчас зарыдает... Он заговорил, дрожа внутренней дрожью, взволнованно и прерывисто:

— Вы понимаете! Я — командир бригады! Наконец, я старше Скобелева... Много старше... От меня отобрали мои батальоны. Бросили, швырнули в бой помимо меня. Я остался один. Вдруг наезжает на меня Скобелев. Совсем как пьяный... Кричит на меня: «Что вы тут делаете?!» Я развел руками. От меня только что увели последние одиннадцатый и двенадцатый батальоны. Я говорю: «Нахожусь при бригаде». — «А где ваша бригада?» — «Пошла на штурм». Скобелев мне, старшему, кричит: «И ваше место там...» Мне, старшему, указывает мое место! Это ж-же поннять нужно!

— Ваше превосходительство. Надо понять, что только что пережил Скобелев. Я уверен, что он извинится перед вами.

— Очень мне это нужно... Извинится... Надо понимать дисциплину прежде всего.

Добровольский взгляделся в Порфирия. Точно успокаиваясь, он только теперь узнал, с кем говорит. Он встал, крепко сжал руку Порфирию повыше локтя и сказал уже совсем другим тоном. Теплые, сердечные нотки слышались в его голосе:

— Порфирий... Порфирий... — Он, видимо, не мог вспомнить отчества Порфирия. — Разгильдяев. Поручик Разгильдяев, это ваш?.. Прикомандирован на прошлой неделе к девятому полку?

— Да, это мой сын...

— А?.. Да-а... Ваш сын, знаете, убит!

— Где?.. Где, ваше превосходительство?

— Не знаю точно. Мне адъютант говорил... Где Ревельский полк. У майора Горталова.

Добровольский тяжелым взглядом странно жгучих на мертвом лице глаз пристально смотрел на Порфирия. Он казался Порфирию призраком.

— Простите за тяжелую весть. Долгом почитал сказать... А то тела потом не отыщете... Впрочем, это все равно... Все там будем.

И открытый во весь рост Добровольский пошел на ту горжу укрепления, где вдруг началась частая перестрелка. Со стороны редута Баглык-Сарты наступали турки.

Порфирий, как пришибленный, сел на берму, на то место, где только что сидел Добровольский.

«Афанасий убит...» Что тут было странного или невозможного? Тысячи смертей прошли сегодня мимо Порфирия за этот страшный день. Редут был полон трупами. Сколько упало на глазах Порфирия. Но смерти Афанасия ни понять, ни воспринять не мог.

«Афанасий убит...» Давно ли?.. Только вчера они свиделись, когда начинался дождь и надвигались на землю вечерние сумерки. «Прощай, папа!..» — точно еще звучал в ушах Порфирия голос сына. «Пехота горит, как солома в огне... Напиши ей...» и потом, при имени Скобелева, беспечная, радостная улыбка... Здоровый, румяный, красивый, сильный, все думающий о Вере — Афанасий убит!.. Нет, это было невозможно... Никак не входило это в потрясенное боем сознание Порфирия.

Четыре стрелка шли мимо Порфирия и несли за плечи и за ноги длинное тело, накрытое заскорузлой на дожде солдатской шинелью. Порфирий сразу догадался, чье это тело несли.

— Убит? — спросил он.

— Еще, кажись, жив. А только, видать, кончается. Несем в коляску.

Точно увидел Порфирий: свеча в фонаре. Коляска с постелями, сундучками, погребцами, карманами, с выдвижными ящичками. Мертвенная, совсем необычайная бледность на лице Добровольского и слова: «Это мой гроб. В нем и повезут меня».

И тогда вдруг сразу воспринял весь ужас, всю непоправимость того, что он услышал. Да, ему тоже нужен гроб для сына... Для Афанасия!.. Надо только его отыскать, унести... чтобы похоронить... Весь ужас смерти Афанасия встал перед Порфирием.

Кругом стояла темная ночь. Дождь лил по-прежнему. Не смолкала турецкая стрельба. Свистали пули. Рвались в темноте гранаты, страшным светом взрывов освещали землю. Когда Порфирий вышел из редута, он слышал, как усталым голосом говорил Куропаткин:

— Глубже копайте, ребята.

И солдат ответил:

— Не берет, ваше благородие. Уплывает...

Фельдфебельский, успокоенный, разрешающий все сомнения голос раздался возле Порфирия:

— Мы, ваше благородие, покойничками обложим и землю приладим, оно тогда держать будет.

Порфирий поежился под промокшим плащом и ускорил шаги.

XXVI

— Ты сам-то девятого батальона будешь?

— Девятого, ваше благородие. Я и место знаю, где они упали. Вот здесь, на этом на самом месте... Только, видать, снесли куда.

— Куда же их сносили?

— Больше все на горталовскую траншею носили. Там из них бруствера складывают... Земля-то не держит, ползет, так из покойников кладут укрепления, землю присыпают. Как же иначе? Он ведь палит, не переставая, укрыться за чем-нибудь надо.

Бравый, ловкий стрелковый унтер-офицер идет впереди Порфирия, несет жестяной походный фонарь со свечою. Блестят, отражая свет, темные лужи — воды ли, крови ли, Порфирий не разбирает. Повсюду валяются ружья, скатанные шинели, окровавленные тряпки, котелки, ящики из-под турецких,

картонки от берданочных патронов. Порфирий часто спотыкается об эти предметы.

— Ваше высокоблагородие, вы полегче, а то и упасть недолго. За мною держитесь.

У высокой, в рост человека, темной стены копошатся люди. Слышно, как чавкают рты, пахнет хлебом и вареным мясом. Часто вздыхают. Едят молча и сосредоточенно, как едят голодные и измученные люди.

Фонарь бросает желтоватый свет на группу сидящих. За ними — стена из трупов. Свои и турки положены один на другого, присыпаны грязью. Мелькнет край белого лица с закрытыми глазами, синяя куртка турецкого ашкера и на нем черный, коротко стриженный затылок и мундир с малиновыми стрелковыми погонами. Все залеплено красноватою глиною, черною землею. Сладко и пресно пахнет свежей кровью.

И голоса. Такие будничные, такие не «к месту»:

— А я тебе говорю, что баранина. Скус у ей другой. И я видал, как вчера артельщики баранов пригнали.

— Скусная. Разварена только очень.

Чавкают рты. Икают, тяжело вздыхая. Подле, с бруствера из трупов что-то капает. Вода ли дождевая, кровь ли, кто разберет?

Плечистый офицер, с русой, больше по скулам, чем по щекам, бородой и мягкими усами, в мокром длинном кителе и шинели внакидку, в измазанном, точно изжеванном белом кепи, при сабле, подходит к Порфирию.

— Майор Горталов,— представляется он.— Вы что же тут ищете?

— Вот сына, ваше высокоблагородие, они ищут,— сын у них тут убитый,— за Порфирия отвечает унтер-офицер.

— Сына? Всех убитых здесь сносили сюда на бруствер. Он какого полка?

— Волынского, прикомандирован был к девятому стрелковому батальону.

Один из чавкавших около бруствера солдат приподнялся и сказал:

— Это, ваше высокоблагородие, вот тут, должно, положили. Офицера с золотым погоном. Поручика. Вот полее будет, под самым низом.

Желтое пятно неяркого света от фонаря упадает на такой знакомый золотой погон. Алая дорожка, две звездочки, вышитые канителью, третья сверху — металлическая набивная, и цифра «14».

— Не этот ли?

Унтер-офицер бесцеремонно колупает землю рукою, отрывая лежащий труп. Показался темно-зеленый, щегольской, у Доронины в Петербурге сшитый мундир, изорванный, залитый чем-то черным, замазанный глиною. Чуть блеснул скромный армейский галун воротника. Дальше — нельзя смотреть. Вместо милого, славного лица, всегда бодро улыбающегося, со стальными большими глазами, неотразимо милыми, — темная дыра, какое-то кровавое месиво костей, почерневшей от крови кожи, еще чего-то беловатого, жуткого своей белизной. И во всем этом копошатся большие и черные мухи. Спутанные, грязные, в крови волосы свисают вниз.

— Должно, прикладом пришибли, — тихо говорит стрелок и ближе присвечивает фонарем.

Нет... Это не может быть Афанасий!

— На сыне моем крест золотой был, — тихо, дрожащим голосом говорит Порфирий. — И кожаная ладанка с землею.

Стрелок свободно от фонаря рукою раздвигает лохмотья мундира. Белая грудь в грязи. Молодая, нежная... Рубашка... И — ладанка.

— Так, чтобы крест? Креста нет... Должно, кто снял... Позарился... Оно бывает... Ребята разные бывают. Все одно пропадать. Грехи! А ладанка, вот она и ладанка.

Унтер-офицер ставит фонарь на землю и старается снять с шеи ладанку. Он тормозит то страшное, кровавое месиво, которое было прекрасным лицом Афанасия. Тяжелые капли падают на землю. Слышнее терпкий запах крови, вязнет от него в зубах, сохнет небо. Порфирий отворачивается и закрывает глаза.

— Вот... она. Не признаете?

Конечно, это его, Афанасия, ладанка. Порфирий осторожно берет грязный кожаный мешочек и нерешительно говорит:

— Как будто?.. Не его.

Сзади подходит майор Горталов.

— Ну что? Нашли? — говорит он.

Порфирий молчит. Унтер-офицер отвечает за него:

— Нашли, да так заложен, не вытащишь. Весь бруствер разваливать придется.

— Вы, полковник, не беспокойтесь... Место приметим. Завтра, Бог даст, турок совсем отгоним, тогда и разберем убитых: кого куда... Да, может быть, вы и ошиблись. Это бывает. Скажут — убит. Даже покалеченного покажут, а он на другой день сам и объявится, живой и здоровый, даже и не раненый. Иди-

те себе спокойно. Я присмотрю за этим местом. Мои люди сейчас за патронами пойдут, они вас проводят. Ночью-то легко ошибиться.

Порфирий идет за солдатами. Темная, непогожая ночь кругом. Огненными метеорами рвутся в воздухе шрапнели, лопаются гранаты, на мгновение освещая путь, и потом еще страшнее и темнее ночь. В логу посвистывают откуда-то сбоку пули.

— Вы вот здесь, где помельче будет, ваше высокоблагородие,— говорит солдат, показывая, где перейти ручей.

«Погоны с набитой третьей звездочкой и цифрой «14»... Мундир... Как даже и в крови не признать доронинского английского добротного сукна? И ладанка? А вот креста все-таки не было? Нет, не может того быть, чтобы этот ужас, чтобы это был Афанасий!!»

Порфирий спускается с кручи, скользит, едва не падает, карабкается наверх.

— Пожалуйста, я вам помогу,— говорит солдат и поддерживает Порфирия под локоть.

Они идут, и бесконечным кажется их путь в этой темной, сумрачной ночи.

— Сына у них убило... На горталовской траншее,— тихо говорит один солдат другому.

«Скажут: убит... Даже покалеченного покажут, а он на другой день и объявится — живой и здоровый...»

Надежда не хочет оставить Порфирия.

Ладанка лежит в кармане штанов. Холодит ногу. Его ладанка... Афанасия!..

XXVII

Государь с Великим князем Николаем Николаевичем Старшим, принцем Карлом Румынским, начальником штаба генералом Непокойчицким, генералом Левицким, чинами штаба, ординарцами, сопровождаемый эскадроном лейб-казаков, к трем часам дня приехал на «Царский валик» — холм против Гривицких редутов. Там были поставлены походные полотняные стулья. Государь сел на один из них наблюдать за боем. Он был в белой фуражке с большим козырьком и в пальто.

Холодный дождь сыпал и сыпал с неба. Потоки воды текли с холма. Впереди, не переставая, как гром во время грозы, гремели пушки, то разгоралась, то смолкала ружейная стрельба.

Но ни простым глазом, ни в бинокль не было видно, что делается впереди.

Туман, низкие черные тучи, косые полосы дождя скрывали место боя. Не видно было ни пороховых дымов, ни разрывов снарядов.

Иногда на несколько минут стихнет дождь. Чуть посветлеют дали. Покажутся белые пороховые дымы, темные полосы войск, колонны резервов. Все поднимут бинокли к глазам, смотрят напряженно, до боли в глазах, стараются разобрать, что там происходит.

— Ну как,— нерешительно спросит Государь,— у Зотова?

Он отлично видит, что все стоит на тех же местах, но так хочется услышать об успехе...

— Да как будто раньше наши цепи были на этом холме, а теперь во-он куда подались,— скажет Великий князь Главнокомандующий.

Сзади раздается мрачный бас Левицкого:

— Все на тех же местах, Ваше Высочество. Это только так кажется. Подались бы вперед — батареи переменили бы позицию, а то, смотрите, где были, там и остались.

Опять туман, дождь, серые космы туч скрывают дали.

— От князя Имеретинского ординарец!

— Ну, что скажешь, молодец?

— Ваше Императорское Величество, его сиятельство князь Имеретинский приказал доложить, что генерал Скобелев потребовал все его резервы вперед. У князя больше нет войск.

И сдержанный басок Левицкого:

— Скобелев это умеет!

— Значит, нужно так,— говорит Великий князь.— А где Скобелев?

— Пошел на Зеленые горы.

Бинокли направляются влево. Там тот же туман, тучи, полосы дождя.

Томительно медленно тянется время. Государев ординарец, конвонец Абадзиев, пытается шутить, но никто не принимает его шуток.

Опять посветлело. Раздались дали. Там, где котлом кипит ружейная стрельба, стали видны дымы.

Великий князь Николай Николаевич смотрит туда в бинокль.

— Ваше Величество,— говорит он,— Скобелев на Зеленых горах!

— Слава богу! Слава богу! — говорит Государь.

За холмом слышно шлепанье конских ног по грязной дороге, побряхтывание кузова коляски. Экипаж приехал за Государем.

Из сумерек скачет ординарец, донской офицер. Он на скаку спешивается, бросает измученную лошадь и быстрыми шагами подходит к Государю:

— Ваше Императорское Величество, от генерала Скобелева! Редут Кованлек только что взят Ревельским и Либавским полками. Наши врываются в Плевну. Скобелев просит подкреплений.

Государь вопросительно смотрит на Великого князя. Левицкий говорит за Главнокомандующего:

— Ваше Величество, резервов больше на левом фланге нет.

— Передай Скобелеву, — говорит Великий князь, — пусть держится там, где стал.

Шел пятый час, и в этот непогожий печальный день начинало уже темнеть. Со стороны Радищевского редута (Омарбей — Табия) слышались крики «ура», стрельба стала там как будто тише и потом вдруг возобновилась с небывалою силою. Оттуда, обтекая Царский валик, потянулись раненые. Они шли бесконечными вереницами, то поодиночке, то целыми толпами. В тумане и полосах набегавшего дождя они исчезали, растворялись, словно призраки войны. Обгоняя их, скакал офицер-ординарец. Казак едва поспевал за ним.

— А, вот! С донесением от Зотова, — сказал Государь и повернулся к подходящему к Великому князю соскочившему с коня молодому красивому кавалергардскому офицеру в рыжих усах. Великий князь, стоявший подле Государя, показал глазами ординарцу, чтобы тот докладывал Государю.

— Ваше Императорское Величество, от генерала Зотова, Кавалергардского полка штабс-ротмистр Вонлярлярский с донесением.

— Доложи!

— Генерал Зотов приказал доложить: в четвертом часу дня Казанский и Шуйский полки пошли на выручку Углицкого и Ярославского полков, бросившихся на штурм Радищевского редута...

Офицер замолчал, смутившись.

— Ну?

— Этот наш третий штурм был отбит. Генерал Зотов приказал доложить: становится темно. Четвертый раз он штурмовать... не может...

По лицу кавалергарда было видно, как тяжело ему было передавать Государю эти неутешительные вести.

Едва Вонлярлярский отошел от Государя, как прискакал ординарец от барона Криденера и румын. Атака Гривицкого редута была отбита, барон Криденер опасался, что турки сами перейдут в наступление и что он тогда не удержит фронта.

Посланный к Криденеру офицер вернулся и доложил, что он будто бы видел турецкую кавалерию, выходящую за наши войска.

Среди свиты произошло движение. Все засуетились, беспокоились. Тревожный шепот пошел между чинов свиты. Кто-то шепнул Великому князю:

— Надо просить Государя уехать... Нельзя так рисковать... Лейб-казачий эскадрон сел на коней.

Стало темно. Снова пошел мелкий, холодный осенний дождь. Государь по-прежнему сидел на своем походном стуле. Он, видимо, сильно страдал, слушая донесения о тяжелых штурмах, отбитых турками.

Великий князь Николай Николаевич подошел к Государю и сказал:

— Ваше Императорское Величество, вам долее оставаться здесь нельзя. Я умоляю вас вернуться в Порадим. Сам я останусь здесь, пока не получу точных сведений о результатах боя.

— Ты думаешь?..

Государь тяжело поднялся с полотняного стула и, сопровождаемый дежурным генерал-адъютантом, пошел к коляске. Великий князь подошел к нему.

Государь остановился подле коляски.

— Быть может, брат, — сказал он, — не надо было начинать штурм в такую непогоду? Какие страшные потери! Мое сердце содрогается от боли... И все понапрасну.

— Ваше Императорское Величество, принц Карл и генерал Зотов настаивали на штурме сегодня.

Государь приложил два пальца к широкому козырьку мокрой фуражки, сел в коляску и откинулся в глубь сиденья. Четверик лошадей с туго подвязанными хвостами дружно принял. Коляска с поднятым верхом покачивалась и покряхтывала, пока шагом выбиралась с Царского валика на шоссе.

По шоссе коляска катила спорою рысью.

— Эй, посторонись маленько! — кричал Государев кучер Фрол, с удивительным искусством обгоняя какие-то арбы, телеги, лазаретные фургоны, толпы идущих под дождем солдат. Сквозь песню колес по шоссе щебню доносились до Государя мучительные стоны и крики.

Государь сидел в глубине коляски, откинувшись назад. Его лихорадило.

Тридцать первого августа, с утра, турки перешли в наступление, чтобы выбить Скобелева из занятых русскими накануне редутов.

Скобелев мог удержаться на своей позиции только в том случае, если бы правее его был успех. Но правее шел вялый, постепенно затихающий бой. Потеряв половину своего отряда, Скобелев был озабочен тем, чтобы вывезти раненых, а их было около семи тысяч.

Он утром объехал части, ободрил их и приказал держаться на местах. На горталовских траншеях Скобелев задержался дольше всего. Он долго смотрел в широкое, простое, честное лицо русобородого майора и, наконец, сказал ему:

— Горталов, я на вас надеюсь. Мне, вероятно, отходить придется. Так вы последним! Может быть, вам умереть придется в редуте, ваша смерть спасет других, спасет отряд.

— Ваше превосходительство, вы можете быть спокойны: Горталов живой редута не оставит.

— Спасибо. Я верю вам.

Пять раз ходили турки в атаку на занятые Скобелевым укрепления и пять раз были отбиты с громадными потерями. Под вечер хмурого дня Скобелев поехал по второму гребню Зеленых гор. Вдоль всего шоссе лежали раненые. Они провожали Скобелева печальными глазами.

— Отчего не вывезены? — обратился Скобелев к фельдшеру.

— Повозок не хватает, ваше превосходительство.

Скобелев остановил лошадь.

— Алексей Николаевич, — сказал он, — пишите князю Имеретинскому: «Ваше сиятельство, ответите перед Богом за души тех несчастных, которые у ног моих взывают о помощи, которой я не могу дать».

Порфирий тихо сказал Куропаткину:

— Я знаю, что князь все повозки отправил нам. У князя ничего нет. Ему будет очень тяжело читать эту записку.

Куропаткин молча пожал плечами и отдал записку ординарцу:

— На! Вези! Князю Имеретинскому. Понимаешь?

Скобелев остался на втором гребне. Он печально смотрел в туманную даль. Из этой дали появился конный ординарец:

— Ваше превосходительство, эстляндцы отходят...

— Вижу... Все отходят... Значит — нельзя больше держаться. Есть невозможное и для моих войск... Когда кругом такая тишина...

Цепи точно закоптелых, загрязненных землею, измученных, исстрадавшихся солдат хмуро шагали мимо Скобелева. Сбоку, оглушая Скобелева и его свиту, 24-орудийная батарея была залпами, сдерживая напавших на отступающие части турок.

Сзади, очевидно не ожидая найти Скобелева в такой близости от неприятеля, подъехал к генералу ординарец от Зотова.

— Ваше превосходительство, от генерала Зотова.

— Давайте, что у вас, — протягивая руку в белой перчатке к ординарцу, сказал Скобелев и взял пакет. Он прочел вполголоса Куропаткину содержание пакета:

«Генералу Скобелеву. Великий князь Главнокомандующий желает, чтобы вы продержались на ваших местах хотя бы только сутки. Генерал-лейтенант Зотов. 31 августа, 4 часа пополудни».

Ординарец стоял в ожидании ответа. Впереди сотня донцов и сотня Владикавказского полка с гиком поскакали на зарвавшихся в преследовании турок. Через пожелтевший и покрасневший виноградник с шорохом, позванивая котелками, проходили бесконечными группами солдаты.

— Что, Мосцевой отошел? — крикнул в их толпу Скобелев.

Бравый фельдфебель, шедший за ротного, остановился, вытянулся и доложил:

— По второму вашему приказанию вышел из редута и, разметав штыками турок, идет левее нас.

— А Горталов?

— Людей отправил... Сам остался... Ребята сказывали, говорил им: дал слово вашему превосходительству живым редута не сдавать.

Солдат в изодранной прокоптелой шинели остановился против Скобелева и доложил, взяв ружье «к ноге»:

— Я есть с горталовского редута! Майор наш один рубился супротив цельной евонной роты. На штыки подняли турки нашего майора. Вот чего мне довелось повидать.

Солдат смахнул слезу с глаз, взял ружье «вольно» и пошел вдоль шоссе.

— Ваше превосходительство, что прикажете ответить генералу Зотову? — спросил ординарец.

— Вы видели? Слышали?

Скобелев написал на записке Зотова: «Получена в полном отступлении» — и передал записку обратно ординарцу.

— Поедем, Порфирий Афиногенович, — сказал Скобелев, обращаясь к Порфирию. — О сыне не думай. Самая у него честная могила... Солдатская, бескрестная, безымянная...

Порфирий хотел ответить, хотел сказать что-то, но в этот миг кто-то тяжелой, крепкой палкой ударил его по груди. Как будто Скобелев перевернулся вместе с лошадью, и странно слышался сквозь шум и гул, вдруг ставший в ушах, его спокойный голос:

— Что? Ранен? Ну, поздравляю! Ничего... Ничего... Да снимите полковника с лошади. Помогите ему!

Казаки подхватили Порфирия и понесли его вниз с холма.

Скобелев отходил на первый гребень. Яростно гремели пушки, батарея, отстреливаясь, повзводно отходила с позиции. Между Скобелевым и турками были только одни казаки.

XXIX

Стояла осень. В Петербурге погода была изменчива. То по бледно-голубому небу неслись белые, как прозрачная кисея, облака, гонимые резким западным ветром, Нева вздувалась, горбами стояли разводные плашкоутные мосты и звеня неслись на них запряженные тремя лошадьми конные кареты, в садах качались тонкие и стройные рябины, в золотом листу обнажались березы, и лиственницы у Исаакиевского собора стояли безобразно голые. То вдруг станет тепло и тихо, седой туман накроет город, и не видно другого берега Невы, и сама река клубится седыми дымами. А потом пойдет мелкий-мелкий, насквозь пронизывающий, настоящий петербургский дождь, в домах станет так темно, что с утра приходится зажигать свечи и керосиновые лампы. Печаль нависнет над городом.

В эти печальные осенние дни гвардия уходила на войну.

Вера видела, как в колонне по отделениям, в мундирах и походному — в фуражках, с тяжелыми ранцами за плечами, туго подобрав винтовки, бесконечною лентою шли по городу семеновцы. Их оркестр гремел на деревянном Лиговском мосту у Николаевского вокзала, а хвост колонны, где белели полотняные верхи лазаретных линеек, только выходил с Владимирского проспекта. Движение было остановлено. Толпы народа провожали полк.

— На войну идут, родимые!.. Вернутся, нет ли...

Ушел с Преображенским полком гигант красавец князь Оболенский, увел с Выборгской стороны Московский полк статный Гриппенберг, с Васильевского острова ушли финляндцы с лихим молодцом Лавровым.

— Умирать пошли!.. Своих выручать!

— Слышать... Турки несосветимую силу собрали. Англичанка им все, все доставляет!..

Провожали без энтузиазма первых дней войны. Что-то нехорошее, тяжелое, недоверчивое носилось в воздухе. Уходили после молебнов, с иконами, шли бодрым шагом, смело, под звуки маршей, под барабанные бои — и те, кто оставался, ощущал холодную пустоту оставленных казарм, покинутость столицы.

— Гвардия в поход пошли!.. Как в двенадцатом году! Что же, силен, что ли, так уже турок стал?..

Тридцатого августа, как полагалось в «табельный» день, день тезоименитства Государя Императора, по распоряжению полиции город был убран флагами. Бело-сине-красные и бело-желто-черные полотнища развевались на улицах, на подъездах домов, на крышах. В газовые фонари были ввернуты звезды, у городской Думы горели вензеля Государя и Государыни.

Из газет знали: тяжелые бои идут под Плевной. «Наши» берут Плевну. Ожидали большой победы.

Но прошло 31-е, потом наступило 1 и 2 сентября, появились сдержанные телеграммы об отбитых штурмах, пошли корреспонденции о мужестве наших войск и о силе турецких укреплений. Плевна не была взята. Потом поползли, как водится, темные слухи о громадных потерях, «которые скрывают», о «панике», о том, что будто турки чуть было к самому Систову не прорвались, что Государь ускакал с поля сражения... Потом все притаилось и смолкло: ждали — гвардия себя покажет.

Этой осенью Вера, пользуясь тем, что Перовская продолжала жить в Петербурге, довольно часто бывала у новой подруги. С неистовой, лютой злобой и ненавистью говорила Перовская о Государе, о генералах и офицерах. Она тряслась от негодования.

— Царь посещает госпитали, плачет над ранеными и умирающими солдатами,— говорила Перовская.— Понятно — воспитанник чувствительного Жуковского! И тот же царь посылает солдат грудью брать турецкую крепость Плевну. Штурм откладывают на тридцатые, чтобы в именины поднести царю Плевну. Ему строят в поле, как в театре, ложу, и он сидит там, окруженный свитой. Шампанское, цветы, фрукты — и в бинокль видно, как тысячами гибнут русские люди!.. Я ненавижу такого Государя!.. Студенты поют... Вы слышали?

...Именинный пирог из начинки людской
Брат подносит Державному Брату...

А на севере там — ветер стонет, ревет
И разносит мужицкую хату...

Перовская была возбуждена. Должно быть, не спала ночи. Веки были красные и опухшие. В глазах горел злобный огонь.

— Вера Николаевна, вы должны, должны стать человеком... Вы должны идти с нами! Нас называют нигилистами. Неправда!.. Мы не нигилисты... Что мы отреклись от причудливых манер прошлого века, остригли волосы и стали учиться познавать природу — так это нигилизм?.. Нет, нигилисты — не мы, а они... Это им плевать на все. Царь, помазанник Божий, пример для всей России, бросил больную Императрицу и охотится за девушками по институтам. А там!.. Какое холопство, любая мечтает лечь на царскую постель!.. И этот царь гонит людей на войну!.. Я ненавижу его. Слушайте, Вера Николаевна, я надеюсь, что скоро мы все соберемся на съезд. Где? Еще не знаю, где-нибудь в провинции, где нас не знают, не на виду, где нет полиции. Там будут хорошие люди. Вера Николаевна, устройтесь так, чтобы приехать на этот съезд, послушайте настоящих людей. Посмотрите и сравните — ваш мир и наш...

Вера уходила от Перовской подавленная и смущенная. Перед нею бесконечною змеею, белея околышами фуражек, шел по Загородному проспекту Измайловский полк. Он шел на войну. И едко под ритм тяжелых шагов и барабанного боя звучали в ушах Веры только что слышанные стихи:

...Именинный пирог из начинки людской
Брат подносит Державному Брату...

С ужасом смотрела Вера на солдат. Людская начинка!.. Людская начинка!..

Грохот барабанов, свист флейт ее раздражали. Ей хотелось бежать, закрыв глаза, бежать от ужаса войны, от ужаса солдатчины. Но дома ее ожидали ладурнеровские и виллевальдовские картины и гравюры: солдаты, солдаты и солдаты!!

XXX

В конце ноября, когда в Петербурге было тихо под снежным покровом зимы, когда беззвучно скользили сани — вдруг город расцветился пестрыми флагами, с крепости палили пушки: пришло известие — Плевна взята! Осман-паша сдался со всею своею армией!

Сквозь радость победы по Петербургу шла печаль о многих потерях гвардии под Плевной. Гвардия показала себя...

Передние страницы «Нового Времени» и «Голоса» чернели объявлениями об убитых лейб-егерях, москвичах и других...

Освобожденная от осады Плевны армия пошла на Балканы. И опять все затихло.

В газетах часто стала повторяться приевшаяся фраза: «На Шипке все спокойно...»

Осман-паша сдался и пленником переехал в Россию. Сулейман-паша крепко караулит проходы через Балканские горы.

Русские войска замерзали на Балканах.

Возвратившись с катка в Таврическом саду, Вера в прихожей увидела беспорядок. Чемоданы, походный вьюк, изящный заграничный саквояж графини Лили лежали на полу, на вешалке висел тяжелый «романовский» полушубок с полковничьими погонами Порфирия, меховое манто графини и фуражка.

Порфирия ожидали к Рождеству из Крыма, где он оправлялся после ранения и где за ним ухаживала на правах невесты графиня. Значит, вернулись раньше.

Приехавшие сидели в кабинете Афиногена Ильича. Порфирий поседел, похудел и помолодел. Седина шла к нему. Счастье светилось в его глазах. Графиня Лиля только что из вагона — а как была она свежа!! И челка на лбу завита, и локоны штопором подле ушей. Ни одного седого волоса... Она была в своем счастье прелестна и не спускала влюбленных глаз со своего героя и с его Георгиевского креста.

Вера поцеловала дядю в лоб и расцеловалась с графиней.

Порфирий уже успел сразиться с отцом по вопросам стратегии.

— Прости меня, папа,— говорил он,— но после всего того, что я видел на войне, я считаю, что для русского солдата нет ничего невозможного. И русская армия перейдет через Балканы. Воля Великого князя Николая Николаевича Старшего непреклонна. Сулейман-паша будет разбит. А какой дух в войсках! Нужно все это видеть! Перед тем как ехать сюда, я проехал в ставку Великого князя. Мороз... Снег... У Великого князя — киргизская юрта с железной печкой. Подле, в обыкновенной холщовой палатке, на соломе лежат очередные ординарцы. Никто не ропщет. Все гордятся тем, что так же страдают от холода, как и солдаты. Армия едина!.. Землянки, палатки, весь неуют зимнего похода для всех одинаков. И эти люди, гово-

ришь ты, папа, не перейдут Балканы?! Скобелев, Гурко, Радецкий не одолеют Сулеймана? Да что ты, папа!

— А я тебе говорю, что зимой не перейдут. Летом, может быть. А зимой ни природа, ни турки не пустят...

— Турки?.. Если нам тяжело — им еще много раз тяжелее. С нами победа — у них поражение... И как началось-то!.. С самого Кишинева.

— Однако под Плевной попотеть пришлось.

— Да, пришлось. Верно, и это даже хорошо — легкая победа — не победа, не слава. Во всех полках поют теперь песню, сочиненную ротмистром Кулебякиным, еще в Кишиневе, когда Государь передал свой Конвой Великому князю Главнокомандующему. Вдохновенная песня! Она в полной мере выражает наши общие чувства.

— Что же это за песня?

— Прочтите, Порфирий, непременно прочтите, вот и Вера пусть послушает,— восторженно сказала графиня Лиля.

— *С Богом, терцы, не робея,*— начал Порфирий и добавил: — В полках поют — «братцы» вместо «терцы».

Смело в бой пойдем, друзья!
Бейте, режьте, не жалея,
Басурманина-врага!..

Там, далеко, за Балканы,
Русский много раз шагал,
Покоряя вражьи станы,
Гордых турок побеждал.

Так идем путем прадедов
Лавры, славу добывать:
Смерть за веру, за Россию
Можно с радостью принять!

День двенадцатый апреля
Будем помнить мы всегда:
Как наш Царь, Отец Державный,
Брата к нам подвел тогда.

Как он, полный Царской мочи,
С отуманенным челом,
«Берегите,— сказал,— Брата,
Будьте каждый молодцом...

Если нужно будет в дело
Николаю вас пустить,
То идите в дело смело

Дедов славы не срамить!..»
С Богом, братцы, не робея,
Смело в бой пойдем, друзья...
Бейте, режьте, не жалея
Басурманина-врага...

Из своего дальнего угла Вера увидела, как у старого Афиногена Ильича слезы навернулись на глаза. Графиня Лиля смотрела на Порфирия с такою нескрываемою и напряженною любовью, что Вере стало стыдно за нее. Несколько минут все молчали, потом тихим голосом сказал Афиноген Ильич:

— Ну вот и слава богу, что так все обошлось. Сына отдал за честь и славу России, свою, и не малую, кровь пролил... Благодарю Господа Бога, что вынес тебя из войны хотя и подраненным, но здоровым... Что думаешь теперь делать? Когда свадьба?

— Свадьба в январе,— сказала, сияя прекрасными глазами, графиня Лиля.

— Меня прикомандировывают к Академии колонновожатых.

— А! Ну и отлично! А те?.. Что же? Без крови и жертв и точно война славы и чести не имела бы... Ну а Балканы зимою перейти невозможно!.. Это говорят военные и большие авторитеты. Никому невозможно!.. Ни Гурко, ни Скобелеву! Просто никому! Даже и Суворову невозможно — а его у вас нет... Невозможно!!

XXXI

— Берись!.. Раз, два, три, берись!

Треск... Какое-то звяканье, шорох, шум, и опять тишина могилы. Сыплет снег. Все было кругом. Лес, круча, камни... Появившиеся было в небе оранжевые просветы, словно дымом, затянуло снеговыми тучами. По-прежнему воет вьюга, старый дуб шелестит оставшимися ржавыми листьями и стонет под ветром.

И опять, и теперь уже совсем близко, в морозном, редком горном воздухе четко слышны человеческие голоса.

— Берись!..

— Откровенней, братцы! Тащи откровенней!

— Не лукавь, Василий Митрич!

И — «Дубинушка»...

Хриплый, простуженный сорванный голос начинает:

— Эй — дубину-шка, ухнем!

Хор, человек двадцать, подхватывает:

— Да — зеле-е-ная сама пойдет... Идет! Идет!.. Идет!..

— Откровенней, братцы! Берись! Раз, два, три — берись!

Шорох, треск — и тишина!.. Растаяли голоса, смолкли.

Точно и не было их совсем. Ветер свистит в лесу. Залепляет вьюга обмерзлые стволы осин крупным снегом. Стынет сердце.

Князь Болотнев приподнял голову и усилием воли прогнал начавший одолевать его сон. Час тому назад — вон за тем снежным бугром — заснули, чтобы никогда уже не проснуться, и сопровождавшие князя стрелки — охотники — Шурупов и Кошлаков, и с ними проводник болгарин. Князь был послан от генерала Гурко отыскать колонну генерала Философова. По карте казалось просто — спуститься с перевала, пройти сквозь лес — и вот она, дорога на деревни Куклен и Станимахи, где должна проходить колонна 3-й гвардейской пехотной дивизии. Так и болгарин говорил. А как пошли по колено, по грудь в снегу, как начались овраги, буераки, крутые подъемы, как обступил кругом черный лес, — стало ясно — не пойдешь напрямик и назад не вернешься. Ночь кое-как переночевали, а когда с утра пошли голодные, прозябшие, — стали выбиваться из сил, обмерзлые люди свалились и заснули вечным сном.

Инстинкт самосохранения толкал вперед князя Болотнева. Он стал из последних сил карабкаться на гребень и вдруг услышал голоса.

Сон?.. Галлюцинация слуха?.. В глазах туман, в ушах гул и слабое сознание: нужно сделать еще усилие и подняться во что бы то ни стало, подняться еще немного. Нужно посмотреть, что там, за гребнем?

Поднялся.

Совсем близко, шагах в пятидесяти, по скату горы вьется узкая дорога, и по ней чернеют, белеют, сереют занесенные снегом люди. Солдаты, с лямками на плечах, впряглись в орудие, другие ухватились руками за колеса, натужились, напряжились, и тяжелая «батарейная» пушка с коричневым, в белом инее, телом вкатилась на гору. Офицер в легкой серой шинелишке, с лицом, укрученным башлыком, распоряжался.

— Вторая смена, выходи, — крикнул он, повернулся и увидел спускавшегося с кручи Болотнева.

— Кто вы? Откуда? — крикнул он и, поняв состояние Болотнева, закричал: — Эй, послать скорее фельдшера пятой роты сюда. Идемте, поручик... Совсем ознобились? Так и вовсе замерзнуть недолго.

В изгибе дороги горел в затишке у песчаного обрыва костер. От огня песчаная круча обтаяла, и было подле нее тепло, даже жарко, как у печки. Здесь сидело несколько офицеров и солдат отдохавшей смены. У кого-то нашлась во фляге водка. Услужливый солдат-гвардеец одолжил Болотневу кусок черного сухаря. Оттерши губы — они не повиновались князю, — Болотнев рассказал, кто он и зачем послан.

— Это и есть колонна генерала Философова, — сказал офицер, угощавший князя водкой. — Вы в лейб-гвардии Литовском полку. Благодарите Бога, что так удачно вышли. Отогревайтесь у нас. С нами и пойдете.

В тепле костра отходили иззябшие члены. Нестерпимо болели ознобленные пальцы, клонило ко сну, и то, что было вокруг, казалось странным чудодейным сном.

В стороне стояли отряженные, обамуниченные артиллерийские лошади. По дороге вытянулись передки и орудия. Рослая прислуга гвардейской артиллерийской бригады и солдаты литовцы по очереди на лямках и вручную тащили орудие за орудием по обледенелому подъему на гору.

Снег перестал сыпать. Стало потише. Солдат принес охапку сучьев и подбросил в огонь. Пламя приутихло, зашипело, белый едкий дым повалил в лицо Болотневу, потом пламя победило, заиграло желтыми языками. Теплый синеватый воздух заструился перед глазами князя. Все стало казаться через него необыкновенным, точно придуманным, стало слагаться в сложное, необычайное сновидение.

Откуда-то сверху закричали:

— Посторонись!

— Обождите маленько! Дайте проехать...

С горы на осклизающей лошади ехал казак в помятом, порыжелом кителе, укрупенном башлыком и какою-то красною шерстяною тряпкой. Казак был в ватной рваной теплушке неопределенного цвета, с ловко прилаженной на поясной портупее шашкой, с винтовкой в кожаном чехле за плечами. Он держал в руке большой черный узел. За ним верхом на казачьей лошади ехал пожилой священник в меховой шапке и шубе на лисьем меху.

Казак остановил лошадь, как раз против Болотнева, и сказал:

— Слезайте, батюшка. Тута оно и будет. Самое это место. Вот она и метка моя.

Казак показал на молодую осину, росшую с края обрыва. На ней ножом был вырезан восьмиконечный крест. След ножа был совсем свежий, белый, не успевший покраснеть.

Офицеры и с ними Болотнев подошли к краю пропасти. Черные скалы отвесно ниспадали вниз. Далеко, в глубине, курила и мела метель. Все было бело и пустынно.

Священник слез с лошади. Казак привязал свою и священникову лошадей к дереву, развязал узел и подал священнику бархатную скуфейку, епитрахиль, крест и кадило и, подбросив из костра уголька в кадило, раздул его. Потом раскрутил свой башлык и тряпку и снял кивер. Зачугунелое от мороза, темное лицо под копною упрямых русых волос стало сурово и торжественно.

— Пахом? — оборачиваясь к казаку, спросил священник.

— Пахом, батюшка... Пахом его звали. Нижне-Чирской станции казак Пахом Киселев.

Священник кадил над пропастью. Он пел жидким тенором, казак, задрав голову, вторил ему, упиваясь своим голосом.

— Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, — звучало над пропастью подле потрескивающего костра похоронное пение.

— Житейское море, воздвигаемое зря, — начинал священник. И казак жалобным, точно воющим голосом подхватывал:

— Напастей бурюю.

Оба голоса сливались вместе умиротворенно:

— К тихому пристанищу, к Тебе прибегах.

Офицеры и солдаты литовцы стояли кругом, сняв фуражки. Все это было так необыкновенно, странно и удивительно.

— Вечная память!.. Вечная память! — заливался казак с упоением, и теперь ему вторил священник и крестил пропасть крестом.

Священник взял ком снега и, глядя вниз в жуткую бездну пропасти, бросил его со словами:

— Земля бо еси и в землю отыдеши.

За священником бросил ком снега казак, и потом стали бросать офицеры и солдаты. Все набожно крестились, еще ничего не понимая.

— У-ух, — сказал кто-то из офицеров, глядя, как долго летел, все уменьшаясь, ком снега.

— Глыбко как, — сказал солдат.

Казак принял от священника кадило, скуфью и епитрахиль и увязывал все это в узел. К казаку подошли офицеры.

— Что тут такое случилось, станичник?

— Дык как же,— сказал казак, привязывая узел к седельной луке.— Сегодня ночью это было. Ехали, значит, мы от генерала с пакетом. А у его, у Киселева то ись, конь все осклизается и осклизается. Я ему говорю: «Ты, брат, не зевай, придерживай покороче повод». Гляжу, а его конь, значит, падает у пропасть. Я кричу: «Брось коня! — утянет он тебя», а он: «Жалко,— говорит,— коня-то — доморощенный конь-то» и на моих глазах и опрокинулся с конем в бездну. Я стою, аж обмер даже. Ухнуло внизу, как из пушки вдарило. Я слушаю, чего дальше-то будет? И не крикнул даже. И тут враз и метель закурила. Ну, я вот пометку сделал на дереве, чтобы отслужить об упокоении раба Божия... Чтобы, значит, все по-хорошему, родителям сказать, что не неотпетый лежит он у пропасти. Спасибо, батюшка, поедете, что ли. Путь-то далек.

Священник взобрался на лошадь, и оба поехали наверх и скрылись в лесу, за поворотом дороги.

Были? Не были? И были, как не были. Так и потом князь Болотнев, вспоминая все это, не знал — точно все это было или только приснилось в морозном сне у костра.

XXXII

На ночь было приказано стать, где стояли, вдоль Старо-Софийской дороги. Далеко вниз, извиваясь по краям дороги, засветились костры. Кое-где раскинули палатки. Старый полковой доктор Величко переходил от костра к костру, осматривал и оттирал ознобленных.

Князя Болотнева пристроили к пятой роте штабс-капитана Федорова. И только офицеры устроились, уселись вокруг костра, как в отсвете появилась высокая фигурка командующего 2-м батальоном капитана Нарбута.

— Вы вот что, господа, прошу не очень-то тут разлеживаться. Ознобленных много. Потрудитесь по очереди каждые полчаса обходить роты и не позволять, чтобы солдаты засыпали. Народ приморился, а мороз жесток. Доктор Величко сказал: уже за восемнадцать градусов перевалило. Долго ли до греха. Заснет и умрет. И сами не спать.

— Трудновато, господин капитан,— сказал Федоров.

— Будем, Иван Федорович, мечтать,— вздыхая, сказал белокурый, безусый молодой офицер, с такими нежными чертами

лица, такой хорошенький, с таким глубоким грудным женским голосом, что его можно было принять за переодетую девушку.— Мечтать о камине, о горящих письмах, искрах прожитой любви, пережитого счастья, о знойном юге, об александрийских египетских ночах и смуглых красавицах, полных африканской страсти.

— Поэт!.. Мечтать о прожитой любви!.. В твои-то годы, Алеша!.. Сочини нам лучше стихи, а мы их на песню положим и будем петь в нашей пятой роте.

Алеша покраснел и застыдился. Капитан Нарбут пошел дальше по ротам. Из темной ночи в свете костра появился красивый ефрейтор. Он принес дымящийся паром котелок и, подавая его офицерам, сказал:

— Ваше благородие, извольте, кому желательно, сбитеньку солдатского, горячего.

Застучали о котелок жестяные кружки и мельхиоровые стаканчики.

— Славно!.. Спасибо, Игнатов. В самый раз угодил.

— Рад стараться. Допьете, я еще вам подам.

— Ну так как же, Алеша, стихи?

— Зачем мне сочинять, когда давно и без меня сочинили стихи, так подходящие к тому, что теперь совершается.

— А ну? Говори...

— Читайте, Алеша.

— Мы идем на Константинополь, господа. Мы возьмем Константинополь! А двадцать два года тому назад сочинили на Дону про это такие стихи.

Алеша распевно, стыдясь и смущаясь, стал говорить. Солдаты придвинулись к костру и слушали, как читал стихи Алеша.

Стойте крепко за святую
Церковь, общую нам мать.
Бог вам даст луну чужую
С храмов Божиих сорвать.
На местах, где чтут пророка,
Скласть Христовы алтари,
И тогда к звезде Востока
Придут с Запада цари.
Над землею всей прольется
Мира кроткая заря,
И до неба вознесется
Слава Русского Царя!

Вот,— совсем по-детски заключил смущенный Алеша.

Офицеры примолкли.

Из темноты, от песчаного пристена раздался простуженный, грубый солдатский голос. Кто-то с глубоким чувством сказал:

— И до неба вознесется
Слава Русского Царя! —

и тяжело вздохнул.

Ротный Федоров узнал голос.

— Ты чего, Черноскул? — сказал он.

— Я ничего, ваше высокоблагородие. Очень складно и душевно их благородие сказать изволили. Как у церкви, молитвенно очень.

— Вот я и думаю, — сказал Алеша, и Болотнев увидал, что крупные слезы блестели в Алешиных глазах, отражая огонь костра. — Вот я и думаю — мы уже на Балканах. Еще одно усилие — и вот он — южный склон. Долина Тунджи и Марицы! Долина роз!.. А там Филиппополь, Адрианополь и... Константинополь! Заветные мечты Екатерины Великой сбудутся. Славяне станут навсегда свободны... На место Олегова щита на вратах Цареграда будет повешен Александром православный крест. Какая это будет красота! И это мы, лейб-гвардии Литовский полк!.. Тут и про мороз забудешь. Вот какое у нас было прекрасное прошлое! Мы создадим великое будущее!

— А ты слышал, Алеша, — жестко сказал черноусый поручик с темным закоптелым лицом, — о прошлом думают дураки, о будущем мечтают сумасшедшие, умные живут настоящим.

Лежавший по другую сторону костра на бурке князь Болотнев вскочил.

— Послушайте, — сказал он, — чьи это слова?.. Это ваши слова?

— А вы разве сами не знаете? — сказал поручик.

— Это сказал или дурак, или сам сумасшедший, — взвизгивая, закричал Болотнев и подошел к офицерам.

— Однако это сказал ни тот и ни другой, это сказал — Наполеон!

— Наполеон? Ну что из того? Разве не ошибался Наполеон? Да и кто не ошибался? Наполеон писал свои воспоминания, а кто вспоминает и, значит, думает о прошлом — тот, значит, дурак! Значит, он сам дурак! Когда он замышлял поход на Россию, взятие Москвы — он думал о будущем... Сумасшедший!.. Да понимаете ли вы, — кричал Болотнев, топчась у костра, — у нас нет настоящего! Нет!.. Нет!.. И нет!! У нас есть, вер-

нее, было — только прошлое и будет будущее! Вот я сделал шаг от костра.— Болотнев и точно отошел на шаг от костра.— И этот шаг, то место, где я только что стоял,— уже в прошлом. Оно ушло. Его нет, и я могу только вспоминать о нем. Это все равно — миг один, одно мгновение прошло, или прошли века — они прошли! Их нет! И когда придет наш конец, вся жизнь станет прошлым — перед нами откроется новое будущее!! Как и сейчас, каждое мгновение перед нами открывается — будущее!..

Лицо Болотнева горело, как в лихорадочном огне. Глаза сияли, отражая пламя костра.

— Он бредит,— сказал штабс-капитан Федоров.— У него лихорадка.

Болотнев не слышал его. Он продолжал и точно будто в бреду:

— Вся моя прошлая жизнь — одно воспоминание. Скверное, скажу вам, господа, воспоминание. Ошибка на ошибке — гнилая философия Запада. И я познал, что есть только одна философия, и выражается она коротко: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, аминь!» В этих восьми словах — вся мировая философия, все оправдание и смысл нашей жизни, в этом бесстрашие и мужество нашего солдата, в этом счастье и примирение с самою ужасною судьбою, примирение с нищетою, бедностью и страданиями этого мира!.. Как могли все эти заумные философы, которых я изучал и кому я верил, проглядеть эти восемь слов?! Вся моя будущая жизнь потечет по иному руслу. Не по марксовской, энгельсовской указке, не по Миллю, Спенсеру, Блюхнеру, Дарвину — и прочим болванам-философам, в большинстве из иудеев, заблудившихся между трех сосен, но по Евангелию... И служить я буду не народу, но Государю и Родине, и верить буду не в то, что я произошел от обезьяны, но что я создан по образу и подобию Божию, и буду ждать, пламенно ждать воскресения мертвых!..

Шатаясь, как пьяный, Болотнев подошел к краю пропасти и, остановившись на том месте, где священник днем отпевал казака, крикнул в бездну:

— Пахом Киселев, ты меня слышишь?

Все притаилось кругом. Прошло несколько томительных, странно жутких мгновений. Чуть потрескивал костер. И вдруг из темной бездны, издали, глухо, но явственно ответило эхо:

— Слышу-у-у!!

Все сидящие у костра вздрогнули и переглянулись. Болотнев ухватился руками за осину и нагнулся к пропасти. Он крикнул страшным голосом:

— Станица! Слышишь?

Снова издалека, но теперь чуть слышно и не так ясно донеслось:

— Слышу!

Болотнев пошатнулся и свалился бы в пропасть, если бы к нему не подбежали офицеры и не оттащили его от края обрыва.

— Алеша,— сказал Федоров,— сведи его к доктору Величко... У него, должно быть, жар...

XXXIII

Обледеневшие зубы Болотнева стучали о край манерки со спиртом. Доктор Величко стоял над князем.

— Вот так... Славно — хорошо, доктор милый. По жилам тепло побежало... И страхи прошли. Теперь уснуть бы немного, капельку, капелюшечку!

— Уснуть никак нельзя, поручик. Уснуть — умереть...

— Гамлет, доктор, сказал — «умереть — уснуть...»

— А у нас, поручик, наоборот — уснуть — умереть. Вон видите — лежат... И оттереть не успели...

— Что же, доктор,— им жизнь будущего века. Тоже неплохо... Еще глоточек, доктор... Я ведь очень люблю выпить... Мысли проясняет и тепло по жилам; так это приятно...

— И выпить не дам... Сидите, грейтесь у костра. Гоните дремоту... Ходите...

— Легко сказать — ходите... Я устал, доктор, дьявольски — устал и спать, спать такая охота!.. И мне страшно здесь, в лесу.

— А вы пойдите и людям помогите. Вон видите, пошли снова к орудиям.

И точно — стало светлеть — еще не было настоящего рассвета, но ночь уже уходила, и предметы в прозрачном горном воздухе стали виднее, на дороге раздались крики:

— Раз, два, три, берись!.. Бе-е-ерись!..

— Откровенней, братцы! Берись!..

К полудню взобрались наконец на вершину. Снег сыпал, и ветер завывал в лесу. На обширной голой лесной прогалине отряд стал в резервном порядке. Равнялись во взводах и брали «в затылок», как на Мокотовском поле, в Варшаве. Обмороженные, занесенные снегом — белыми, снежными богатырями стояли литовцы по колено в снегу. Артиллерия запрягла лошадей, орудия взяли на передки.

Дружно, по команде, взяли «на караул». Командир полка барон Арпсгофен подъехал к полку.

— Литовцы! Мы на Балканах! — сказал он. — Поздравляю вас. Спасибо, молодцы, за беспримерный в истории подъем!

— Рады стар-р-ратся, ваше превосходительство-о-о! — грянул дружный ответ.

Командир полка ехал вдоль фронта батальонов. Темные, обмороженные, исхудалые лица, с выдававшимися скулами, запавшими глазами, поворачивались за ним.

Трое суток шли без горячей пищи... Трое суток — черствый, черный солдатский сухарь да вода из-под снега. У каждого, было что-нибудь озноблено. В башлыках, в оборванных, обожженных пламенем костров шинелях, измученные подъемом на гору, гордо, с высоко поднятыми головами, стояли они. Какая слава была у них в прошлом, какие подвиги готовились совершить они в будущем!..

— Песельники, вперед роты.

Бегом по снегу, откашливаясь, выбежали солдаты. Взвились на плечи запорошенные снегом ружья, первая рота качнулась и стала выходить на дорогу.

Сквозь вой метели раздался хриплый, простуженный голос запевалы:

Нам сказали про Балканы,
Что Балканы высоки!..
Трое суток проходили —
И сказали — пустяки!..

Рота дружно подхватила:

Гремит слава трубой,
За Дунаем, за рекой,
По горам твоим Балканским
Раздалась слава про нас!..

Князь Болотнев шагал с пятой ротой рядом с Алешей. Снег по колено, шли маленьким шагом, задыхались люди, воздух схватывал горло. Запевала в пятой роте звонким тенором выводил:

Справа — дьявольские кручи,
Слева — скалы до небес...
Перед носом ходят тучи,
За ноги хватает бес...

Песельники дружно приняли:

Гремит слава трубой,
Мы дрались, турок, с тобой,—
По горам твоим Балканским
Раздалась слава про нас!..

— Эх, лихо-то!.. Эх,— славно-то как,— в такт песне говорил князь и присоединял свой голос к голосам поющих солдат...

— Люблю!.. Не унываем!.. Не унывать, ребята!..

У спуска с горы остановились. Командиры батарей, полковники Альтфатер и Ильяшевич, стояли спешившись, и старый фельдфебель в шинели, расшитой золотыми и серебряными шевронами, в заиндевелых, нафабранных черных бакенбардах, громадный и могучий, как русский медведь, сильный и крепкий, докладывал, разводя руками в белых перчатках:

— И в поводу, ваше высокоблагородие, не спустишь! Эва, круча и опять же лед! Чисто масляная какая гора! Лошадей не удержать, из хомутов вылезут.

— Придется опять пехоту просить,— нерешительно сказал Ильяшевич,— людьми спускать.

— И людям, ваше высокоблагородие, тоже никак не сдержать, как ее подхватит, понесет — людей покалечит. Сорвется в пропасть, не приведи бог...

Орудия загромождали дорогу. Пехота остановилась сзади. Смолкли песни. Ездовые слезли с лошадей. Мороз стал крепче. Вьюга стихла; только ветер шумел в лесу. На мгновенье проглянуло желтое, негреющее солнце.

— Разве вот чего,— помолчав, сказал фельдфебель,— ежели ее к дереву привязать. Срубить какое раскидистое дерево и к комле привязать за колеса. И, как на тормозу, спускать...

— А что же?.. И точно...— согласился Альтфатер.

Застучали в лесу топоры. Валили деревья, привязывали их к орудию сзади, за колеса, на хобот садился бомбардир-наводчик. Пехота окружала пушку.

— Ну, братцы, помаленьку, накатывай.

Пушка катилась на спуск, дерево держало ее, на дерево садились люди.

Литовский унтер-офицер подошел, покрутил головою и сказал:

— Ну чисто Масленая — с гор катанье. А еще и Рождества не было.

С пушки кричали:

— Пошла, пошла, матушка!

— Дер-жи!.. Дяр-р-ржи, чер-р-рт!!
— Помаленьку, братцы, не давай закатываться, пусть помаленьку ползет!
— Ничего, управятся, сознательный народ!
Орудие за орудием, ящик за ящиком катились вниз. За ними в поводу сводили лошадей.
Спуск длился долго. Ночь застала полк на вершине

XXXIV

На южном склоне Балкан стало полегче. Не то чтобы было теплее, но — казалось — теплее. Главное же — подтащили обозы, подошли ротные котлы и с ними кашевары и артельщики. Солдаты похлебали горячего варева и стали веселее. Похлебал с солдатами их ротных щей и князь Болотнев, но веселее не стал. Непонятная тоска, точно предчувствие чего-то страшного, сосала его под сердцем.

На южном склоне появились турки. В глубоком ущелье, занесенном снегом, под Ташкисеном, дрались с ними по колено в снегу. Утомление войск достигло предела.

Под вечер пятая рота литовцев пошла на аванпосты и наткнулась в лесу на составленные в козлы русские ружья. За ними сидели и стояли, согнувшись и прислонившись к деревьям, солдаты. Князь с Алешей подошли к ним — никто не шелохнулся. Казалось, что это были не люди, но восковые фигуры; точно попали Алеша с князем в какой-то военный паноптикум или будто люди погрузились в глубокий летаргический сон и застыли в нем навеки. И только могучий храп и пар, вившийся над ними от дыхания, говорил о том, что это живые люди.

Это оказался батальон Санкт-Петербургского гренадерского полка. Солдаты заснули от усталости на том месте, где окончили бой. Мороз, глубокий снег, движение по нему в бою сломили их силы. В нескольких стах шагах от них, охваченные такою же бессильною дремою, неподвижно стояли часовые турецких аванпостов.

В горах и лесах наступили Рождественские праздники. Под открытым небом, в лесу, у раскинутой церковной палатки, служили всенощную, и хриплыми голосами пели солдаты:

— Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови Свет Разума... В нем бо звездам служащие, звездою учахуся...

Блестящие, яркие, чужие и точно близкие звезды алмазами горели сквозь оголенные ветви осин и дубов.

«Что же? — думал он, — убит, что ли, буду?.. Но я смерти не боюсь. Это даже интересно — смерть... Чаю воскресения мертвых и жизни... какой-то новой жизни будущего века... Отчего же мне теперь так мучительно тяжело?»

Третьего января 3-я гвардейская пехотная дивизия была направлена на Филиппополь. Туда собирался отряд генерала Гурко.

Был сильный мороз. Широкое, растоптанное войсками шоссе извивалось по крутому спуску. У многих побелели носы, и приходилось почти непрерывно оттирать уши да похлопывать рука об руку — железные затылки ружей жгли холодом сквозь рукавицы, — но настроение в полках было бодрое. Шли широким ровным шагом, и то тут, то там взовется и понесется к синему морозному небу песня.

Изгиб дороги — и вот он — Филиппополь — показался внизу, в долине. В снежном блеске, под яркими лучами январского солнца был он неотразимо прекрасен. Стройные тонкие минареты белыми иглами возвышались над крышами больших домов, золотые купола мечетей сверкали на солнце, видны были пролеты узких улиц.

После тяжелого перехода, горных круч и лесных дебрей мерещились теплые дома, их городской уют.

Офицеры вышли перед роты. Полковой батюшка, протоиерей отец Николай, на немудрящей лошадке проехал в голову второго батальона. Жиденькая седая косичка его была опрятно заплетена и торчала из-под бархатной скуфейки. Седая бородка прикрывала исхудалые щеки. Батюшке шел седьмой десяток, но он ехал со всеми, исполняя требы, напутствия умирающих, отпевая усопших. Голод и холод делил он со своими литовцами.

Первый батальон взял «ружья вольно» и ходко пошел вниз по шоссе. Дрогнула, приняла ногу пятая рота.

Песельники запели:

Балканские вершины,
Увижу ль я вас вновь?
Софийские долины,
Кладбище удальцов...

Батюшка ехал с батальоном и все почесывал спину. Мучили его старые ревматизмы, в обледенелых стремянах ныли усталые ноги. Батюшкин конь бодро выступал, подлаживаясь под ход батальона.

Весело разговаривали офицеры.

— Я, господа,— сказал штабс-капитан Федоров,— первым делом в баню. В Филиппополе-то, я думаю, знатные тур-рецкие бани должны быть. Попариться и помыться, и ах, как это хорошо будет!

— Нет, я спать, спать,— томно сказал Алеша.— В тепле, на мягком.

— Да если еще и не одному,— поддержал Алешу черноусый поручик.

Федоров посмотрел на потиравшего спину отца Николая и сказал:

— Что, батюшка, заели? Потерпите немного. Вот он и Филиппополь, а там такие изумительные турецкие бани, в пестрый кафели полук, белые мраморные полы, скамьи из пальмового дерева. Все хворости вам выпарим, на двадцать лет моложе станете!

Молчит, хмурится седобородый батюшка. Мороз слезу выбивает из глаз на ресницы. Перед ним колышутся штыки четвертой роты, сзади запевала стройно выводит:

Идем мы тихо, стройно,
Все горы впереди...
Давайте торопиться
Балканы перейти...

Вдруг вправо, из лесу, за широким долом, блеснуло пламя, белый клуб вылетел из-за деревьев, и, шурша и нагнетая воздух, все ближе настигая колонну, налетела граната и ударила сбоку в снег, не разорвавшись.

— Вот, господа, и турецкие бани начались,— хмуро сказал отец Николай, повернул свою лошадь и поехал назад к лазаретным линейкам.

По всей долине над Филиппополем загредел артиллерийский огонь турецких батарей. Турки решили не сдавать города без боя.

XXXV

Русские вошли в Филиппополь. Полки прошли через город с музыкой и песнями. Ни о банях, ни о ночлеге на мягкой постели не пришлось и думать. Сулейман-паша навалился со всей армией на усталые войска генерала Гурко. Надо было во что бы то ни стало оттеснить турок от Адрианополя.

Под вечер Литовскому полку было приказано, пройдя Филиппополь, свернуть на деревню Станимахи и атаковать урочище Карагач.

В сумраке быстро угасавшего зимнего дня замаячили стороною дороги силуэты конницы. Драгунская бригада с двумя конными орудиями пошла занимать высоты над Карагачем.

В шестом часу вечера в том мутном свете, какой бывает зимою ночью от снега, когда дали исчезают и видны в снеговом отблеске только ближайшие предметы, 2-й батальон лейб-гвардии Литовского полка построил боевой порядок и направился на правый фланг турецкой позиции.

— Зачем вы идете, князь, с нами в бой? — сказал Алеша шедшему рядом с ним Болотневу. — Оставались бы при полковом резерве. Не надо испытывать Бога. Сказано: на службу не напрашивайся.

— Мне скучно без вас, Алеша... Скучно все эти дни. Ничто меня не веселит. Может быть, бой меня встряхнет...

— Странно, что турки не стреляют, — сказал Алеша. — Жутко идти в тишину, в неизвестность, зная вместе с тем, что тут где-то и недалеко неприятель.

Медленно, по рыхлому снегу, подвигались литовские цепи. Снег был по колено, а кое-где в низинах люди проваливались и по пояс. Солдаты спотыкались о невидимые под снегом кукурузные стебли, ушибали о них ноги. То круто спускались в узкую балку, где совсем утопали в снегу, то карабкались по осыпающемуся скату наверх.

Кто-то кашлянул в цепи, и Алеша нарочно грубым голосом оборвал:

— Не кашлять там!.. Распустились!

— Я считал шаги, — прошептал Болотнев, — тысяча! Мы прошли уже половину расстояния до неприятеля, а все тихо.

И точно словами своими Болотнев вызвал турецкий огонь. Перед цепью, в темноте, казалось, что близко-близко вдруг вспыхнули огоньки ружейных выстрелов, и... «тах... тах... тах» — затрещала, обнаруживая себя, турецкая позиция.

— Цепь, стой! Ложись! Огонь редкий... Начинай!..

В ответ прямо против пятой роты громом загрела турецкая батарея, дохнула жарким и ярким огнем, полыхнула снеговыми вихрями. Двенадцать орудий били против пятой роты, левее, где наступал 3-й батальон, гремело еще восемь. Гром выстрелов, вой несущихся, казалось, прямо на цепь снарядов, их оглушительные частые разрывы, — все это смутило солдат, и огонь стал беспорядочным.

«Куда стрелять? По ком стрелять?.. Ничего не видно... Что же наша артиллерия, где же она?» — с тоскою думали литовцы. Капитан Нарбут прошел вдоль цепей.

— Зря себя обнаруживаем,— проворчал он.— Штабс-капитан Федоров, прекратите эту ненужную стрельбу.

И, подойдя вплотную к ротному командиру, сказал тихо:

— Турки по нашему огню увидят, как нас мало.

Цепь затихла. Люди притаились в снегу. В темноте ночи, в хаосе громовой стрельбы и частых попаданий пулями и осколками им было страшно. Жалобно стонали раненые и просили вынести их.

— Что ж так, замерзать приходится... Холодно дюжа... Кровь стынет...

Князь Болотнев лежал рядом с Алешей.

— Хуже всего,— прошептал Алеша,— лежать под расстрелом и ничего не делать. Надо идти вперед, а то, если не пойдём вперед мы, солдаты пойдут назад, и тогда их не остановишь. Видите, уже кое-кто пополз. В темноте разве разберешь — раненый или так просто. Растерялся в темноте. Солдат наш великолепен, да тоже перетягивать нервы нельзя — можно и оборвать.

Сзади раздался приглушенный свисток. В темноте ночи, в напряженности ожидания, что что-то нужно делать, он показался громким и тревожным. В цепи все приподняли головы.

— Цепи, вперед!..

Все как один встали, взяли ружья наперевес и пошли навстречу пушечным громам. Ноги уже не чуяли глубины снега, усталость ночного движения пропала, нет больше и холодной мглистости ночи. Точно бесплотными стали литовцы, бесплотными и невесомыми. Как духи скользили они поверх снега. Душа овладела телом и понесла его навстречу смерти. Падали раненые и убитые, но никто не обращал на них внимания. Те, кто идет сзади, подберут.

Шли прямо на двенадцать огненных жерл, непрестанно бивших, жарким огнем дышавших навстречу батальону.

Еще невидимые в ночи, пушки обнаруживали себя вспышками огня. И то, что звук выстрела раздавался одновременно с вспышкой и уже наносило на цепи едким запахом порохового дыма, показывало близость батарей.

Полевая дорога с буграми и канавами, засыпанными снегом, пересекала путь литовцев. Цепи залегли по канавам и открыли частый огонь по вспышкам орудийной канонады.

Сзади все подходили и подходили люди и вливались в цепь. Ротные поддержки и батальонный резерв вошли в первую ли-

нию. Цепь густела. Солдаты лежали плотно, плечом к плечу, локоть к локтю, и в бешеной стрельбе, в сознании, что они не одиноки, казалось, забыли про опасность.

Турецкая батарея вдруг сразу смолкла... Прошло мгновение ужаснейшей, предсмертной тишины, более страшной, чем огонь, бывший раньше. И раздался залп. Турки ударили картечью.

Болотневу показалось, что земля поднялась перед ним дыбом, что пламя опалит его и всех, кто был подле. Тысячи пуль визгнули над снегом. Снег встал вихрем, земля посыпалась в лицо, Болотневу стало казаться, что вместе со снегом и землей сметен и весь Литовский полк.

И опять на мгновение стала тишина. В нее вошел звенящий звук горна. От 2-го батальона подали сигнал: «атака»!

Тогда раздалось ужасное, громче пушечных громов, «ура!». Все вскочили на ноги и бросились на пышущие пламенем жерла пушек. Турецкая прислуга орудий встретила атакующих в сабли. Сзади бежали на выручку роты прикрытия.

Тогда настал миг — Болотнев явственно ощутил его, — миг мгновенной душевной боли, страшной удручающей тоски. Стало ясно: все пропало! Все ни к чему! Впереди гибель. Слишком много турок, слишком мало наших. Осталось одно — бежать. Болотнев ожидал крика — «спасайся, кто может!», и сам готов был дико, по-заячьи, завизжать... Но вдруг с левого фланга раздался ликующий, радостный, захлебывающийся от счастья победы голос:

— Считай орудия!!

Это крикнул юноша, подпоручик восьмой роты Суликовский.

Этот крик ясно обозначил победу.

Наша взяла!

Растерянности как не бывало! Литовцы сомкнулись за своими офицерами и бешеной атакой в штыки опрокинули турецкие таборы резервов.

Батареи были взяты.

Еще несколько минут были шум и возня боя, треск проламываемых прикладами черепов, крики: «Алла!.. Алла!..», потом топот бегущих ног, звон кидаемого оружия. Два дружных залпа — и все сомкнулось в ночной мгле, и наступила тишина.

Князь Болотнев вбежал за Алешей на батарею. Он был в каком-то чаду, в упоении, он увидел турецкую пушку, окруженную ашкерами в темных куртках, ее лафет и кинулся на нее, не

вынимая сабли из ножен, с поднятыми кулаками. Ашкер замахнулся на него саблей, князь ощутил жгучую боль у самого колена, почувствовал жар в голове и свалился лицом в снег.

XXXVI

Когда Болотнев открыл глаза — было утро, и было тепло, светло и по-весеннему радостно в природе. Полусознание, полубред владели Болотневым. Точно это и не он лежал на подтаявшем снегу, на соломе, а другой, похожий на него, а он сам со стороны смотрел на себя.

Кругом было поле. Широкие лазаретные шатры, белые с зелеными полосами, стояли на нем. Подле шатров была наложена солома, накрытая простынями, и на ней лежали люди. Много людей. Совсем близко от Болотнева проходила дорога. На ней таял снег, и темные полосы мокрой земли блестели голубым блеском на солнце. От земли шел нежный, прозрачный пар.

Болотнев прислушался к тому, что творилось внутри него. Точно с этим тихим весенним дуновением тепла исчезла сосущая боль, что была все это время. На душе было тихо и спокойно и так легко, как бывает, когда человек выздоравливает после тяжелой болезни и вдруг ощутит прилив жизненных сил и радость бытия. Было отрадно сознание, что он окончил что-то важное, и окончил неплохо, и больше об этом не надо думать.

Болотнев услышал веселый, радостный голос. Голос этот не отвечал обстановке поля, покрытого страдающими людьми, но он нашел отклик в том тихом и тоже как бы радостном покое, который был в душе у Болотнева.

В сопровождении казака подъехал к шатрам конный офицер. Он спрыгнул с лошади и подошел к раненым. Это он и говорил, не скрывая радости жизни и счастья победы.

— Сахновский, ты? — крикнул он, нагибаясь над соседом Болотнева. — Что, брат, починили-таки тебя? Ну как?

Сознание, что он сам жив и не тронут, точно излучалось из подошедшего к раненым офицера. Весь он был пронизан солнечным светом, сиял счастьем совершенного подвига.

— Да, кажется, друг, совсем у меня плохо...

— Э, милый!.. Ну что говоришь! Пройдет, как все проходит. До свадьбы заживет. Подумай, родной... Двадцать три орудия! Двадцать три турецких пушечки забрал наш полк! Это же, го-

луба, уже история, и беспримерная! Пятнадцать взял наш второй батальон и восемь третьему досталось. Это, друг, не жук... Я сейчас из Паша-Махале. Там собрался наш полк. Начальник дивизии, генерал Дандевиль, подъехал к нам. Сияет... По щекам — слезы... Скинул фуражку и говорит: «Здравствуйте, молодцы литовцы... Поздравляю вас с победой! Орудия таскаете, как дрова!..» Хо-хо-хо! Как дрова!.. Ведь это ты, милый! Это мы все... Как ответили ему наши... Это же надо слышать!.. Гром небесный, а не ответ! Семь дней похода, без дневок, с переходами по двадцать пять—тридцать верст, орудия на себе тащили, в мороз, а потом в распутицу, по горам,— не чудо ли богатыри? Вот что такое наш русский-то солдат! Я, брат, просто без ума влюблен в полк!..

— И я, милый, тоже... Мне как-то и рана теперь не так уже тяжка. Ты зачем сюда приехал к нам?

— Узнать про раненых, поздравить их с такою победой, рассказать про все...

— А много наших ранено?

— Да, брат, такие дела даром не делаются. Подпоручик Орловский, царство ему небесное, убит.

— Славный был мальчик.

— Орленок! Подпоручики Бурмейстер и Ясиновский очень тяжело ранены... Брун, Гедлунд, штабс-капитан Полторацкий, ты... Убитых наших собрали шестьдесят три, раненых сто пятьдесят три, кое-кто и замерз. Подсчитали процент — офицеров сорок семь, солдат двадцать три процента потерь. Офицерское вышло дело!.. Шли впереди... А как Суликовский-то крикнул: «Считай орудия!» Мороз по коже... И радость! Ну, конечно, будет ему за то Георгий, уже пишут представление. Да еще не нашего полка, знаешь, тот стрелок, что к нашей пятой роте привязался, как полковая собака. Станный такой. От генерала Гурко для связи был прислан. Молодчина, говорят, и сабли не вынул, с кулаками на пушку бросился... Алеша рассказывал... Ногу ему турок отрубил... Молодчина... вот я его ищу...

— Я здесь,— отозвался Болотнев.

Офицер смутился.

— Ну как вы? — сказал он.— Милый, вы простите... Я не знал... Я так по-простецки, по-товарищески. Вам, может быть, больно это слышать...

— Ничего... Прошло... Ноги-то, конечно, нет... Не вернешь... Не вырастет новая... А жаль! Я вот лежал и думал, отчего нога не растет, как ноготь, что ли? А ведь не вырастет... А?

— Пройдет, дорогой... Привыкнете... Ко всему человек привыкает... Вы героем были, князь... Вас тоже к кресту представить приказано... Для чего только нелегкая понесла вас с пятою ротою в самое пекло? Сидели бы при штабе... Мне Нарбут говорил, и Алеша вас отговаривал. Эх, милый, ну да прошлого не воротишь!.. Дай вам Бог! До свидания, Сахновский. Скачу назад... Идем на Адрианополь. Ведь это что же? Конец войне. Сулеймановы войска в полном расстройстве... Бегут!.. Козьими тропами пробираются к Черному морю. Казаки Скобелева первыми с Митрофаном Грековым что-то поболее тридцати пушек захватили — вот оно как пошло!.. Таскаете, как дрова!.. Хо-хо-хо!..

Офицер повернулся к князю Болотневу, и тот увидел на боку большую флягу в потемневшем желтом кожаном футляре.

— Поручик,— слабым голосом сказал Болотнев,— это что у вас?.. во фляге... водка?..

— Коньяк, милый... И неплохой. Мне в штабе Дандевилля дали.

— Угостите меня немножко...

— Пейте, голуба, сколько хотите.

Болотнев сделал два глотка и сказал тихо и печально:

— У меня нога отрублена. Раз и навсегда... Не вырастет... Так можно еще глоточек?

— Пейте хоть весь,— сказал поручик. В голосе его слышались слезы.

— Спасибо, поручик... Ах, как хорошо!.. Славно, хорошо. Я люблю это... мысли проясняет... Бегут мысли, как зайцы на облаве... И хорошо... Спасибо.

Князь протянул руку с флягой, но ослабевшие пальцы не удержали, и фляга упала в снег.

Князь закрыл глаза и забылся в пьяном сне.

XXXVII

Дни раненых и больных свивались в длинную и однообразную вереницу. Время шло, и не видно было, как вдруг наступила весна, пришло тепло, потом стало и жарко, и вот уже июнь на исходе — поспели фрукты: урюк, черная слива, абрикосы, груши, дыни, и появился первый золотистый, янтарный виноград. Греки носили фрукты в корзинах к госпиталю и продавали раненым.

У деревни Амбарли был расположен госпиталь для выздоравливающих. Повыше, на горе, над деревней, стоял лагерь лейб-гвардии Литовский полк.

В деревне — узкие, кривые улочки, часто стоят каменные дома. Чадно пахнет пригорелым бараньим жиром, ладанным дымком, кипарисом и розовым маслом. На улицах возятся черномазые неопрятные дети, кричит привязанный осел, и женщина в темной чадре задумчиво и печально смотрит большими глазами сквозь прорези чадры на бродящих по улице солдат.

Над деревней, поближе к лагерю, есть каменный уступ, как бы природный балкон над морем. На нем лежат мраморные глыбы. Сюда, особенно под вечер, когда повеет прохладой, собираются выздоравливающие из госпиталя. Они садятся на камнях и долго, часами смотрят вдаль.

Сказочная, невероятная, несказанная красота кругом. Вот оно — синее море! Море — океан детских сказок. И на нем — Царьград — тоже город-сказка, знакомый с детских лет.

Константинополь внизу, как на ладони... Он лепится по кручам перламутровой россыпью домов, золотых куполов, иглами минаретов, прихотливо прорезанный морскими заливами. Море за ним, подальше вглубь, такого синего цвета, что просто не верится, что вода прозрачная. Кажется, нальешь в стакан — и она будет, как медным купоросом настоянная. В извилине залива Золотой Рог — вода мутно-зеленая — малахитовая. Эта игра прозрачных красок, белые гребешки волн, то и дело вспыхивающие по морской дали, так чарующе прекрасны, что нельзя вдоволь налюбоваться на них.

По заливу и проливу снуют каюки, белеют паруса и взблескивают вынимаемые из воды мокрые весла. Недвижно стоят корабли в паутине снастей, и черный дым идет из высокой трубы парохода...

По другую сторону пролива в сизой дымке, точно написанные акварелью с гуашью, розовеют оранжевые горы азиатского берега. Оливковые рощи прилепились к ним голубовато-зелеными нежными пятнами. Дома Стамбула кажутся пестрыми камушками. Вправо синий простор Мраморного моря, и на нем, в легкой дымке тумана, в белой рамке прибоя, видны розовые с зеленым Принцесы острова.

Князь Болотнев и Алеша сидели на длинном желтоватом куске мрамора. Болотнев был в больничном белье и легком офицерском плаще, накинутом на плечи. Левая нога была у него забинтована большим бинтом ниже колена и торчала круглой культяпкой. От бинта шел прелый, пресный запах зажива-

ющей раны. Алеша только что оправился от тифа. Его светлые, льняные волосы, так красиво вившиеся на Балканах, были коротко острижены и блестели золотистым блеском на исхудавшей розовой шее.

— Князь, если сказать, если осознать, что все это, что мы видим теперь перед собою, вся эта несказанная красота — наша... Нами завоеванная. Русская... Тогда все можно простить и забыть, — говорит Алеша. Его голос звучит неровно и глухо. Он волнуется. — И мертвых, и страдающих оправдать... И все, что мы пережили на Балканах... И ту страшную ночь, когда мы брали пушки... Все будет ясно и все оправдано... Кровь пролита не даром... Все это — наше!..

Алеша помолчал, вздохнул и с неизбывной тоской сказал:

— Князь, почему мы не вошли победителями в Константинополь?

— Не знаю, Алеша, не знаю...

— Князь... Как мы тогда шли!.. После Филиппополя... Вас не было с нами. Вас увезли... Январь... Оттепель... Снег тает. Совсем весна... Луги блестят на солнце, и повсюду радость победы. Я шел с полком по шоссе... По сторонам лежали трупы убитых турок и болгар... Резня была... Конские трупы, обломки повозок, домашняя утварь... Ужас!.. Весь ужас войны был перед нами!.. Но если вся эта здешняя красота — наша — ужас войны оправдан, все прощено и забыто... Мы уничтожили армию Сулеймана. Семь дней мы шли среди трупов. На привале негде стать — всюду тела... И запах!.. Мы ночевали среди разлагающихся трупов... Днем — жара нестерпимая — жажда охватывала нас. По канавам вдоль шоссе — вода... Подойдешь напиться — там трупы, нечистоты, кровь — вонь... Солдаты пили эту воду — нельзя было их удержать. Я думаю, там и начался этот ужасный тиф, что косит теперь нашу армию. Шестнадцатого января мы подошли к Адрианополю. Шел дождь. Резкий, холодный ветер прохватывал нас насквозь. Мы входили в город вечером. Темно... Грязь непролазная, войска растоптали улицы. Кое-где тускло светятся окна. Куда ни приткнемся, везде грязь, теснота, все забито людьми, бежавшими из сел. Мы стояли за рекою Марицею, в предместье, у громадного каменного моста очень древней постройки. Была объявлена дневка. Нам было приказано заняться исправлением мундирной одежды... Мы поняли — для входа в Константинополь! Девятнадцатого января — уже вечер наступал — слышим за рекою гремит — «ура!» Вспыхнет в одном квартале, перекинется в другой, смолкнет на несколько мгновений и снова загремит. Потом совсем близко,

тут же за рекой, оркестр заиграл гимн. Мы послали узнать, что случилось? Оказалось, что приехали турецкие уполномоченные для переговоров о мире, с ними кавасы привезли золотое перо и чернильницу. Великий князь Главнокомандующий лично объявил о заключении перемирия... Князь, почему мы раньше не вошли в Константинополь?.. С победной музыкой, с барабанным боем, с лихими песнями?

— Не знаю, Алеша. Не знаю...

— Двадцать четвертого января нас собрали и перед полком читали приказ о заключении перемирия. Бурная радость, новые бешеные крики «ура!»... Люди целовались друг с другом, как на Светлый Праздник. Но это продолжалось недолго. Вскоре наступило раздумье и какая-то неопределенная тоска. Точно что-то было не закончено, недоделано... Вспомнились замерзшие на Балканах, вспомнились убитые под Карагачем, раненые, и как-то... Князь, будто стыдно стало за свою радость. Прошло так четыре дня в какой-то неопределенности, в этом раздумье о том, так ли все это хорошо вышло? Двадцать восьмого января получаем приказ генерал-адъютанта Гурко на завтра — наша третья гвардейская пехотная дивизия выступает к Константинополю. Дивизия была построена на большом дворе громадных турецких казарм. Мы почистились, как только могли. Обновили желтые околыши фуражек, переменили канты, нашили на наши старые, обожженные огнем костров шинели новые петлицы. А как начистили манерки! — золотом горели... И... выправка! Такой в Варшаве, на парадах, не бывало. Приехал шеф полка Великий князь Николай Николаевич Младший. Его Высочество благодарил полк за Филиппополь. Вызвал вперед офицеров. «Ваше дело, четвертого января,— сказал нам Великий князь,— под Карагачем, было чисто офицерское... Беспримерное, славное, молодецкое... Государь Император приказал вас благодарить. Примите же и мое поздравление, а также и мою благодарность...» Были вызваны капитаны Никитин и Нарбут. Великий князь обнял их и навесил на них Георгиевские кресты. Потом повернулся к полку и скомандовал: «На плечо!.. шай на кра-ул!» Показал рукой на георгиевских наших кавалеров и сказал: «Поздравляю вас, литовцы, с георгиевскими кавалерами!..» Потом мы взяли «к ноге». Командир полка спросил: «Прикажете вести?!» «Да, ведите»,— сказал Великий князь. Мы взяли «ружья вольно» и справа, по отделениям, тронулись из казарм. Наш оркестр грянул наш литовский марш. На улицах турки смотрели на нас. Мы шли лихо. Все — и тур-

ки тоже — знали — идем в Константинополь!.. В тот день дошли до Хавса, тридцатого были в Алопли... Одиннадцатого февраля достигли Силиври... Я шел на флаге пятой роты и под марш декламировал: «Бог нам дал луну чужую с храмов Божи-их сорвать... На земле, где чтут пророка, скласть Христовы алтари... И тогда... к звезде... Востока».

Голова Алеши упала на руки, Алеша зарыдал.

— Ну, полноте, Алеша,— сказал, придерживая Алешу за плечи, Болотнев,— успокойтесь...

— В тифу, в бреду,— сквозь тихие всхлипывания продолжал Алеша,— мне все виделись страшные видения... Мои предки наступали на меня, требовали отчета... Весь наш род был военный, офицерский. Князь, в тысяча восемьсот четырнадцатом году наша гвардия возвращалась из Парижа!.. Наш полк стоял на rue de Babylone, на левом берегу Сены... При Елизавете наша армия возвращалась из Берлина! Наши полки были в Милане, в Вене! И с какими солдатами! Нам сдавали пьяниц, воров, преступников,— розгами, шпицрутенами, казнями мы создавали солдата — чудо-богатыря!.. Теперь с нами — лучший цвет народа русского!.. Наши чудо-богатыри орлами перелетели через Дунай и Балканские горы... Наши деды побеждали величайших полководцев мира — Карла Двенадцатого, Фридриха Великого, Наполеона,— и теперь с нашим прекрасным солдатом, сломив сопротивление Османа и Сулеймана,— мы не вошли в Константинополь!.. Почему?..

— Не знаю... Не знаю...

Алеша посмотрел на Болотнева сухими воспаленными глазами и с горечью сказал:

— Народ не простит этого Государю... Вы, князь, только говорите, что не знаете, почему мы не вошли во взятый нами, по существу, Константинополь. Нет... Вы знаете, как знаю я, как знает каждый самый последний солдат нестроевой роты... Англия не позволила!.. Дип-пло-мат-ты вмешались!.. И Государь сдал. Перед дипломатами. С такими солдатами нам бояться Англии? О!.. какую ненависть к себе в эти дни посеяла в русских сердцах Англия... Нет, не простит наш народ Государю этого унижения... Английский жид — Биконсфильд — жирным пальцем остановил полет наших орлов к Босфору и Дарданеллам... Жид!.. Понимаете вы — жид!.. Вы знаете, князь,— вот эти часы, когда я сижу здесь и смотрю на эту исключительную красоту, расстилающуюся передо мною,— это тяжелые часы. Очень тяжелые, жуткие часы. Если русский гений смог из топи

финских болот, из бедных сосновых и березовых Приневских лесов создать «парадиз земной», — что создал бы он здесь!.. И вот — нельзя. Английский жид не позволяет...

По узкой, усыпанной пестрыми камушками крутой тропинке поднимался от деревни безрукий солдат. Болотнев показал на него глазами Алеше, и тот сказал:

— Вот и Куликов.

— Здравия желаю, ваше сиятельство. Здравия желаю, ваше благородие, — сказал солдат. — Разрешите присесть? Что нового, не слыхать ли чего? Солдатики вот сказывали, будто Великий князь Главнокомандующий на яхте прибывал в Константинополь, был у султана — кофей изволил пить. Что же это, значит, вместо войны дружба какая с нехристями, с мучителями христианского рода?..

— Садись, Куликов, — сказал Алеша.

Солдат левой рукой неловко достал папиросу и вложил ее в рот. Алеша помог ему закурить.

— Вы, ваше сиятельство, без ножки остались, я, видите, без правой руки вчистую увольняюсь, как полный невалид, не гоже больше для государевой службы, от их благородия одна тень осталась, вот оно, как обернулась-то нам война!.. Чистые слезы!.. Домой приду... Куда я без руки-то годеи? И пастуху рука нужна. Разве в огород вместо чучела поставит благодетель какой — ворон пугать... В деревне тоже понимают... Поди, спросят нас: «Ну, а Царьград? Что же это ты руку потерял, а Царьграда не взял?.. Пороха, что ль, не хватило?» Чего я им на это скажу?.. Англичанка, скажу, нагадила...

— Откуда ты это взял, Куликов?

— Я, ваше благородие, народ видаю. В деревне грек один сказывал. Он в Одессе бывал, по-русскому чисто говорит. Я ему говорю: вот Великий князь у султана был — сговаривался, каким манером в Константинополь войти. Для того и войска перевели в Сан-Стефану. А грек мне отвечает: «Нельзя этого... Англичанка не позволит. Ейный флот в Вардамелах стоит...» Вот она, штука-то какая выходит... Я и то вспомнил, отец мне рассказывал, в Севастополе, когда война была, тоже англичанка нам пакостила. Сколько горя, сколько слез через нее... А нельзя, ваше сиятельство, чтобы всем народом навалиться на нее, да и пришить к одному месту, чтобы и не трепыхалась?..

— Не знаю, Куликов, не знаю.

— Не знаете, ваше сиятельство... А я вот гляжу: красив Константинополь-то... Вот как красив! Имя тоже гордое, красивое...

А не наш... Что же, ваше сиятельство, значит, вся эта суета-то, через Балканы шли, люди мерзли, под Плевной народа, сказывают, положили не приведи Бог сколько, орудия мы ночью брали — все это, выходит, по-напрасному. Все, значит, для нее, для англичанки?.. Неладно это господа придумали. И домой неохота ехать. Что я там без руки-то делать буду? Домой... Пооделись в полку ребята, пообшились, страсть как работали, чтобы в Константинополь идти. Заместо того солдатики сказывали — в Сан-Стефане, Каликрате, Эрекли саперы пристаня строят для посадки на пароходы... Значит, и все ни к чему. Ни ваши, ни наши страдания и муки мученские. Англичанки испугались...

Куликов встал, приложился левой рукой к фуражке, поклонился и сказал:

— Прощенья прошу, если растревожил я вас, ваше сиятельство... Тошно у меня на душе от всего этого. Русский я... И обида мне через ту англичанку большая.

Куликов пошел вниз. Поднялся за ним и князь:

— Идемте потихоньку, Алеша. Сыро становится. Вам не хорошо сыро. Вы вот и вовсе побледнели опять.

— Это, князь, не от сырости, и правда растревожил меня Куликов. Глас народа — глас Божий... Хороший солдат был... Позвольте, я вам помогу, вам трудно спускаться.

— Сами-то, Алеша, вы шатаетесь... Обопрись на вас, а вы как тростинка хлипкая.

— Ничего, я окрепну... Я думаю, князь, народ тогда Государя любит, когда победа, слава, Париж, Берлин, когда красота и сказка кругом царя, величие духа... Смелость... гордость... дерзновение. Тогда и муки страшные, и голод, и самые казни ему простят... А вот как станут говорить — англичанки испугался... Нехорошо это, князь, будет... Ах как нехорошо...

— Не знаю, Алеша, не знаю...

Помогая друг другу, они спустились к самому морю и стали на берегу, где на круглую, пеструю, блестящую гальку набегала синяя волна.

— Алеша, вот вы все меня спрашивали, позвольте и мне вас спросить, — тихо сказал Болотнев. — Вы, Алеша, — святой человек... Водки не пьете... Женщин, поди, не знаете...

Розовый румянец побежал по бледным щекам Алеши, и еще красивее стало его нежное лицо.

— Простите, Алеша, это очень деликатное... Я заметил, что вы Евангелие каждый день читаете.

— Это мне моя мама в поход дала. А вы разве не читаете?



— В корпусе слушал батюшкины уроки, да все позабыл. Я ведь ни во что не верю, Алеша... Я философам верил... социалистам... А не Христу... А вот теперь хочу вас, Христова, спросить об одном. Если человек обещал... Не то чтобы слово дал, а просто обещал не видаться, не писать, не говорить с девушкой, которую тот, кому обещано, считал своей невестой, и тот, кому обещано... Я это несвязно говорю, да вы понимаете меня?

— Я понимаю вас, князь.

— Так вот, тот, кому обещано, умер... Убит... То можно или нет нарушить слово? Как по-вашему? По Евангелию?

— В Евангелии сказано — по смерти ни жениться, ни разводиться не будут. Там совсем иная жизнь. Значит, можно. Вы что же, князь, сами хотите жениться?

— А нет, Алеша, — с живостью сказал Болотнев. — Что вы! Куда мне? Без ноги-то!

— Если человек взаправду любит, то он искалеченного еще больше полюбит, — тихо сказал Алеша.

— Жалость?.. Нет, Алеша, мне жалости не нужно. Это очень тяжело, когда человека жалеют. Тут совсем другое. Та девушка — особая девушка, и я боюсь, что она погибнет. И вот я думал, что, может быть, если я стану подле нее, буду усовещивать ее, говорить с нею — она одумается... Да... Вот и все... Ну, да это пустяки... Может быть, я и ошибаюсь. Сколько раз в моей жизни я ошибался.

Сзади них солнце спускалось к горам. Нестерпимым пожарным блеском загорелись, заиграли стекла домов Стамбула — будто там, в домах пылал огонь. Потом огни погасли, и прозрачный, лиловый сумрак, нежный и глубокий, стал покрывать фиолетовые азиатские горы. Над головами Алеши и князя барабанщик ударил повестку к заре.

Тихо плескало темневшее с каждым мгновением море, шевелило мелкую гальку, катило ее к берегу, а потом с легким скрежетом уносило в глубину...





Часть третья

I

— Вера Николаевна, да вы совсем не так кидаете. Смотрите, как я. Положите камушек на большой палец и пустите его, направляя указательным, плоско вдоль воды... Вот так... Раз, два, три... четыре... Четыре рикошета!

— Просто удивительно, как у вас это выходит.

Вера восхищенными глазами смотрела, как юноша, с кем ее только что познакомила Перовская, кидал камни в воду широкого озера.

Вера была в простенькой, нарочно для случая купленной блузке, в шерстяной черной юбке, которую она уже и порвать успела, продираясь к берегу через кусты, оцепленные плетями колючей ежевики. Она приехала сюда потаенно, с Перовской, под чужой фамилией, чтобы присутствовать на нелегальном съезде.

К ним приближался через поросли кустов и тростника человек в блузе, подтянутой ремнем, в штанах, заправленных в высокие сапоги, в белой парусиновой фуражке и с пледом на плече.

— Тут, товарищи, грибы должны быть, — сказал он молодым неустановившимся басом и подошел к Вере.

Вера никого здесь не знает. Ей никого не «представляли», ни с кем не познакомили. Вера только знала, что за нее поручилась Перовская, и Веру здесь приняли товарищески просто.

Точно здесь, в дубовой роще на берегу реки и озера, где подле воды красиво росли раскидистые большие ветлы, был пикник, или «маевка», которых Вера никогда не знала, но о которых немного слышала, как о чем-то не совсем приличном и во всяком случае непозволительном для нее — Ишимской...

Тут было человек тридцать молодежи, все больше совсем безусой, редко у кого была молодая бородка клинышком. Было несколько евреев. Молодая, косматая, безобразная еврейка, с узкими раскосыми глазами, коротконогая, увалистая, некрасиво уселась на корточки и на разостланную на траве пеструю скатерть выкладывала обильную незамысловатую закуску: черный и ситный хлеб, нарезанный большими косыми ломтями, колбасы, куски жареного мяса, бутылки пива и сороковки водки. Молодой простоватый парень со светлыми, в кружок, помужички стриженными волосами помогал ей.

Вера понимала — это и был тот народ, для которого она хотела работать.

Несколько в стороне, отдельно от других, держалась небольшая группа. Перовская показала Вере на нее и сказала:

— Это, Вера Николаевна, наша гордость... Землевольты-террористы! Месяц тому назад они собрались на свой съезд в Липецке и вынесли свои постановления. Здесь они будут нам говорить о том, что нужно делать. Вон, видите, тот, в темно-синей рабочей блузе, — это Баранников, рядом с ним, в русской бородке и с усами, — Квятковский, дальше сидит под деревом — Колодкевич, а тот, угрюмый и серьезный, Михайлов — вот волевой человек! Жаль, что немного заикается, когда говорит; там дальше Морозов, с ним говорит девушка — Оловянникова-Ошанина, а самый красивый и благообразный между ними — это Тихомиров. Такой чудак!.. Представьте, Вера Николаевна, он мне предложение делал, жениться на мне хотел... Это мне-то, отрешившейся от всего, всецело предавшей делу революции, — предложение руки и сердца!.. Смешно... А там, дальше, за кустами, только головы видны — это Фроленко, Ширяев, и тот черненький, что подле них, — это Гольденберг... А под самым дубом — товарищ Андрей... О ком я вам уже говорила... Вот все те, кто основал движение, которое должно дать народу волю и освободить его от гнета царизма! Присмотритесь к ним... Какая все молодежь! Готовая на какие угодно жертвы... Это, как я вам говорила, — соль земли русской...

Вера внимательно всмотрелась в товарища Андрея... Строгое, мужицкое было у него лицо. Таких видала Вера приказчиков в Перинной линии Гостиного двора в Петербурге, такие бывали молодые дьяконы. Черная бородка окаймляла продолговатое лицо, прядь волос свисала на лоб к правому глазу, и Андрей все откидывал ее упрямым, капризным движением головы.

— Надо непременно заставить его высказаться, заставить его говорить,— сказала Перовская,— перед его словом никто не устоит... Если он сам не скажет, опять ничего у нас не выйдет, не придем к единомыслию...

Андрей заметил, что на него смотрят. Самодовольная улыбка появилась в углах рта у темных усов, появилась и исчезла. Андрей отошел от дуба.

— Ну, что так, товарищи, в молчанку играем да возимся,— весело и задорно сказал он.— Давайте спивать чего-нибудь.

Группа террористов распалась, смешалась с другими, бывшими на съезде,— «деревенщиками», как их презрительно называли террористы за их упорное желание работать среди народа по деревням. Перовская покинула Веру и подошла к Андрею. Она казалась маленькой и жалкой подле высокого и статного Андрея.

— Что же, коллеги, готовы? — окидывая взглядом молодежь, сказал Андрей и запел сильным, звучным голосом:

Вниз по матушке, по Волге,
По широкому раздолью...

Перовская верно и красиво вторила ему. Хор, управляемый Андреем, примкнул к ним еще не очень стройно, еще не спелись, не знали друг друга, кто как поет, но песню знали все, и все ее и раньше певали в гимназиях, в школах и в университете, и песня все налаживалась и налаживалась, звучала все громче, сильнее, властнее, со страстным и сильным молодым надрывом.

— На корме сидит хозяин,— заливались два голоса, и хор мягко повторял за ними:

— Хозяин!.. В черном бархатном кафтане!..

Когда кончили — сами удивлялись, как красиво у них вышло.

Высокие дубы стояли над ними, в их пролетах видны были камыши озера, а еще дальше серебряным изгибом блистала река. За рекою была степь. Ни души не было видно на ее широком просторе.

— Да, товарищи!.. Такой песни никому не создать, не сочинить. Создал ее великий русский народ,— сказал теплым, восторженным голосом Тихомиров.

— Товарищи, давайте еще,— умоляюще сказала Перовская, влюбленными глазами глядя на Андрея.— Андрей Иванович, знаете нашу? «Быстры, как волны...»

— Идет,— сказал Андрей и встряхнул волосами.
Два голоса дружно и ладно начали:

Быстры, как волны,
Дни нашей жизни...
Что час, то короче
К могиле наш путь...

Хор подхватил:

Налей, налей, товарищ!
Заздравную чашу,
Кто знает, что будет,
Что с нами будет впереди?..

— Георгий Валентинович,— визгливо крикнула косматая еврейка, нарушая красоту пения,— нельзя так. Это вам дадут потом.

— Помилуйте, Гесечка... Поют — «налей, налей», а вы и пивка холодного дать не хотите.

— Ну, пивка пожалуй что и дам.

Два голоса продолжали, дрожа от чувства, вкладываемого в содержание песни:

Умрешь — похоронят,
Как не жил на свете,
Сгинешь и не встанешь,
К веселью друзей...
Налей, налей, товарищ...

— Что же, товарищи, и точно, может быть, нальем, а? Приступим?

— Нет, нет, товарищи. Раньше выслушаем, что постановили на Липецком съезде.

— Ну ладно, выслушаем...

— Товарищ Андрей, просим слова...

— Товарищ Андрей, просим сказать по полномочию нас.

— Я не отказываюсь. Я скажу вам все, что я лично думаю, что говорил и на съезде и к чему мы пришли...

— Просим!.. Просим!!

Андрей Желябов прислонился к стволу большой прибрежной ивы. Его лицо было бледно, глаза опущены. Привычным движением он откинул упрямую черную прядь со лба. Он был здесь самым старшим. Ему шел двадцать девятый год, все остальные были в возрасте от двадцати до двадцати шести лет.

Страшно худой Морозов, с продолговатым плоским лицом, с шелковистой бородой и усами, в очках, устроился подле Желябова, уселся на траву, скрестив ноги. Молодой парень, по виду из простых, безусый и толстогубый, простоватый на вид, с молитвенным восторгом смотрел прямо в рот Желябову. Вера села рядом с Перовской на самом берегу реки несколько в стороне от других.

— Я не отказываюсь,— повторил Желябов.— Настало время нам говорить... И сговориться. Мы не можем работать по мелочам, растрачивая свои силы... В мае тысяча восемьсот семьдесят восьмого года мы убили в Киеве жандармского полковника Гейкинга... Сейчас же в Одессе царская власть казнит Ковальского. Спустя два дня Степняк-Кравчинский в Петербурге на смерть поражает кинжалом шефа жандармов Мезенцова... Безумная смелость!.. В Харькове мы убили генерал-губернатора Кропоткина. Правительство в ответ на это объявило революционеров вне закона... Я напому вам конец правительственного сообщения об этом: «Правительство считает ныне необходимым призвать себе на помощь силы всех сословий русского народа для единодушного содействия ему в усилиях вырвать с корнем зло, опирающееся на учение, навязываемое народу при помощи самых превратных понятий и самых ужасных преступлений...» Нам, товарищи, объявлена война, и наши силы неравны. С одной стороны, на нас хотят поднять весь русский народ, с другой стороны, маленькая кучка, кружок самоотверженных, преданных святой идее народной воли людей...

Желябов сделал паузу и презрительно улыбнулся.

— Напрасно!.. Напрасно!.. Я хорошо знаю народ... Дворники и городовые не в счет... Наемные царские собаки... Народ... Никто: ни мы, ни правительство — не можем опираться и рассчитывать на народ. Это было бы ошибкой... Я повторяю, товарищи, я знаю, я сам из народа, и я там работал, как работает наш народ... Крестьянин так замучен своим мужицким трудом над землею ради хлеба насущного, что учить его чему-нибудь — просто бесполезно... Он так устроен, что поднять его на восстание нельзя... Раньше надо освободить его от этого адского, каторжного, тупящего мысли труда, а тогда только можно учить его и разговаривать с ним. В таком же положении и рабочий. Нам нужно самим захватить власть, конечно, только для того, чтобы, захватив ее, освободить от труда народ и тогда передать власть в его руки. И для этого нам нужен... Акт! И, может быть, не один акт, но целая серия актов. Никакая наша деятельность,

направленная ко благу народа, невозможна вследствие правительственного произвола... Мы должны вести борьбу по способу Вильгельма Телля...

— Цареубийство? — выкрикнул кто-то сзади Желябова.

Желябов ответил не сразу. Он выдержал несколько мгновений, молча, строго и сурово глядя в глаза то тому, то другому из окружавших его молодых людей.

— Да, товарищи... Это у нас давно решено... Вот Александр Михайлов скажет вам, как и почему мы так постановили.

Желябов отошел в сторону, и на его место стал темнобородый человек с угрюмым и мрачным лицом. Он начал говорить, сильно заикаясь.

— Товарищи, н-наша п-п-партия н-народов-вольцев постановила: н-наша цель об-беспечить п-права личности. Деспотизм царский полагает, что п-прав-ва личности в-вредны. Так н-надо осв-вободить народ от д-деспота. Как этого д-достигнуть? — с-смелой б-борьбой. Мы н-не можем безучастно относиться к тому, ч-что происходит к-кругом: в-война, стоившая сотни т-тысяч н-народных ж-жертв. Т-тотлебенские и ч-чертовские р-расправы — инициатива в-всего эт-того исходит от ц-ц-цар-ря. Царь во всем эт-том в-в-вин-новат — ц-царь и д-должен о-ответить. Ц-царь д-должен п-по-погибнуть. Сделать это д-должна п-п-партия... Если она может сделать это путем восстания — она должна устроить это восстание. Если поднять народ н-нельзя, она должна сделать эт-то лично. Сил у нас б-без с-сомнения х-хватит. И силы эт-ти будут расти тем скорее, чем р-реш-шительнее мы станем д-действовать. Н-наша п-партия «Земля и воля» — но мы с-считаем, что сначала — в-воля, а потом уже и з-земля. А чтобы была в-воля, надо убрать ц-ца-р-ря. Надо убрать д-деспота. Вот, товарищи, что мы решили.

Глубокая, напряженная тишина стала среди собравшихся после слов Михайлова. Слышно было, как прошелестела под набежавшим ветерком прибрежная ива, как невдалеке, на озере, у разлива реки плеснула рыба. После этих двух, едва слышных звуков тишина стала еще строже, торжественнее, напряженнее — тишина могилы... Точно немая смерть вошла к ним, — веселым и жизнерадостным несколько минут тому назад.

Сидевший на траве недалеко от Веры высокой тощий человек поднялся и глубоким, низким, взволнованным голосом спросил:

— Неужели, господа, вы все так думаете?

Никто не ответил.

— Неужели, господа, народники становятся террористами? Народники согласны с тем, что говорили товарищи Желябов и Михайлов?

Все молчали. Та же могильная тишина стояла в роще.

— В таком случае,— глухо, печальным голосом сказал человек,— мне здесь больше нечего делать. Прощайте.

— Кто это? — тихо спросила Перовскую Вера.

— Плеханов.

Плеханов помедлил немного, точно ожидал, что его будут просить остаться, что поднимутся споры, что встанут на его сторону, будут его удерживать, но все та же серьезная, угрюмая тишина была кругом.

Плеханов низко опустил голову и пошел в глубину леса.

II

Наступил вечер, и в лесу было темно, когда Вера с Перовской ушли с собрания. Вслед из рощи, где теперь ярко горел костер, неслась дружная песня. Неутомимый Желябов запевал:

Смело, друзья, не теряйте
Бодрость в опасном бою,
Родину-мать вы спасайте,
Честь и свободу свою...

Пьяные крики, визг еврейки — Геси Гельфман, громкий смех глушили песню.

Вера шла под руку с Перовской. Она опьянела. Первый раз в жизни она пила водку и пиво, ела простую и грубую пищу, первый раз была близко и запросто с молодыми людьми.

— Софья Львовна,— сказала Вера, останавливаясь на опушке рощи и глядя на серевший в сумраке ночи большой Воронежский шлях,— как все это страшно!.. Я первый раз в таком обществе.

— Хорошо! — сказала Перовская.

— Еще не знаю. Дайте, Софья Львовна, привыкнуть. Откуда все эти люди взялись? Почему я раньше не встречала таких людей? Где вы их нашли, как с ними познакомились?

Вера широким шагом шла по шляху. Молодая луна была над нею. Вера нервно смеялась и дрожала внутренней дрожью.

— Конечно... с нашей точки зрения?.. Кисейных барышень, которых вывозят родители... Сан-фасонистые очень... Сняли

пиджаки... Курили, не спросив у дам... И пили очень много... И эта Геся!.. Как она просто на все смотрит... Чудовищно все то, что она проделывала...

— Гельфман — чудный, смелый человек, — восторженно сказала Перовская. — У нас, милая, на это не смотрят... У нас пола нет... Нет кавалеров и дам — но есть люди... Товарищи...

— Да, верно... И знаете, Софья Львовна, не скажешь, кто из них лучше? Все были хороши, веселы, добры... Но как ненавидят они Государя!.. Они его когда-нибудь видели?

— Думаю, навряд ли...

— Как же можно тогда? Все-таки, сказать вам правду, Софья Львовна, я хорошо и от бабушки и от дяди Государя знаю. И сама не раз встречала его. Ведь я могла бы быть фрейлиной, Софья Львовна. А вот, — Вера засмеялась и подняла край порванной юбки, — видите, какой санюлоткой стала. Но все-таки не думала... Я думала, все обернется иначе. Плеханов мне больше по душе, Софья Львовна, вы знаете — царственная скромность Государя безгранична... Он отворачивается от грубой лести. Ему хотят к двадцатипятилетию его царствования поднести титул «Освободителя» — он рассердился... Хотели поставить памятник по случаю освобождения крестьян — он не позволил. Бабушка про него говорит: «величайший и человечнейший из Царей Русских...» Сколько раз я видела его. Громадного роста, прекрасные, добрые глаза, и так всегда просто себя держит. Я шла по Летнему, саду с Сухановым, мы разговорились и ничего уже не видели. На боковой аллее, что вдоль Лебяжьей канавки, не было никого. Мы шли по доскам, с боков лежал снег. Вдруг вижу, бежит навстречу собака. Суханов говорит — «Государь идет». Мы сошли в снег, Суханов стал во фронт, я поклонилась, Государь прошел в полушаге от нас. Он отдал честь Суханову и поклонился мне. «Милорд», — позвал он собаку... И вот — его убить?! Страшно подумать!

— Вера Николаевна, перед нами строительство новой, лучшей жизни русского народа, да возможно, что и не только русского народа, но и всего человечества. Можно ли тут говорить о том, что красиво, что нам нравится? Государь нам мешает. Мы должны его устранить. Мы устраняем не Александра Николаевича Романова, прекрасного, может быть, человека, у которого собака Милорд, который любезен и ласков и имеет прекрасные глаза... Но тирана!.. Андрей сказал — так нужно!.. Понимаете — так нужно! Мы не человекоубийцы, но — цареубийцы!

Ничего больше не сказала Вера Перовской, Молча, рука с рукой, дошли они до окраины Воронежа, где в скромной и по-провинциальному грязной гостинице они остановились.

Вера уехала одна, будто на юг, в Крым, к Порфирию и его Лиле, и по пути остановилась на три дня в Воронеже, где ее поджидала Перовская. Вера непременно хотела быть на съезде народовольцев.

Лежа на жесткой постели, накрывшись одеялом, Вера думала: «Строительство новой лучшей жизни русского народа, но почему же это строительство нужно начинать с разрушения, с убийства?» Сквозь набегающий легкий, после дурмана речей и пирушки, сон Вера каким-то внутренним чутьем ощущала ложь всех тех пышных и красивых слов, какие она сегодня слушала, но гнала сознание этой лжи. Так в борьбе с самою собою она и забылась крепким молодым сном.

III

В Крыму, в Ялте, на собственной даче графини Лили, Вера увидела счастье, покой, медовый месяц, продолжавшийся второй год. Молодые Разгильдяевы приняли Веру сердечно и радостно. Юная, красивая, часто краснеющая, уходящая в себя Вера возбуждала Порфирия и усиливала его ласки молодой жене. Каждое утро все трое ходили купаться в море. Порфирий шел в мужское отделение, Вера с Лилей в дамское.

После завтрака Порфирий и Лиля ездили верхом в горы. Вера оставалась одна. Она шла к морю, садилась на камни и часами смотрела, как набегали синие волны на берег, как вдали играли белые «зайчики», вспыхивали пеной волны и докатывались к берегу, покойные и умиротворенные.

Иногда, идя к морю или возвращаясь на дачу, Вера встречала Государя. Государь ехал из Ливадии в коляске. Конвойный казак сидел рядом с кучером на козлах. С Государем была черноволосая высокая дама и двое детей, сидевших на передней скамейке, Вера по привычке низко кланялась Государю. Государь с приветливой улыбкой кивал Вере головой. И тут тоже было счастье, тихая радость, медовый месяц вдали от людей, от государственных забот.

Дома, на веранде, обвитой розами и глициниями, за накрытым столом, кипел самовар. Стол был уставлен свежими булками, печеньями, сливками, маслом, ягодами и ранними фрукта-

ми. Порфирий, в расстегнутом белоснежном кителе с Георгиевским крестом в петлице, сидел в соломенном кресле и мечтательно смотрел вдаль на голубое море, на зеленые сады Ливадии, на высокие равнины у въезда в Ялту. Против него, в легком, в кружевах и воланах, светло-лиловом капотике-распашонке, сидела нарядная, завитая Лиля. От купанья в море, езды, а более того, от непрерывного счастья взаимной любви и разделенной страсти лицо ее сияло, щеки были румяны, глаза блистали в томной синеве век. Челка развилась и падала пушистыми прядями на лоб. Очень хороша была Лиля в цветении своей поздней осени.

— Сегодня я опять встретила Государя,— сказала Вера.— Он ехал все с тою же дамой, черноволосой и простоватой, и с детьми.

— Подумаешь,— быстро заговорила Лиля.— Этого ангела еще могут осуждать. У него, видите, роман!.. Катя Долгорукая — роман?! Неужели Государю нельзя иметь хоть клочок счастья? И тут нашлись люди, увидавшие сучок в его глазу! Кавалергарды на придворных балах не танцуют с фрейлиной Долгорукой... Избегают ее. Любовница Государя!.. Подумаешь, какая — *pruderie*¹. Все точно сами святые.

— Это, Лиля, потому, что кавалергардам обидно за своего шефа, Императрицу,— сказал Порфирий.

— Но, милый мой, Государыня постоянно больна... И Государю за все то, что он сделал для России и славян, можно и должно простить его маленькие увлечения.

Вера понимала графиню. У Лили было счастье, а счастье не злобствует. Счастье умеет прощать.

Вера ходила в татарские деревни — Кореиз и Алупку. Она видела чистые каменные дома, красивых, пестро одетых татарок, в монисто из монет, в маленьких шапочках на тугих косах. Татары, в белых расшитых рубахах, вобранных в широкие, в складках, подтянутые на очкуре синие шаровары, в высоких лакированных сапогах, с хлыстиками в руках, масляными глазами следили за светловолосой красивой Верой, причмокивали от удовольствия и что-то говорили между собою на своем гортанном языке. Тут тоже было довольство, счастье, вечный «медовый месяц» под крымским солнцем.

Вера думала: «Какая пустая жизнь!.. Чисто животное прозябание. Купанье, катанье верхом, сытые ленивые разговоры и... любовь! Как можно сравнить эту жизнь с тем, что говорилось на Воронежском съезде!»

¹ Скромность (фр.).

Желябов сказал Вере: «Разрезана нить жизни, как мечом». И точно — жизненная Вериная нить была разрезана надвое. Одна половина здесь, в пустом прошлом, где изящный костюм, прогулки с Лилей, шумящая юбка с турнюрком, шляпа с широкими полями, украшенная искусственными цветами, и разговоры о модах, о театре, о предстоящем «сезоне», придворных, балах, о романах Тургенева, Гончарова, Дюма-сына, Мопассана и Золя, о стихах, о том, что «принято» и что «непринято», — другая половина в великом строительстве новой лучшей жизни русского народа, где Вере отведена уже какая-то роль.

Теперь у нее двойная жизнь. Тайна и — ложь. Святое соблюдение тайны. Уменье молчать, слушать, наблюдать и... лгать. Ей немного осталось жить. На съезде Вера услышала, что «жизнь революционера — два, три года. А там смерть, ссылка, каторга...». Это уже был героизм, а героизм всегда с ранних лет тянул Веру.

IV

Осенью, в Петербурге, Вера ходила по особому вызову на «конспиративные» свидания с Перовской.

На таком свидании она однажды встретила Желябова. И по тому, что Перовская сразу приступила к деловому разговору, Вера поняла, что Желябов пришел для нее.

— Вера Николаевна, — сказала Перовская, — вы давно знаете лейтенанта Суханова?

— Да. С детства. Раньше он часто бывал у нас. Потом почти перестал бывать, но мы с ним поддерживаем дружеские отношения.

— Вы знаете и офицерскую среду, в которой вы выросли, и вот нам хотелось бы кое о чем вас спросить. Дело в том, что Суханов обещал собрать у себя единомышленников офицеров и просил Андрея приехать к нему и все им рассказать. Скажите, Вера Николаевна, считаете ли вы это возможным?..

Вера молчала. Как будто она не поняла вопроса.

Тогда Желябов начал говорить тихим голосом:

— Вера Николаевна, у нас пришли к тому заключению, что настало время привлечь к нашей работе офицеров. С солдатами говорить не стоит. И трудно это, и сложно, и, главное, в конечном счете солдаты исполнят все то, что им укажут офицеры. Притом же офицерская среда близка нам — народникам. Она к тому же годна для всякого заговора. В ней есть чувство товари-

щества, замкнутость, привычка к дисциплине, привычка спокойно смотреть в глаза смерти, умение обращаться с оружием... Я знаю, что в среде офицеров, особенно молодых, — большое недовольство неудачами последней турецкой кампании, Берлинским трактатом. В этом они видят измену России. Есть недовольство и тем, что войска привлекают для усмирения крестьянских восстаний... Я знаю также, что морские и артиллерийские офицеры читают Фейербаха, Чернышевского, Писарева, Добролюбова, что они увлечены поэзией гражданской скорби Некрасова... Суханов, которого я знаю, предложил мне создать свои кружки, и для этого нужно, чтобы я приехал к нему и все сказал. Как на Воронежском съезде.

— Видите, Вера Николаевна, — сказала Перовская, — я пригласила вас, чтобы спросить вас, опасно ли это для Андрея или нет?.. Если он все скажет начистоту, могут его тут же схватить и выдать полиции?.. Как вы думаете?..

— Суханов?.. Нет!.. Конечно, нет, — быстро сказала Вера и остановилась. Она задумалась о своих близких, о семье Разгильдяевых. Дедушка Афиноген Ильич не в счет. Он просто не примет таких людей. Порфирий, конечно, сходит и выдаст. Он не задумается даже и убить на месте. Афанасий, убитый под Плевной?.. Вера точно увидела его счастливое, румяное, полное лицо с пушком над верхней губой, его большие серые глаза в тени длинных ресниц — как он отнесся бы к этому?.. Он, верноподданный?.. Донесет?.. Нет... Возмутится. Может быть, изобьет, но не донесет никогда. Такова его кадетская закваска. Кадетская и официальная этика ему этого не позволяет. И никто из молодежи не донесет. Она гадливо относится к предателям и доносчикам. Там все — Рыцари!

Вера серьезно, вдумчиво сказала:

— Если будет молодежь?.. Нет... Не донесут. Даже если среди нее будут офицеры, вам не сочувствующие, верноподданные, — говорите смело — не донесут... В случае чего — помогут... Спрячут... Защищать вас будут... Но не выдадут... Они воспитаны в благородстве.

Желябов поклонился Вере.

— Я так и думал, — сказал он. — Так я поеду туда, Соня. Я все обдумал, что им сказать. И я полагаю, лучше всего начистоту.

— Да, начистоту лучше всего, Андрей Иванович, — сказала Вера.

Желябов сейчас же и ушел. Вера осталась у Перовской. Смутно и тяжело было у нее на душе. Ей казалось, что она сде-

лала нечто ужасно подлое. Но, когда продумывала про себя, приходила к заключению, что она сказала то, что она должна была сказать. На доверие она ответила доверием.

V

Сходка офицеров была назначена у Суханова, в Кронштадте. Место тихое и глухое. Крепость, тщательно охраняемая от постороннего глаза. Везде часовые, патрули, людей мало, «шпигов» нет. Собралось человек десять, преимущественно морских офицеров. Было три артиллериста. Самым старым среди собравшихся был штабс-капитан Дегаев, проходивший курс артиллерийской академии, самыми младшими — желторотые, молоко на губах не обсохло — гардемарины — Лавров, Буланов и Вырубов. Все были как-то торжественно настроены.

Когда все приглашенные были в сборе, Суханов вышел в соседнюю комнату и пригласил из нее двух штатских. Оба были вполне прилично одеты, в длинных черных сюртуках, с шарфами на шее. Один был высокого роста, с темной бородой и темными глазами, похожий на зажиточного крестьянина или купца, другой был невысокий, с лицом, заросшим густо черною бородой, и с длинными, обезьяньими руками.

— Господа,— сказал Суханов,— позвольте представить вам — товарищ Андрей... Товарищ Глеб...

Офицеры поклонились. Никто не здоровался за руку. Кое-кто после представления сел. Все с любопытством разглядывали пришедших. Разговор не вязался.

— Вы через Ораниенбаум ехали? — спросил лейтенант Серебряков, присматриваясь к обоим штатским и стараясь угадать, который из них член исполнительного комитета партии народной воли.

— Да, через Ораниенбаум. На «Луче»,— ответил маленький — он тоже был членом исполнительного комитета — звали его Колодкевич.

— Да, так проще, пароходы чаще ходят.

— Им, к морю непривычным, так спокойнее. Залив теперь бушует, как океан,— сказал один из гардемарин.

— Я на Черном море бывал,— сказал товарищ Андрей.— С матросами на рыбную ловлю ходил. Я качки не боюсь.

Пустячный разговор то начинался, то затихал, как пламя только что зажженного, но не разгоревшегося костра. Суханов прервал его, сказав:

— Господа, эта комната имеет две капитальные стены. Две другие ведут в мою квартиру — там никого нет. Мой вестовой — татарин, ни слова не понимающий по-русски. Нескромных ушей нам бояться не приходится. Приступим к делу.

Обернувшись к высокому штатскому, он добавил:

— Ну, Андрей, начинай!

Высокий отошел в угол комнаты и там встал, опустив голову.

Он начал говорить негромко и сначала неуверенно.

— Так как Николай Евгеньевич передал мне, что вы, господа, интересуетесь программой и деятельностью нашей партии, борющейся с правительством, — я постараюсь познакомить вас с тою и другою, как умею.

Он поднял голову и внимательным взглядом обвел офицеров, потом неожиданно громко и резко сказал:

— Мы — террористы-революционеры — требуем следующего...

Все вздрогнули. Сидевшие в углу на диване гардемарины встали. Стоявший у круглой железной печки штабс-капитан Дегаев скрестил на груди руки и устремил пронзительный взгляд темных глаз на Андрея. Тот выдержал этот взгляд и продолжал:

— Вы знаете лучше, чем кто-либо из нашей интеллигенции, положение дел в России. Вы пережили позор Сан-Стефано, вас возмутил Берлинский трактат, бессилие и продажность нашей дипломатии и та странная двойная роль, которую во всем этом играл Государь.

Дальше Андрей говорил, что теперь уже поздно и напрасно думать о конституции, о чем мечтали во времена декабристов те, кто не знал о сущности заговора, — я теперь нужно, чтобы сам народ взял управление государством в свои руки.

— Наша партия, — сдержанно, но убедительно говорил Андрей, — не имеет своей задачей политических реформ. Это дело выполняют те, кто называет себя либералами. Но либералы бессильны, они не способны дать России свободные учреждения и гарантии личных прав. Наша партия взяла на себя труд сломить деспотизм и дать России те политические формы, при которых станет возможна идейная борьба.

Андрей говорил о подвиге Вильгельма Телля, о Шарлотте Корде, о неизбежности и необходимости террора.

— Иного пути, господа, у нас, стремящихся только к благу России и забывающих о себе, нет! — закончил свое слово товарищ Андрей.

И так же, как на Воронежском съезде летом, после его речи незримая смерть вошла в комнату и могильным холодом и тишиною овеяла всех присутствующих. Тишина была такая, что не было слышно дыхания людей.

У молодежи, у гардемарин и мичманов, пылали щеки, глаза горели восторгом. Суханов был бледен, и на сухощавом лице его легли скорбные складки. Он поводил глазами по сторонам, оглядывая офицеров, без слов спрашивая: «Ну как, господа?»

Настроение было такое, что, скажи в этот час Андрей офицерам — «так идемте, господа, вместе с нами, убьем Государя», — все пошли бы за ним.

Только Дегаев, все так же стоявший в углу, у печки, скрестив руки, не переменил своей позы. Презрительная улыбка была на его лице. Андрей обменялся с ним взглядом, еще и еще, и теперь первый опустил глаза Андрей под ставшими строгими глазами Дегаева.

Товарищ Андрей поклонился общим поклоном и, сопровождаемый Глебом и Сухановым, вышел из комнаты. Приезжие гости торопились на пароход.

— Эт-то!.. Это я понимаю, — восторженно воскликнул лейтенант Завалишин. — Это — быка за рога!..

— Нет, господа, смелость-то какая! Ведь он никого из нас не знал! Мы офицеры! — сказал другой лейтенант Глазго.

— И как говорит! — воскликнул гардемарин Буланов.

— Я понимаю, что такой может черт знает на что увлечь.

— Он мне напомнил времена декабристов...

— Лучшие времена российской истории!

Говорившие перебивали друг друга. У всех сразу явилась охота курить. Задымили папиросы и трубки.

— Меня слеза прошибла, когда он говорил о несчастьи русского народа, о том, что монархия неизбежно увлекает Россию в бездну.

— Да, господа, все у нас плохо!.. И ах как плохо!

— Мы все это видим и молчим.

— Слепое повиновение.

— Нет, нет, господа, мы не должны молчать! Мы не будем молчать!

— Мы, как говорил товарищ Андрей, будем создавать везде, где только можно, свои офицерские кружки.

— У нас есть сочувствующие в Одессе, Севастополе и Керчи.

— Мы снесемся с ними. Создадим кружки народовольцев.

— Как декабристы.

— И сколько правды! Сколько горькой, обидной для русского самолюбия правды было в его пламенной речи.

— Мы таких слов еще никогда не слышали.

В разгар этих переговоров, выкриков, возбужденных слов вернулся Суханов.

Дегаев обратился к нему:

— Николай Евгеньевич, позвольте мне сказать несколько слов по поводу речи господина... господина... не посмевшего назваться нам... товарища Андрея.

— Пожалуйста...

— Просим!.. Просим!..

— Господа, позвольте мне, как старшему между вами и годами и службой... отбывшему всю Турецкую кампанию, сказать вам, если хотите, даже предостеречь вас... Ведь все то, что так ярко и «пламенно», как кто-то из вас определил характер речи товарища Андрея, говорил этот субъект, Бог его знает, кто он такой? Все это, простите — ложь! Самая беззастенчивая, наглая и отвратительная ложь!

— Это доказать надо,— строго сказал лейтенант Серебряков.

— Я для того и попросил слова у Николая Евгеньевича, чтобы доказать вам, вернее, чтобы указать вам, потому что доказательств никаких и не нужно. Его ложь сама по себе очевидна. Все ясно. Вся партия построена на том, что все в России скверно, что Императорское правительство ведет Россию в бездну, что в минувшей войне с турками у нас были только одни поражения, что напрасно пролита кровь русского солдата, что мы покрыли себя позором и так далее и так далее... Что надо отобрать власть от Государя и передать ее народу, то есть вот таким самовлюбленным краснобаям, как этот самый товарищ Андрей, или таким дремучим обезьянам, как безмолвный товарищ Глеб, и тогда все зацветет само собою, манна посыплется с неба прямо в рот голодному русскому мужику и жареные рябчики появятся у каждого на столе.

Итак — начнем с неудач и поражений... Военные авторитеты, не только наши, но и германские, считали, что перейти через Дунай при современном состоянии артиллерии, да еще и в половодье, при его ширине и быстроте течения,— невозможно... Русские войска генерала Драгомирова у Систова перешли Дунай...

Все говорят о Плевне... О страшной неудаче 30 августа... Студенты поют: «именинный пирог из начинки людской брат подносит Державному брату»... Рассказывают, что Государь,

как на театральное представление, смотрел на бои у Гривицких высот... Неправда! Сидеть целый день на холме, на легком складном парусиновом стуле, под дождем и на холодном ветру в 59 лет,— мучиться и болеть душою за своих солдат — это не театральное представление смотреть! Это, господа,— подвиг!

— О-о-о! Дегаев, не слишком ли?

— И в конечном счете Плевна не только взята, но и Осман-паша с тридцатитысячною армией сдался в плен.

— Официальные донесения...

— Все это было на моих глазах, господа... Да, господа, официальные донесения, строго взвешенные и правдивые, а не краснобайская ложь товарищей Андреев и Глебов, вылезших из подполья. Отсидеться на Шипке в зимние горные бураны, как то сделал генерал Радецкий, и перейти в зимнюю стужу, без продовольствия, с одним ранцевым запасом, Балканские горы, как то сделал генерал Гурко,— это не неудачи кампании, а блестящие победы, которым удивляется весь мир!..

— Это сделал русский солдат, то есть народ...

— Нет, Николай Евгеньевич, это сделал не только русский солдат,— это сделало мужество русских генералов и воля Главнокомандующего. У нас на протяжении всей русской истории после петровских войн и румянцевских и суворовских побед при Екатерине да Отечественной войны и ее заграничного похода не было более славных побед... Непрístupный Карс, лежащий на таких кручах, что и без боя к нему невозможно подобраться, взят штурмом войсками Великого князя Михаила Николаевича. Цели войны достигнуты. Освобождены от власти турок Румыния, Румелия, Сербия и Болгария...

— И туда посланы русские чиновники и немец Александр Баттенбергский!

— Да, сейчас — русские чиновники и немец, но будет время, что там будут сербские короли и царь Болгарский! Главное, что там нет турок, турецких зверств и угнетения христиан. Славяне этого никогда не забудут. Будет день, когда в Сербии и Болгарии будут поставлены памятники Царю Освободителю Александру II. Вся богатая, сильная, могущественная Западная Европа отвернулась от славянского горя. Англия препятствовала освобождению угнетенных народов — Император Александр и Россия их освободили! И это неудачи?.. И по этому поводу говорить лживые, кислые слова о наших поражениях? Это могут делать только лжецы, пороха не нюхавшие и умевшие вовремя уклониться от отбывания воинской повинности!

— Вместо того чтобы освободить славян, надо было подумать об освобождении России,— резко сказал Серебряков.

— Позвольте! Я не кончил. Отмечу только — от кого освободить? Слава богу, Россия давно свободная страна. Так вот эта война — эта, как изволил сказать товарищ Андрей,— эта неудачная война вернула России часть Русской Бессарабии и дала ей Карс, Батум и Батумский округ с такими богатствами, что ахнуть можно... Государь никуда не годен? Государя надо убрать! Государь не годен?.. Позвольте, господа, но это же новая возмутительная ложь! Этот Государь в тысяча восемьсот пятьдесят шестом году присоединил к России богатый Амурский край. Закончил покорение Кавказа и умиротворил его, в тысяча восемьсот шестьдесят пятом году к России присоединена Туркменская область, в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году Самарканд и Бухара, в тысяча восемьсот семьдесят первом году Черное море стало Русским морем и Андреевский флаг стал снова развеваться на нем. В тысяча восемьсот семьдесят третьем году покорена Хива. Кажется, что со времен Екатерины Великой не было в России более славного царствования и больших приобретений. Когда товарищи Андреи несут свою наглую ложь невежественным мужикам и рабочим и те их слушают и верят им,— это еще как-то можно понять, но как могли увлечься словами, за которыми нет содержания, увлечься... ложью, вы, все это обязанные знать?!

— Дегаев, зачем тогда вы шли к нам?

— Я пришел к вам, Николай Евгеньевич, потому, что я, как многие из многих товарищей-академиков, считаю, что Государю надо помочь в его громадной работе по управлению таким обширным государством, каким стала Россия. Помочь... Выборными с места лучшими людьми. Я полагал, что нужна и точно какая-то там конституция, не для ограничения самодержавия, но для помощи самодержцу. Я пошел к вам, чтобы созидать, но не для того, чтобы разрушать. Тут я вижу, что целью партии считают борьбу и сокрушение правительства. И я счел своим долгом предостеречь вас от пагубной для России ошибки.

— Дегаев, зачем вы пришли сюда? — снова повторил вопрос Суханов.

— Вы сказали мне: «Приходите ко мне в пятницу. У меня хороший человек будет». Я и пришел. Какой же это хороший человек?.. Это — лжец! Народоправство?.. Да у него на лице написано — народоправство — это я. А смените, господа, мило-стивого Государя товарищем Андреем — что от вас самих останется? Эти молодчики с вами церемониться не будут. Вы для

них сословный враг. Плевненские потери игрушкой покажутся перед избиением всех несогласных с господином Андреем... Какая у него программа? Никакой! Одни слова... Звонкие, хлесткие слова!! Свобода!!! От чего, от кого свобода? Нет, господа, не слушайте этих лжецов. Они придут к власти с пустыми словами и со скорпионами в руках, и я вам прямо скажу, кто станет командовать ими и их учить.

— Кто?

— Кто? Говорите, говорите, Дегаев!

— До конца договаривайте!

— Жид!!

— Стыдно, Дегаев!

— Жиды разве не люди?

— Может быть, и люди, да мне — русскому человеку покоряться жиду обидно.

— Вы знаете, может быть, был бы еврей на месте Императора Александра — мы и Константинополь взяли бы! — запальчиво выкрикнул кто-то из гардемарин...

— Ах да!.. Очень кстати напомнили о Константинополе. А на что России был нужен Константинополь? Он ей, как пятая нога собаке, нужен. Из-за него пришлось бы начинать новую и очень серьезную войну с Англией, и вот, когда Государь разумно пожалел русский народ и русского солдата, — ему и это поставили в вину. Да, жид или товарищ Андрей не пожалеет. Он весь Русский народ принесет в жертву своей утопии. До свидания, господа. Мне тоже в Питер надо. Завтра рано на лекции...

— Вы донесете на нас, Дегаев! — жестко крикнул лейтенант Серебряков.

Нервное, худое, истомленное лицо Дегаева передернулось судорогой.

— Нет, господа... Я того же воспитания, как и вы. Доносы считаю гадостью. Я пока не донесу. Я с вами останусь. Буду работать с вами, потому что я надеюсь, что мне таким образом удастся разоблачить ложь, которую вам преподносят за правду, и отвратить вас от ошибочного пути.

Ни с кем не прощаясь, Дегаев вышел.

— Как вы думаете, Николай Евгеньевич, — сказал Серебряков, — он... За него-то можно ручаться?

— Ну что вы, Серебряков!.. Дегаев — рубаха-парень. Заучился в Академии... Стал нервен. Вы видели, какой судорогой подергивается его лицо, когда он говорит. Он ведь офицер...

— Да так-то оно так!.. Но сказать, что товарищ Андрей говорил сознательную ложь? Это же безумие!

— Не будем говорить об этом,— сказал Суханов.— Господа, я задержу вас на некоторое время... Нам нужно составить теперь же центральную военную группу. Согласны?

— Просим вас, Николай Евгеньевич, возглавить ее.

— Благодарю вас. Еще кого наметите в нее?

— Барона Штромберга!

— Рогачева!

— Мы войдем в связь с исполнительным комитетом партии народной воли и создадим кружки — морской, артиллерийский и пехотный... Я думаю, что мы не должны останавливаться и перед боевой деятельностью?

— Дегаева только не надо,— сказал Серебряков.

Снова все заговорили сразу. Стали подсчитывать, кого можно пригласить в эти кружки, кого нет. Подсчитали годных — таковых оказалось человек 50—60. Сейчас же под горячую руку стали вырабатывать программу военно-революционной организации и устав центрального кружка. По комнате раздавались оживленные, взволнованные молодые голоса:

— Организовать в войсках силу для активной борьбы с правительством.

— Парализовать тех, кто с нами не согласен.

— Выход членов из центрального кружка, безусловно, воспрещается.

— Конечно.

— Само собою разумеется.

— Нам надо объехать всю Россию.

— Везде искать подходящих людей.

— Я знаю — такие есть в Одессе.

— В Николаеве...

— В Киеве...

— В Тифлисе...

События повторялись. Тени декабристов реяли в кронштадтской квартире Суханова. Лейтенанты, гардемарины и прапорщики готовились решать судьбы России.

VI

Перовская отпустила извозчика и пошла пешком по грязной, разъезженной телегами, немощеной улице, шедшей вдоль полотна Московско-Курской железной дороги. Она несла обеими руками небольшой, но, видимо, очень тяжелый чемодан-

чик. Идти поэтому было трудно и неудобно. Она часто останавливалась, присаживалась на чемодан и задумывалась. Никто не попадался ей навстречу, и это было хорошо. Глухое было место и нелюдимое. Серые, мокрые, вонючие по углам заборы тянулись вдоль деревянной панели. Редкие фонари на деревянных столбах, должно быть, никогда не зажигались. Вдоль забора была канава с темной, ржавой водой. Погода была хмурая, стоял октябрь. Холодный ветер с дождем и мокрым снегом налетал порывами, отдувал юбку и потом прижимал ее к ногам и охлаждал их.

«Всего три версты от Москвы,— думала Перовская,— а какая глушь! Нигде и людей не видно, точно никто тут и не живет. Отлично выбрал Андрей место. Да, все у него продумано. Всюду он поспеет, все знает и все умеет...»

Год тому назад, летом 1878 года, во время Воронежского съезда, бродя с Андреем по дубовой роще вдоль озера, она горячо с ним спорила. Она отстаивала свои народнические взгляды, необходимость длительной подготовки народа к революции, хождение в народ, пропаганду, брошюры, прокламации. Андрей требовал сразу террор, «акт», как он называл цареубийство. По его словам, после цареубийства все явится само собою: восстанет народ, истребит правительство — и установится народоправство. Перовская горячо протестовала — и Андрей, подходя к своим товарищам, порывисто и страстно сказал:

— Нет, с этой бабой ничего невозможно сделать!

А вот теперь эта «баба» не только не протестует против террора, но сама идет на самое опасное место с твердою решимостью покончить с Государем. В этом простом сером парусиновом чемодане с железной оковкой — медный цилиндр с динамитом, спираль Румкорфа и провода.

Перовская приближалась к серому двухэтажному деревянному, словно необитаемому, всеми забытому и никому не нужному грязному дому, какие только и бывают на окраинах больших городов между фабриками, товарными складами, лесными дворами, в глуши и вони грязных предместий. Это был один из тех проклятых, неуютных и пустых домов, где устраивают свои притоны воры и грабители, где орудуют фальшивомонетчики, где бывают тайные свидания с проститутками, где совершаются самые страшные убийства и самоубийства.

За этот год некрасивое лицо Перовской стало еще некрасивее. Большой лоб с зачесанными назад, коротко стриженными волосами был велик при мелких чертах лица. Маленький короткий подбородок, «звячий», или «подуздоватый», как выра-

зился бы собачник, делал безобразными ее большие бледные губы. Глаза были узко поставлены и под редкими бровями смотрели упрямо, напряженно и тупо.

«Вот черти,— думала Перовская,— никто не догадается выйти помочь. Товарищи называются... Неужели им меня не видно?..»

Из дома донеслись звуки гармоники, чей-то мрачный голос — Перовская сейчас узнала голос Михайлова — вторил ей. Пели о страданиях русского народа.

Нижний этаж дома был наглухо заколочен досками. Перовская подошла к деревянному крыльцу и позвонила в колокольчик на проволоке.

В форточку второго этажа просунулась лохматая голова Михайлова. Сейчас же загрохотали по лестнице тяжелые сапоги. Высокий, тощий человек, в рубаше навыпуск, сбежал вниз, отложил тяжелый крюк, и Перовская вошла в темные сырые сени.

— А, супружница, пожалуйста,— сказал, улыбаясь, отворивший дверь.

— Вот что, милый супруг,— сердито сказала Перовская,— могли бы кто-нибудь выйти навстречу, помочь донести чемодан. Два пуда в нем.

— Признаться, Софья Львовна, никак не ожидали, что вы пешком. Все думали, что на извозчика разоритесь.

— Чтобы лишний человек знал о нашем доме?

— Да... Признаться — не подумал. Русский человек, известно, задним умом крепок.

Встретивший взял у Перовской чемодан и приподнял его.

— Да-а-а! Тяжеленек! Признаться — не подумал об этом обстоятельстве. Прошу прощения. Вам известно, что я теперь не Гартман, а Сухоруковым прозываюсь?

— Конечно, известно. Андрей мне все объяснил.

— Так вот,— поднимаясь за Перовской по лестнице, говорил Гартман,— дом куплен у мещанина Кононова на наше с вами имя — супругов Сухоруковых. А здешние люди — это как бы наши гости.

— Кто прибыл?

— Все в сборе. Александр Михайлов, Арончик, Исаев, Баранников и наш химик Ширяев. Еще Морозов обещал приходить и помогать в работе.

Перовская остановилась на площадке у двери.

— Что-нибудь уже сделали? — спросила она.

— Признаться — почти что ничего... Доски заготовили будто для ремонта дома, лопаты, кирки... Боюсь, что галерея длинновата будет. И сырость большая, сами понимаете — осень, дожди...

Гартман открыл дверь, и Перовская вошла в большую комнату, почти без мебели. Несколько человек мужчин встали ей навстречу.

— Ну, все знакомые, — сказала Перовская, здороваясь. — Вот его не знаю. Это и есть Арончик?

— Да, он самый. Он будет помогать Ширяеву в зарядке мины.

Гартман провел Перовскую в дальнюю комнату, где жарко была натоплена железная круглая печка, пахло угаром и где стояла низкая, продавленная, простая железная кровать, небрежно постланная суконным одеялом, где был простой деревянный стол и два соломенных стула. Окно было без занавески. Дождь сыпал по стеклам, теперь еще падали и снежинки и, тая, текли прозрачными струями по стеклам.

— Простите за обстановку — отель первого разряда... Регина-Паласт! — сказал Гартман. — Занавески нарочно не вешали. Напротив пустыри, а так меньше обращает на себя внимание...

— Спасибо, что натопили. Я продрогла на этом ветру и дожде.

— А мы вам сейчас горячего чайку с коньячком и закусить чего-нибудь. Арончик! — крикнул Гартман в соседнюю комнату, — распорядись, милый, самоваром. Женушку согреть надо. Располагайтесь, Софья Львовна.

Гартман вышел из комнаты. Перовская села на постель и усталым взглядом оглянула дешевые, грязные, местами порванные обои, покрывавшие стены.

«Ну, — подумала она, — унынию предаваться нечего. За дело! Вижу, что мужчины тут без меня ничего не приготовили. Тоже — революционеры!..»

VII

Работа была нелегкая. Производить подкоп надо было скрытно. Нельзя было рыть, глубоко уходя под землю, — ни времени, ни сил для этого не было, и некуда было девать вынимаемую землю. До полотна железной дороги, куда вели подкоп, было двадцать саженьей.

В подвальном этаже прорыли наклонный колодезь, на две сажени глубины. В этот колодезь спускался по очереди один из «гостей» или сам хозяин Гартман и отрывал по компасу галерею. Землю клали на железный лист, который по мере наполнения вытягивали веревкой. Работали от семи часов утра до девяти часов вечера и за это время успевали вырыть от двух до трех аршин. Галерея была так узка, что работать нужно было, стоя на четвереньках и даже лежа, и одежду приходилось снимать и работать только в двух рубашках.

Все время шли дожди. Сверху разбухала и грязнилась, обращаясь в болото, улица. По ней возили лошадьми воду в этот и соседние дома, ездили телеги с досками и бревнами. Было страшно, что нога лошади или колесо тяжелого воза провалится в подкоп и все будет обнаружено. Галерею, по мере продвижения ее вглубь, обшивали досками, но, несмотря на это, в нее проникала вода, приходилось останавливать работу и ведрами вычерпывать воду из галерей.

Перовская сидела внизу, в подвале, и смотрела, как Михайлов и Исаев вытягивали лист с землею из прокопанного колодца. За листом показались грязные ноги, задранная мокрая рубашка, волосатое тело. Гартман с загасшей свечой в руке выполз из колодца.

— Невозможно, товарищи,— сказал он, задыхаясь. Лицо его было зеленовато-белое.— Сосем как в могиле. Такое ощущение, будто заживо погребен и царапаешься, чтобы вылезти из могилы. И доски, как гробовая крышка. Свеча гаснет. Какие-то миазмы идут из земли. Воздух отравлен... Сколько времени я проработал?

Перовская взглянула на часы.

— И пяти минут не работали, Лев Николаевич,— сухо сказала она.

— Не могу больше. Арончик, дайте воды. Кто-нибудь за меня,— опускаясь на стул, сказал Гартман.

Все молчали. В подвале горела одна свеча. Было темно, сыро и неудобно. Отверстие подкопа было как отверстая могила.

— Эх вы, мужчины! — с презрением сказала Перовская.— Прозываетесь сильный пол!

Нервными, быстрыми движениями она расстегнула пуговицы, скинула блузку, юбки, панталоны и, оставшись в одной рубашке, чулках и башмаках, решительно подошла к Гартману.

— Давай свечу,— резко сказала она.

Засветив свечу, она подошла к колодцу, придержала внизу рубашку и быстро поползла вниз по галерее.

Гартман, Михайлов и Арончик подошли к отверстию и следили, как все дальше и дальше удалялся желтый отсвет свечи и скользила, извиваясь, как змея, веревка, привязанная к железному листу. Шорох листа и ползущей женщины не стал более слышен. Свет исчез. Холодом, мраком, смрадом и тишиною могилы тянуло из отверстия подкопа.

— На восемнадцатой сажени работает,— тихо сказал Гартман.

Веревка задвигалась, давая условный знак вытягивать землю. Михайлов и Исаев потянули лист.

— Какая вонючая земля,— сказал Исаев, относя землю в угол подвала.

— Я и говорю — миазмы,— как бы оправдываясь, сказал Гартман.— Дышать нечем. Свеча гаснет.

Лист за листом вытягивали с землею, и пустые втягивались обратно Перовской.

— Сколько времени она работает? — глухим голосом спросил Гартман.

— Уже третий час.

— Не может быть...

— Я говорю вам,— сказал Арончик.

— Дьявол помогает ей.

Наконец за листом показались облепленные желтоватой глиной черные чулки, белые, вымазанные землей ноги, и Перовская торопливо выскочила из галереи, в измокшей насквозь рубашке, с растрепанными, покрытыми глиной волосами. Ее лицо было красно, глаза выпучены, казалось, сейчас ее хватит удар.

— Мы на девятнадцатой сажени,— восторженно сказала она, задыхаясь.— Завтра кончим!.. Вот, товарищи, как надо работать!

Схватив в охапку свое платье и укрывшись им, Перовская побежала по лестнице вверх в свою комнату.

Она торжествовала.

VIII

Девятнадцатого ноября утром Ширяев принес условную телеграмму из Харькова. Телеграфировал Желябов. Из этой телеграммы узнали, что подготовляемый им взрыв у Александровска не удался.

— Как я рада,— сказала Перовская.— Значит, это мы! Это нам будет принадлежать честь взрыва... Товарищ Ширяев, идемте закладывать мину и провода. Лев Николаевич,— обратилась она к Гартману,— узнай, голубчик, на станции, когда примерно ожидается царский поезд в Москву?

На Курском вокзале царские поезда ожидались в одиннадцатом часу ночи. Сначала должен был пройти так называемый «Свисток», идущий почти пустым для проверки пути, за ним пойдет царский поезд.

Мина была проверена, провода проложены в комнату Перовской на втором этаже, где и установили на столе спираль Румкорфа! Соединить провода должен был «химик» Ширяев. Перовская взяла на себя самое опасное — она прошла на пути, охраняемые сторожами, устроилась в кустах и потайным фонариком должна была дать знать Ширяеву, когда надо будет давать ток.

Стояла холодная ноябрьская ночь. Все кругом было бело от снега. Над недалекой Москвой в небе светилось красное зарево — отсвет уличных огней.

Низкий лозняк без листьев, поросший вдоль пути, плохо скрывал залегшую в его хлыстах Перовскую. Она лежала, тщательно укрыв полою кофты небольшой фонарик, и поглядывала то на путь, двумя стальными полосами убегавший к Москве, то на чуть видимое темное окно в доме, откуда за нею следили ее товарищи.

Ночь была темная. Черные снеговые тучи низко нависли над землею. Далеко, далеко чуть виднелись красные и зеленые огни семафора.

Прошел курьерский обычный поезд. Долго за ним гудели рельсы. Потом все стихло и страшно медленно потянулось время ожидания.

Совсем недалеко от Перовской прошли два человека с фонарями. Они внимательно осматривали рельсы и стучали молотками по стыкам. Потом прошел солдатский патруль, и Перовская догадалась — сейчас должен идти царский поезд.

Она услышала быстро приближавшийся гул и увидела, как со страшной скоростью мимо нее промчался поезд из трех вагонов, окутанный белыми парами. Кое-где в вагонах сквозь спущенные занавески был виден свет.

«Свитский» поезд.

Перовская лежала, прикинув к земле. Ее сердце часто и сильно билось. И снова, все нарастая, приближался жестокий металлический гул. Мимо Перовской помчались большие си-

ние вагоны. Перовская встала во весь рост, и, все позабыв, ни о чем не думая, как только о том, что сейчас должно свершиться, высоко подняла фонарь и трижды взмахнула им...

В тот же миг оглушительный гул раздался в нескольких саженях от нее. На нее дохнуло горячим воздухом, она упала на землю, вскочила и, ничего больше не помня, побежала к месту взрыва.

Два паровоза и багажный вагон оторвались от состава. Багажный вагон и восемь громадных синих вагонов сошли с рельсов и громоздились друг на друга. Оттуда слышались стоны и крики о помощи. Там бегали и суетились люди с фонарями.

Удалось!..

Перовская вприпрыжку бежала в дом. Колокола радостным звоном звонили в ее сердце. Взрыв удался!.. удался!! удался!!!

В доме она уже никого не нашла. Как было условлено, в момент взрыва все обитатели дома ушли из него и скрылись кто куда.

IX

В декабре народовольцы-террористы собрались в Петербурге на квартире Перовской. Вера была приглашена на это собрание.

На постели Перовской сидел Желябов. Вера не видела Андрея с прошлой осени и нашла его сильно изменившимся. Андрей исхудал и вытянулся, лицо его приняло землистый оттенок, скулы выдались, борода отросла, и в ее черни засеребрились белые, седые пряди — в тридцать лет! Только глаза в темной юной опушке длинных ресниц были по прежнему молоды, полны задора и решимости. У окна на стуле сидел Тихонов. Красивая, полная Якимова-Баска уселась в углу. Перовская, сняв блузку, в рубашке и юбке, засучив по плечи рукава, мыла руки и торопливо, прерывающимся голосом рассказывала:

— Вот мою, мою и все, кажется, никогда не отмою этой грязи могильной. Здравствуйте, Вера Николаевна. Простите — руки мокрые... Всех здесь знаете. Вот, послушайте, какие неудачи нас преследуют. Ах, не знакомы, — сказала она, заметив, что Вера, поздоровавшись с Якимовой, Тихоновым и Желябовым, нерешительно подходила к молодой стройной девушке с пепельными волосами и большими, точно испуганными серыми глазами, сидевшей на постели Перовской.

— Это Ольга Лабатович, тоже наша... Народоволка. Вы спрашиваете, Ольга, страшно было,— повернулась Перовская к девушке.— Страшно? Да ничуть! Но удивительно волнительно. Прекрасное, незабываемое впечатление. Я лежала в мелкой поросли, вы понимаете, над снегом и пол-аршина кустов не было. На мне была ватная кофта. Про холод я совершенно позабыла, даже не помню, какая погода была. Жду... Полою кофтушки прикрыла фонарь и все поглядываю на него, не погас бы.

— Жутко было? — сказала Вера.

— Жутко? Да нет же, повторяю — радостно. И сердце бьется, бьется... Слышу — гудит. На рожке, где-то вправо, сигнал подали. В ночной тишине так отчетливо прозвучал сигнал и показался мне печальным, печальным... Мне сказали, уверили меня — первый — Свитский. Мчится, а меня так и толкает что-то... Не этот ли?.. В белом пару, фонари паровоза, как глаза какого-то сказочного чудовища, пар низко стелется, снег сзади вихрями крутится — прямо Змей Горыныч несется. Сердце стучит: «этот, этот, этот!.. Взрывай». Я его успокаиваю, все твержу: «погоди! погоди»...

— Впрочем — все одно,— печально сказала она.— Ничего бы тут не вышло. Все вы, Андрей, в Исполнительном комитете скупитесь на динамит. Мало дали. Ну, что же взорвали!.. А ничего серьезного и не вышло. Ну, вагоны сошли с рельсов. Ведь если бы я и тот взорвала, то того, кого надо было убить, и не убила бы. Один соблазн вышел бы... И вот, когда потом узнала, что не тот взорвала... У, как я тогда его возненавидела!

— Кого?

— Царя, Вера Николаевна... Как мог он догадаться? Говорят, все время сзади шел, а тут, как назло, в Курске приказал свой поезд вперед пустить. Ужас! Предчувствие, что ли, было?.. А у тебя, Андрей, что случилось?

— Хуже твоего, Соня,— мрачно сказал Желябов и замолчал. Стал рассказывать Тихонов:

— Как работали-то, Софья Львовна!.. Вот вы рассказывали про вашу работу, что и говорить — ужас один... Только и у нас тоже мороки немало было. Устроились мы под именем ярославского купца Черемисова у мещан Бовенко, дом у них сняли, будто кожевенный завод устраивать думаем. С нами были Пресняков и Окладский. Вот этот Окладский!.. Не иначе как он нам всю музыку и испортил. Нам нужно было сделать подкоп под насыпь. А насыпь там у Александровска сажен одиннадцать вышины, значит, как ахнем, так все и полетит вниз к чертовой матери, весь поезд не иначе как вдребезги. Тут ошиб-

ки никак не могло быть. Работали по ночам. Каждую ночь железнодорожная охрана раза четыре или пять спускалась с фонарями по насыпи и осматривала водопроводные трубы. Товарищ Андрей выговорил себе право собственными руками просверлить насыпь, а потом соединить провода для взрыва. Я и Окладский охраняли его, наблюдая, чтобы охрана чего-нибудь не заметила. Очень трудно было заложить мину. Мина тяжелая... Принесем ее из города, самое — закладывать, а тут то поезд идет, то охрана шатается. Надо опять все назад тащить, начинать все сначала, ждать другой ночи. А ночи темные — зги не видать! Дожди, ветры, грязища такая в поле — ноги не вытянешь. И устали мы потому страшно...

— До галлюцинаций доходили, — сказал Желябов. — Я ночью плохо вижу. У меня что-то вроде куриной слепоты. Ползу я с миной — вижу, стоит кто-то на пути... Смотрит на меня. Я залег, аж не дышу. Тихо. Я лежу, и тот стоит, не двигается, смотрит на меня. Думаю, что я так поболее часа пролежал, дурака валял... Наконец, думаю, что он — боится, что ли, меня? Ну, хотя бы рукою двинул, пошевелился бы, нет, стоит, как статуя... Пополз я ближе. Гляжу — столб. Это я в темноте, значит, ошибся, не то направление взял и на дорожный столб набрел.

— Мы так часто блуждали в темноте, — сказал Тихонов. — Я как-то раз Андрея чуть было не застрелил. Лил сильный дождь с ветром и — темень... Иду я и вижу, кто-то громадный на меня надвигается. Ну, думаю, шалишь, живым не дамся. Выхватил револьвер, приготовился стрелять, а тот чуть слышно окликает меня: «Тихонов, ты?» Это я в темноте на Андрея нашел. Как-то ночь уж очень бурная была, и мы не пошли на работы. Устали мы страшно от бессонных ночей и легли спать. Вдруг слышу, кричит кто-то: «Прячь провода! прячь провода!..» Я засветил свечу — Андрей на полу ползает, галлюцинирует. Насилу разбудил его.

— Немудрено... Я каждую ночь промокну до последней нитки, лежа в степной грязи, так, бывало, зачленеешь, что надо вставать, а ноги не повинуются, не сгибаются.

— Но все-таки, товарищи, почему же у вас ничего не вышло?

— А вот слушайте, Софья Львовна. Значит, наступает восемнадцатое ноября. Телеграммы нет... А у нас с Центральным Комитетом условлено, если телеграммы нет, значит, и перемены нет: царь выехал из Симферополя. Я с Андреем и Окладским поехал на телеге, запряженной двумя лошадьми. Подъехали мы к оврагу, где были спрятаны провода, Окладский вынул

провода из-под земли, из-под камня, сделал соединение, включил батарею и привел в действие спираль Румкорфа. Надо вам сказать, что все эти дни Окладский скулил: «Ах, нехорошо мы затеяли. Сколько народа без всякой вины погибнет. При чем тут машинист, кочегары, поездная прислуга — все же это свой брат, рабочие. Надо царя одного, а других-то зачем же?..» Товарищ Андрей даже прикрикнул на него. А тут, видим, Окладский спокоен, деловит, даже как-то торжествующе спокоен. Весел. Напевает что-то сквозь зубы. Андрей мне шепнул: «образумился товарищ Иван»... Сидим мы в овраге, монотонно сипит машинка Румкорфа, все у нас исправно. Андрей держит в руке провода наготове. Окладский сверху наблюдает за путями. Слышим — грохочет поезд. Окладский кричит Андрею: «Жарь!» Андрей соединил провода... Ничего... Поезд промчался, понимаете, над тем самым местом промчался, где была заложена мина, поднял за собою песочную пыль и исчез вдали. Серое небо... Черная грязь и... ничего... Пусто, отвратительно пусто стало у меня на душе.

— Динамит, что ли, плохой?

— Нет, Софья Львовна, динамит у нас был тот же, что и у вас, нашей народовольческой динамитной мастерской из Баскова переулка, ширяевской работы, Якимова проверяла его. Запалы были из минного класса Артиллерийского ведомства, Суханов доставил нам. Мы их испытывали — без осечки работали. А видите ли — провода как-то, должно быть, лопатой на чисто перерезали. Может быть, случайно какой мастер... А может быть, и нарочно... Окладский... Большое у меня, товарищи, на него подозрение. Я буду и в Исполнительном комитете о нем предупреждать.

— Да, ни тебе, Андрей, ни мне не удалось, — печально вздыхая, сказала Перовская.

— Нет, Андрей Иванович, — с надрывом в голосе и со слезами на глазах сказала Вера, — никогда вам не удастся! Мне начинает казаться, что и точно Царь — Помазанник Божий, и это Бог хранит его от всех покушений. Сколько их было — Государь из всех выходил целым и невредимым.

— Ну, знаете, Вера Николаевна, — сказал Тихонов, — ежели так рассуждать, так надо складывать манатки, сматывать удочки и все наше великое дело освобождения народа бросать.

— В Бога мы не верим, — строго сказал Желябов, — царя мы считаем извергом и причиною всего зла. От нами задуманного дела мы ожидаем бунта, который истребит всех царских пала-

чей и опричников, сравнивает богатых с бедными и установит народное счастье всеобщего равенства и свободы.

Разговор сразу завял. Тактичная, с тонким чутьем, Вера поняла, что в ту минуту, когда она так искренно сказала то, что подумала и почувствовала, ее стали чуждаться. Она встала и стала прощаться.

— Софья Львовна,— сердечно сказала она,— вы не подумайте, что я разуверилась в нашем общем деле, что я больше не думаю, что только таким путем мы сможем подойти к строительству счастливой и свободной жизни русского народа. Я сказала это потому, что вот — везде неудачи... Гольденберга с динамитом арестовали, поэтому не удалось покушение в Одессе, куда, думали, морем приедет Государь. Не удалось у Андрея Ивановича в Александровске, не удалось у вас под Москвой. Не удалось одиночке Соловьеву... Что же это такое?

— Не бойтесь, Вера Николаевна, удастся,— сказала Перовская,— доставая какую-то бумагу.— Вот почитайте на досуге, все узнаете. Это наше решение. Только смотрите, не попадитесь...

Вера ушла смущенная, со смятенным сердцем, провожаемая холодным, недоброжелательным молчанием.

Х

В тот же вечер Желябов, в меховой шапке, с пледом на плече, в приличном драповом пальто, на дилижансе «кукушке» проехал по Гороховой до Адмиралтейской площади, обогнул Александровский сад, наискось пересек Сенатскую площадь, по пешеходным мосткам перешел Неву к Академии художеств и по 4-й линии прошел на Малый проспект Васильевского острова.

Он попал в тихие и пустынные места. Глубокий, совсем почти не наезженный санями снег лежал по улице, на бульваре он был по колено, и низкие скамейки, почти в уровень со снегом были точно прикрыты длинными пуховыми подушками.

Ночь была тихая, и от снега было светло. Низкие деревянные дома стояли с наглухо закрытыми ставнями. На углу спал в санях, накрывшись полостью, извозчик, и, когда Желябов вышел на проспект, серая кошка перебежала ему дорогу.

«Хорошее место для свиданий,— подумал Желябов.— А свидеться надо. С октября, с самого начала работы, не видался с человеком! Не удалось там — так уж тут должно удался!»



Навстречу Желябову по проспекту шел человек, и Желябов не сомневался, что это и должен был быть Степан Халтурин, ибо кто другой мог быть здесь в этом глухом месте и в позднюю вечернюю пору?

— Ты давно тут? — спросил Желябов.

— Да с полчасика уже есть. Я нарочно пришел раньше, чтобы осмотреться и облюбовать место. Пойдем к Малой Неве, на Тучкову набережную. Там доски навалены, сторожей нет. Там и потолкуем.

Увязая в глубоком снегу, они прошли на край проспекта, свернули мимо высокого забора на Неву и здесь, у высоких штабелей с досками, сели на бревнах.

— Хорошее местечко, только курить не приходится, ну да это дело десятое.

— Сдавай отчет, Степан, — сказал коротко Желябов.

С Халтуриным Желябову было легко. Степан, как и Андрей, был из крестьян. Андрей был из Таврической губернии, Степан — из Вятской. Он уже работал в партии несколько лет и был одним из главных основателей «Северно-Русского рабочего союза». Он не был так образован, как Желябов, но он был умен от природы. Он не увлекался крестьянской общиной, и, когда однажды Плеханов изложил Халтурину с обычным ему пылом содержание народнической книги об общинном землепользовании, тот с недоумением заметил: «Неужели это так действительно важно?» «А что же важно?» — спросил Плеханов. «Важно?.. Самостоятельная рабочая партия. Всеобщая стачка в Петербурге, чтобы газа не подавать и водопровод не работал. А с самого начала — уничтожить царя. Он всему голова — ее, эту голову, и срубить!..» Желябов тогда и приблизил Халтурина и теперь дал ему самое ответственное поручение.

— Отчет? Что же? Отчет сдам, — медленно сказал Халтурин. — С моей стороны работа сделана на совесть. Остановка с вашей стороны. Исполнительный комитет сам на голову гадит, срывает настоящее дело.

— Ну-те?

— Я тебе, Андрей Иванович, еще тогда говорил — мало одного пуда динамита! Тут трех пудов и то мало. Ведь эдакий случай — в самое их паучье гнездо я забрался. Тут надо так шарахнуть, чтобы полквартила снесло. Чтобы до самого Адмиралтейства все к чертовой матушке полетело.

— Я так и докладывал комитету. Много людей, Степан, погибнет. Нехорошее впечатление оставит в народе. Нам ведь и с этим считаться приходится.

— Эх, Андрей Иванович, Андрей Иванович. Что говоришь и кому? А царь... Скажи мне, царь и его прислужники тридцатого августа под Плевной, когда пирог с людской начинкой учиняли царю на именины поднести, что они, считали жертвы, ай нет? Там тыщи людей положили. Скобелевы, Гурки... А ты для такого дела жалеешь?

— Мне сказали — пуда довольно. А то ведь и раньше времени обнаружиться может, и тогда все погибнет.

— Пуда, говоришь, довольно, Андрей Иванович? Ты меня спроси — довольно или нет?.. Ну, дело ваше... Так вот, слушай. В октябре, значит, я поступил. Определили меня под именем Батышкова слесарем в самый Зимний дворец. Поставил меня немец-подрядчик. Видать, я ему понравился. Что же, хотя и молод я, а людей по своему ремеслу повидал. Комнату отдельную отвели, а для надзора за мною в том же подвале жил старый жандарм с дочерью. Ну, сам понимаешь, старик одинокий, то то, то другое у него неисправно — слесарь человек ему нужный. Я ему то то, то другое услужу, и так мы с ним дружно да ладно зажили, что он и дочку свою стал мне сватать. В октябре царя не было. Он к душеньке своей в Крым уехал. Вся дворцовая лакуза распустилась, по двору чуть не без штанов бродит, крадет что можно и где только можно, — и вино, и хлеб, и конфеты, и белье, и мне, чтобы от них не отстать, тоже красть приходилось — ну, да это дело десятое... Работы у меня много. Водопровод почти везде неисправный, там вода не течет, там вода не уходит, тут замок ослабел — и я по всему дворцу хожу, все мне показывают и обо всем болтают. Я и не спрашиваю, новому человеку рады все порассказать от скуки. Вот я все и узнал... Взрывать? Откуда же я могу взрывать, как только из своей комнаты? Там приладил я у стены свой сундук, будто с платьем и с инструментом. И натаскал я туда с Баскова динамита. Вот смотри, значит...

Халтурин пальцем на снегу стал чертить линии, составляя план дворца. В мутном свете ночи Желябов с трудом различал изображение.

— Вот, гляди, — это будет, значит, подвал. Тут вот моя комната. Так постель моя стоит, над нею икона с лампадкой, честь честью, а мне при лампадке и вовсе удобно по ночам работать. Эта стена будет капитальная — до самого доверху. Значит, к ней и ставить — как ахнет — все этажи потрясет. Только мало... Мало, говорю, динамита. Куда же пудом дворец целый рушить, только людей насмешим. Ну вот, значит, тут я сундук и поставил. В нем динамит. Нехорошо, что пахнет. Меня жандарм уже

спрашивал: «Чего это, мол, Степан, у тебя так неподобно пахнет?» — «Дык, как же, — говорю ему, — сам знаешь-понимаешь, лудить-паять мне приходится, без кислоты не обойдешься. С нее и запах. Опять же в ватер-клозетах работаю, там надо карболкой заливать — вот и пропахла вся моя даже одежда...» Промолчал. Поверил, нет ли, не знаю — его дело. А только надо спешить. Надо мною — габвахта главного дворцового караула. Ну, пострадают солдатики, так черта ли нам о них думать. Царь небось не думал, когда на Шипке людей морозил, на штурмы посылал. Тут будет габвахтное крыльцо, тут дверь, тут офицерская комната, на антресоли над нею офицер казачий из разъезда ночует и, когда Нева не стамши, Гвардейского экипажа офицер, командир царского катера. Видишь, все досконально узнал. Повыше, во втором, значит, этаже — большая столовая, по ней и надо бить...

— Царь всегда в ней обедает?

— В том-то и беда моя, Андрей, что почти что никогда. Царь вот где живет, видишь. — Халтурин показал на снегу место в стороне от сделанного чертежа. — Далеко! Внутренние покои называются. Там Императрица больная, ну и он там. Мне лакеи сказали, что так по этикету их полагается. Только лакуза говорила — царь часто захаживает на фрейлинскую половину. Мне опять-таки все пояснили, почему и отчего. Есть фрейлины городские — не так себе, те не в счет, их только на балы и выходы приглашают, и есть при государыне, как бы сказать, фрейлины казенные — тем полагается казенная квартира. Так вот в такой квартире — вот в этом самом месте и живет фрейлина — княжна Долгорукая. Государева душенька, при ней трое детей, сын и две дочки — Государевы дети и еще дама, вроде как гувернантка, — Шебеко.

— Вот там и бить.

— Что я, милый, без тебя этого не знаю. Поди-ка доберись. Пуд динамита поставь там, чтобы никто не видел... Когда Государя не было — я везде был, все высмотрел — нельзя ли куда поставить — нельзя!.. И нельзя!.. А теперь там везде полно народа. Караулы, охрана, лакузы у каждой даже двери. Я уже думал: провода как провести — будто бы от звонков... Ни-и-как нельзя. Только это место и есть. Ну, да сам знаешь-понимаешь, как солдаты поют «горе не беда» — и тут будет ладно. Только динамита давай больше и дай мне дня за два знать, когда у Государя будет званый обед, когда вся царская фамилия у него соберется — тогда обед сервирован будет в большой столовой, — я машинку поставлю, да и до свиданья, только меня и видели.

— Что ж, узнать?.. Узнать — это можно. У нас есть такие подходящие люди, — сказал Желябов и подумал о Вере. — Я Со- не скажу, а как тебе-то дать знать?

— Да хотя мне отлучаться непросто, особенно по вечерам, — ну да можно, скажу, ко всенощной хожу. Так вот каждую субботу на этом самом месте между полседьмого и полвосьмого. Только скорее бы надо!

— Скорее... Это уже не от меня теперь зависит. Ну, идем... А то еще не нанюхал бы нас тут кто-нибудь...

— Э, милый, тут никого никогда нет. Когда потеплее было — бродяги иногда ночуют на сенных баржах, а теперь, в мороз, кому охота. У тебя, я чаю, ноги-то застыли, пока я свой доклад делал.

— Да. есть малость.

Халтурин ногою смел сделанный им на снегу чертеж, и оба бодрым шагом, чтобы согреться, пошли вместе до Среднего проспекта, там Халтурин пошел по 4-й линии, а Желябов дошел до 8-й и кружными путями, заматавая следы, стал выбираться к себе в Измайловские роты.

XI

Вера читала и перечитывала ту прокламацию, которую еще в начале зимы дала ей Перовская. На листе почтовой бумаги, вероятно раньше размоченной и потому несколько рыхлой, было напечатано: «От Исполнительного комитета...» Сухие, строгие, прямые и точно жестокие были буквы заголовка. Дальше мелким сбитым шрифтом грязновато было напечатано:

«...19 ноября сего года под Москвою, на линии Московско-Курской железной дороги, по постановлению Исполнительного комитета произведено было покушение на жизнь Александра II посредством взрыва Царского поезда. Попытка не удалась. Причины ошибки и неудачи мы не находим удобным публиковать в настоящее время.

Мы уверены, что наши агенты и вся наша партия не будут обескуражены неудачей и почерпнут из настоящего только новую опытность, урок осмотрительности, а вместе с тем новую уверенность в свои силы и в возможность успешной борьбы.

Обращаясь ко всем честным русским гражданам, кому дорога свобода, кому святы народные воля и народные интересы, мы еще раз выставляем на вид, что Александр II является оли-

цетворением деспотизма лицемерного, трусливо-кровожадного и все растлевающего. Царствование Александра II с начала до конца — ложь, где пресловутое освобождение крестьян кончается Московским циркуляром, а разные правды, милости и свободы — военной диктатурой и виселицами. С начала до конца оно посвящено упрочению враждебных народу классов, уничтожению всего, чем жил и хочет жить народ. Никогда воля народа не попиралась более пренебрежительно. Всеми мерами, всеми силами это царствование поддерживало каждого, кто грабит и угнетает народ, и в то же время повсюду в России систематически искореняется все честное, преданное народу. Нет деревушки, которая не насчитывала бы несколько мучеников, сосланных в Сибирь за отстаивание мирских интересов, за протест против администрации и кулачества. В интеллигенции десятки тысяч человек нескончаемой вереницей тянутся в ссылку, в Сибирь, на каторгу, исключительно за служение народу, за дух свободы, за более высокий уровень гражданского развития. Этот гибельный процесс истребления всех независимых гражданских элементов упрощается, наконец, до виселицы. Александр II — главный представитель узурпации народного самодержавия, главный столп реакции, главный виновник судебных убийств. Четырнадцать казней тяготеют на его совести, сотни замученных и тысячи страдальцев вопиют об отмщении. Он заслуживает смертной казни за всю кровь, им пролитую, за все муки, им созданные.

Он заслуживает смертной казни. Но не с ним одним мы имеем дело. Наша цель — народная воля, народное благо. Наша задача — освободить народ и сделать его верховным распорядителем своих судеб. Если бы Александр II осознал, какое страшное зло он причиняет России, как несправедливо и преступно созданное им угнетение, и, отказавшись от власти, передал ее всенародному Учредительному собранию, избранному свободно посредством всеобщей подачи голосов, снабженному инструкциями избирателей, — тогда только мы оставили бы в покое Александра II и простили бы ему все его преступления...»

Зимние сумерки тихо входили в комнату Веры. Сгущались по углам тени. Против Веры в золотой раме висел большой литографический портрет Императора Александра II. Вера смотрела на него и думала: «Все ложь! Грубая, ничем не прикрытая ложь! Государь — „деспот, трусливо-кровожадный и все растлевающий“...»

В легкой дымке сумерек перед Верой было прекрасное лицо Государя. Его большие грустные глаза задумчиво смотрели с портрета на Веру. Отсвет зимнего дня сквозь замороженные стекла ложился на Государево лицо, двигались тени, и лицо казалось живым.

«Деспот?» — Вера, постоянно присутствовавшая при разговорах у бабушки, знала всю жизнь Государя.

Деспот?.. Самодержец?.. Вера знала, что, отправляя в ноябре 1876 года на войну своего брата, Николая Николаевича Старшего, Государь поставил целью войны Константинополь... Как хотел он прослабить Россию этим великим завоеванием — полным освобождением балканских народов от турецкого владычества.

Константинополь! Но война еще не началась, как Государя окружили масонские влияния, как дипломатия стала давить на Государя и заставила его — деспота и самодержца написать письмо английской королеве Виктории и обещать ей, что русские войска не войдут в Константинополь. Масоны грозили, что, если этого не будет сделано, Англия и Австрия объявят войну России и повторятся события Севастопольской кампании...

Главнокомандующему и брату сказано одно и дал королеве слово исполнять другое... Легко было это Государю?.. Где же личное, где же деспотизм и самодержавие? Напротив, именно Государь жертвовал своим самолюбием ради пользы народа.

Начались решительные победы. Сдался Осман-паша. Армия Сулеймана была отрезана от Адрианополя. Укрепленный природой и иностранными инженерами, Адринополь был занят конным отрядом Струкова. Намык-паша, почтенный турок, старик, парламентар, со слезами сказал: «Турция пропала!..» Великий князь Николай Николаевич Старший спешил к Константинополю. Между Адрианополем и Петербургом шел непрерывный обмен телеграммами.

У бабушки Афиногена Ильича старый конвонец, свитский генерал Хан Чингисхан рассказывал: английский флот появился у Принцевых островов. Румыны стали нахальничать и отводить свои войска к австрийской границе — своя рубашка ближе, — боялись Австрии, на Дунае один из двух мостов был сорван бурей, тиф косил нашу армию.

— Несмотря на все это, — говорил с кавказским акцентом Чингисхан, — Михаил Скобелев занимает Чатаджу. Турок тре-

пещет. Мы черкески себе новые шьем — с Николаем Николаевичем в Константинополь входить будем... Турки хотят подписать наши условия мира — англичанка их настраивает. Нах-халы! Николай Николаевич выводит армию «в ружье». Сейчас идем на Константинополь! Турки и хвосты поджали... Что ты думаешь?.. Телеграмма от Государя: «Не входить в Константинополь...» Великий князь — брат Государя... Как может он не исполнить приказа Государя? Был бы Скобелев на его месте, вошли бы туда. Тот пошел бы на это — казни меня, а Константинополь твой!.. Но понимаешь, Великий князь не может так поступить вопреки воле Государя... Телеграмма!..

Вчера в кабинете Афиногена Ильича горячо и страстно говорили об этом. Порфирий говорил, что эти темные английские масонские силы вмешались в дело войны. Они поссорили Государя с Великим князем и внушили Государю недоверие к брату.

— Ты знаешь, папа, мы стали в угоду кому-то умялять заслуги наши и наши победы. О войне перестали писать и говорить.

— Подумаешь, какие интриги, — сказала с грустью Лиля.

— Москва готовила триумфальную встречу Великому князю Главнокомандующему. Великому князю приказали ехать, минуя Москву. А когда Великий князь приехал в Петербург, Государь обласкал его, пожаловал званием фельдмаршала и повелел поехать «отдохнуть» в Париж. Почетная ссылка!

Печальными глазами Вера смотрела, как погасал свет на Государевом портрете.

«Самодержец?.. Деспот?.. Нет — бедный, бедный Государь. Какая бездна интриг, влияний, темных сил окружает его в громадной его деятельности. Члены «Исполнительного комитета и не подозревают, как это совсем не просто быть самодержцем и деспотом...»

«Трусливо-кровожадный...» — Вера знала, что Государь ничего не боялся. При всех покушениях на него он оставался спокойным и хладнокровным.

Царствование Государя Императора Александра II — ложь?.. Нет! ложь — прокламация Исполнительного комитета! За Государем — отмена телесных наказаний, а не Московский циркуляр... За Государем — гласное судопроизводство... Казни? Веру Засулич — оправдали... Вера Фигнер на свободе... Перовская... Я! Я!! Я!!! «Нет деревушки, которая не насчитывала бы нескольких мучеников...» Ложь! Вера знает много деревень и не

слыхала ни об одном мученике, если не считать воров и конокрадов. Они пишут о десятках тысяч казненных и сами потом пишут, что казнено всего 14 человек... А сколько гибнет при ваших... при наших покушениях совсем неповинных людей! Ложь!! Недаром Перовская при первом уроке революционной деятельности сказала: что нужно научиться — лгать...

Вера шла строить великое будущее русского народа. Она говорила о работе в народе, деятельности по роману Чернышевского «Что делать?»... Но когда же, как все это обернулось в приговор к смертной казни!.. казни!! КАЗНИ!!! Государю...

Как же проглядела все это Вера?.. Как не поняла она того, что замышляется вокруг нее? А взрывы? Разве не догадывалась, что взрывы, о которых, как о героизме, говорилось, — это казнь!.. Казнь!.. и они — палачи!..

Вера подняла голову. Бесконечная печаль была в ее глазах... Эти люди — народовольцы и народоволки — маньяки... Сумасшедшие... Их цель — убийство. Они говорят об этом так просто. Для них в Царе нет человека. Акт!.. Они убивают изверга, тирана. Для них Государь — «объект» действия, который не чувствует, не страдает, не живет...

Как же она-то, Вера, связалась с этими сумасшедшими? На Воронежском съезде они показались ей милыми, простыми людьми... Веру подкупило их полное доверие к ней...

Они пели широкие русские песни, они были такими русскими. И Вере тогда показалось, что она попала в особенный очаровательный своей простотой мир, где свобода, равенство и братство. Где нет условностей их «буржуазного», «мещанского» мира. А оказалось... Оказалось, что она попала в стаю кровожадных волков, травившую Государя...

Под Новый этот год, когда Афиноген Ильич уехал на «выход» в Зимний дворец, Вера переоделась в скромное платье и поехала в Басков переулок на заговорщицкую квартиру. Ей это казалось тогда подвигом, и так все там было интересно.

Там собрались все подпольщики... Те, кто готовили Государю казнь... Палачи. Там было непринужденно весело. Жидовка Геся Гельфман, как и на съезде, готовила бутерброды, раскладывала на блюде пирожные, хлопотала с угощением. То, что Геся была безобразна, что все ее называли просто Геся, казалось Вере трогательным...

Андрей разошелся вовсю. В вышитой белой рубахе под запахнутым пиджаком он казался особенно красивым. Он оправился от потрясений взрыва, стал сытее и был непринуж-

денно весел. Хозяином ходил он по квартире, заложив руки в карманы, каждому хотел сказать что-нибудь милое, доброе, ласковое. Он подошел к Гельфман и остановился над подносом, уставленным тарелками, на которые Гельфман накладывала розовые кружки вареной колбасы, селедку, кильки, кусочки сыра и хлеб.

— Славная вы наша хлопотунья, милая Гесья,— сказал он.— Как все у вас красиво разложено... И пахнет! И лучком и чесночком! А у меня, знаете, аппетит, как у голодного крокодила. Ей-ей! Я могу съесть дом.

Гесья влюбленными томными глазами смотрела на Андрея, и лицо ее хорошело.

— Не улещивайте, Андрей. Раньше срока ничего не получите. Не подбирайтесь и под пирожные. Все равно не дам.

Революционеры рассказывали свои приключения. Сколько раз эти люди едва не попадались в руки полиции и уходили — то благодаря находчивости или потому что товарищи успевали вовремя предупредить об опасности.

После ужина на круглом столе посередине комнаты поставили суповую миску, утвердили в ней сахарную голову, положили лимона, корицы, ванилин, налили вина, потом потушили свечи, облили голову ромом и зажгли.

Синее пламя бродило по сахару и набрасывало трепетный свет на лица окружавших чашу мужчин. Морозов, за ним Андрей и Колодкевич вынули из ножен спрятанные в карманах кинжалы и положили на чашу. Перовская подливала ром.

И вдруг разом, Андрей только рукою повел, грянули песню:

Ой не дивуйтесь, добри люде,
Що на Вкраине повстало...

Умеряя голоса, загудели таинственно:

Там за Дашевим, пид Сорокою
Множество ляхив пропало...

У Веры мураши побежали по телу. Запах рома пьянил, пение волновало, и сладостно было сознание, что она с ними, делающими какое-то таинственное страшное дело, идущее ко благу народа. Она — их!..

За каждым из них гонялась полиция, каждого ожидали холодные тюремные стены каземата, ссылки, каторга, может быть, виселица.

Все шумнее и пьянее становилась беседа. Чокались липкими стаканами с ароматной жженкой, пили «за светлое будущее!».

— Не мы — так другие!

— За счастье народа!

— В прошлом году не удалось — удастся в нынешнем!

— С Новым годом!

— С удачей!

Пели «Марсельезу». Задорный мотив ее уносил Веру из действительности, гнал куда-то в беспредельность.

— Эти последние капли пусть будут последними каплями чаши неволи!

Кто-то по-польски запел революционную песню, но ее никто не знал, и запевшего не поддержали.

Когда допили последние капли «чаши неволи», стол отставили в сторону, Ольга Любатович села за пианино и с шумом и притоптыванием, шутками и припевая отплясали кадрили. Вера танцевала с Сухановым, против нее были Андрей с Перовской. Потом плясали польку и вальс. Никогда Вера так искренне не смеялась и не веселилась, как на этой товарищеской вечеринке под новый 1880 год. Андрей скинул пиджак и задорно запел:

Ах вы Сашки-канашки мои,
Разменяйте вы бумажки мои,
А бумажки все новенькие —
Двадцатипятирублевенькие...—

и, громыхая каблуками, пустился вприсядку.

В мутном рассвете зимнего утра Вера возвращалась домой. Не вмещалось в ее голове, что эти беспечные, веселые люди — убийцы, что они палачи, что они готовили смерть Государю. Это просто была какая-то необычно заманчивая, увлекательная игра.

Вера прокралась в свою комнату, боясь разбудить девушку или лакея, и легла спать.

Тогда казалось весело. Теперь, в сотый раз перечитывая прокламацию, поняла — сумасшедшие... Изверги... палачи... бесы!

Ужас охватил ее. Она сидела в темной комнате и думала: «Что же может она теперь сделать?.. Как выйти из этой пропасти, куда так легкомысленно она попала?..»

Донести? Все рассказать, во всем покаяться дедушке Афиногену Ильичу или Порфирию?.. Она никакою клятвою не свя-

зана. Она не вступала в партию, не давала слова молчать, не присягала. Но она была связана большим, чем все это, — их полным доверием.

При ней читали устав Исполнительного комитета партии народной воли:

«В Исполнительный комитет может вступить только тот, кто согласен отдать в его распоряжение всю свою жизнь и все свое имущество безвозвратно, а потому и об условиях выхода из него не может быть и речи...»

Вера не вступала в Исполнительный комитет и не давала никакого согласия. Она сидела тогда, прижавшись к Перовской, и дрожала внутреннею тихою дрожью. Она тогда поняла — ей выхода нет!

Теперь она знала многое. Она знала, что арестованный с динамитом осенью прошлого года Гольденберг всех выдал, и полиция разыскивает названных им лиц. Вера знала, что Окладский, которого подозревают в том, что он перерезал провода у Александровска, изменил партии и служит в Охранной полиции. Они это делали легко и просто. За ними не стояло воспитание прошлого, предки, сознание своего благородства. Вера этого никогда не сделает. Она Ишимская — и за доверие не заплатит предательством.

Уйти?..

Вера чувствовала, что не только уйти не сможет, но исполнит все то, что ей оттуда прикажут. С несказанным последним ужасом, какой только бывает в кошмарном сне, Вера чувствовала, что между ними и ею протянуты невидимые нити и что ей от них никогда не уйти.

Вера опустила прекрасную голову на руки и беззвучно плакала горькими слезами отчаяния.

Ночь тихо вошла в комнату. Сквозь тюлевые гардины стали видны шесть стекол высокого окна, разубранных морозом. Неизъяснимая печаль была в этом ночном свете, входившем в крошечный мрак комнаты, где уже ничего нельзя было рассмотреть.

XII

Суханов разыскал Веру на Таврическом катке.

При свете морозного зимнего дня Вера увидела, как постарел и осунулся Суханов за этот год революционной работы. Вера знала, что он весь отдался помощи народолюбцам, что он

поставил Ширяеву в его динамитную мастерскую запальные шашки и капсюли с гремучей ртутью, что он являлся техническим помощником Ширяева. Он был обречен, и он знал это. В его глазах Вера заметила страшный огонь безумия. Бес владел им.

— Вера Николаевна, как я рад, что нашел вас,— торопливо сказал Суханов.— Софья Львовна просит вас непременно прийти к ней завтра утром.

Вера подошла к Перовской.

Перовская была необычайно нервна и возбуждена.

Она внимательно посмотрела прямо в глаза Вере и сказала:

— Что это, Вера Николаевна, вы к нам давно не заходите?

— Так... Как-то не пришлось. Мне это время все нездоровится, Соня... А ты не помнишь, мы с тобой на «ты» выпили под Новый год...

— Ах да. Точно... Ты, Вера, что? — строго глядя Вере в глаза, сказала Перовская.

— Я? Ничего,— сказала Вера.— Суханов сказал мне, чтобы я к тебе зашла.

— Вот что, Вера... Окажи мне маленькую услугу. Узнай у твоего генерала, когда у царя будет званный обед и обедать будут в большой столовой над гауптвахтой? Ты обещаешь мне это сделать?

Вера хотела отказаться и хотела все сказать. Но Перовская так строго и внимательно посмотрела на Веру, что та промолчала...

В этот вечер Вера заговорила с бабушкой о том, что ожидается до Великого поста при дворе.

Бесы владели Верой. Она уже не отдавала себе отчета, что она делает, она чувствовала себя во власти этой женщины с прямым, не ломающимся взглядом узко поставленных глаз.

На другое утро она бежала, гонимая какою-то странною силой, к Перовской, чтобы сказать ей, что 5 февраля ожидается приезд ко двору принца Александра Гессенского и что в этот день в 6 ½ часа вечера в большой столовой Зимнего дворца в Высочайшем присутствии состоится парадный обед.

— Вот и спасибо, Верочка,— сказала Перовская,— очень меня ты этим утешила.

Она сейчас же простилась с Верой и сказала, что ей очень нужно спешить по делу.

Пятого февраля Желябов со стороны Александровского сада и Перовская от арки Главного штаба с 6 часов вечера наблюдали за Зимним дворцом.

Императрица Мария Александровна давно хворала и не выходила из своих покоев. Зимой 1880 года болезнь усилилась, и врачи стали опасаться за ее жизнь. Принц Александр Гессенский приехал из Дармштадта навестить Императрицу, и на 5 февраля был назначен для него парадный обед. Ввиду тяжелого состояния здоровья Императрицы на обеде должны были быть только самые близкие родственники Государя, военный министр Милютин, министр внутренних дел, генерал Лорис-Меликов и друг Императора Александра II прусский генерал-адъютант фон Швейдниц. Зная симпатии старого генерала Разгильдяева к немцам, Государь назначил Афиногена Ильича в этот день на дежурство.

В 12 часов дня в присутствии Афиногена Ильича произошла смена дворцовых караулов. Был сильный мороз — 20 градусов, — музыка не играла, и рота наружного караула вступила на гауптвахтную площадку с барабанным боем.

Наружный караул заняла седьмая рота лейб-гвардии Финляндского полка, во внутреннем карауле стал взвод от пятой роты того же полка.

Афиноген Ильич подтвердил дежурному по караулам, чтобы часовых сменяли каждый час, посмотрел смену часовых у дворцовых ворот и вернулся во дворец на дежурство. Государь не выходил из внутренних покоев и отменил обычную свою прогулку по Летнему саду.

Через замороженные окна дворца была видна Нева, робкое блистание снега под низким, красным, точно холодным солнцем, бег саней по переездам. К пяти часам стало смеркаться. В залах спустили холщовые шторы, в малом зале задернули портьеры и зажгли газовую люстру в хрустальных подвесках.

Приглашенные к Высочайшему столу собирались в малом зале подле столовой. В открытые двери были видны большой стол, хрусталь, золотая посуда и лакеи в расшитых позументом, с черными государственными гербами, старинных кафтанах алого сукна, в белых панталонах и штиблетах.

Государь Наследник Александр Александрович с красавицей супругой Марией Федоровной, Великий князь Михаил Николаевич, брат Государя, лица свиты и дежурство ожидали Государя и принца Гессенского. По этикету, принц Гессенский должен был прибыть раньше Государя, но было уже без трех минут половина седьмого, а принца все не было.

Ровно в половине седьмого — еще не замолк одиночный мелодичный удар бронзовых часов на камине — двери распахнулись, и быстрыми шагами в зал вошел Государь. Он был в свитском мундире с вензелями своего отца Николая I и в длинных краповых чакчирах. Быстрым взглядом прекрасных глаз Государь окинул всех собравшихся в зале и своим невнятным, картавым голосом сказал:

— А его высочество, пг'инц Александр?

Афиноген Ильич почтительно доложил:

— Ваше Императорское Величество, его высочество принц Гессенский еще не прибыл.

— А... Что ж, подождем... *Un quart d'heure de grace*¹, — нахмуривая брови, сказал Государь.

Сам никогда не опаздывавший, Государь не любил, чтобы другие опаздывали и заставляли его ждать.

— Какой мог'оз! У меня в кабинете, у камина ноги стыли... Разгильдяев, кому это час тому назад звонили на гауптвахте?

— Ваше Императорское Величество, это командир полка, полковник Теннер приезжал проверять караул. Вызвали караульного унтер-офицера.

— В такой мог'оз! Что ему повед'ять? Когда стоят финляндцы, можно быть спокойным. Отличнейший полк. Ты говог'ил, чтобы сменяли часовых ежечасно?

— Так точно, Ваше Императорское Величество.

— Если нужно — то и через полчаса... Ведь это совсем как на Шипке. И ветег' с Невы.

Часовая стрелка подходила к тридцати пяти минутам. Прошло всего пять минут, но казалось, что прошло очень много времени. Целая вечность. Наконец появился и принц.

— Простите, Ваше Величество, — по-немецки начал он, — мои часы.

— Полно, милый. — Государь взял принца под руку и вопросительно взглянул на стоявшего в дверях столовой толстого метрдотеля.

Тот понял взгляд и торжественно провозгласил:

— Ваше Императорское Величество, обеденное кушанье подано...

Государь пошел к дверям столовой...

Государю показалось, что ему делается дурно, и он схватился рукою за сердце. На его глазах громадная стена, отделявшая

¹ Четверть часа из милости (фр.).

зал от столовой с зеркалами и картинами, вдруг пошатнулась и стала валиться. Из окон со звоном посыпались на пол стекла, люстра мгновенно потухла, и в тот же миг страшный гул взрыва оглушил Государя. Перед ним из столовой метнулось яркое ослепительное пламя, столовая исчезла, слышался грохот падающих камней, балок, лязг железа, звон стекла, крики и стоны, потом на мгновение все смолкло, и снизу из образовавшейся перед самим Государем бездны, уходившей в хаос наваленных деревянных балок и камней, стали снова слышны крики и стоны, и четко внизу, откуда клубами выходил в зал морозный пар, раздалось два удара колокола и кто-то, очевидно «часовой у фронта», громко и решительно крикнул:

— Караул вон!

Государь стоял над бездной. Презрительная улыбка была на его прекрасном лице.

— Куда забг'ались...— сказал Государь.— А?! Разгильдяев, поди узнай, что в каг'ауле. Там что-то ужасное.

— Ваше Величество, пожалуйста сюда. Пол может обвалиться. Вы простудитесь.

Государь стоял в морозных парах. Он повернулся и снова сказал Разгильдяеву:

— Поди узнай, что у моих финляндцев?

На платформе главной гауптвахты Разгильдяев нашел построенный караул. Раненые финляндцы выходили и выползали из разрушенного помещения и становились на свои места.

— Что Государь? — спросил караульный начальник штабс-капитан Иелита-фон-Вольский.

— Господь хранит Царскую Семью. Никто не пострадал. Войди он в столовую минутой раньше — никого не осталось бы в живых. Государь приказал узнать, что у вас?

— Сейчас окончили проверку. Убито одиннадцать, ранено пятьдесят три. Как видите, больше половины караула нет. Караульный унтер-офицер, фельдфебель Дмитриев, так растерзан взрывом, что мы узнали его только по фельдфебельским нашивкам. Знаменщик тяжело ранен.

В ворота, в сумрак слабо освещенного дворцового двора, входила рота лейб-гвардии Преображенского полка, вызванная по тревоге на смену финляндцам.

Морозный пар стоял от дыхания над прибывшей ротой. Караулы сменились. Надо было сменять часовых.

К Иелита-фон-Вольскому подошел начальник Преображенского караула.

— Как нам быть, капитан? Ваши не сдают постов. Говорят, без разводящего или караульного унтер-офицера сдать не можем.

— Они совершенно правы... Оба разводящие убиты. Караульный унтер-офицер тоже убит... Остается мне идти самому сменять посты.

Штабс-капитан Иелита-фон-Вольский вынул саблю из ножен, стал рядом с ефрейтором Преображенского полка, разводящим нового караула, сменять посты кругом дворца. Закоче-невшие часовые, увидев, что все исполняется согласно с уставом, сдавали посты. Когда возвращались на двор — там уже были Лазаретные линейки, пожарные дроги, раненых и убитых сносили к ним. Часовой у знамени, рядовой Абакумов, не сдал своего поста Преображенскому часовому, а знаменщик, старший унтер-офицер Теличкин, весь в крови, тяжелораненый, держал знамя и отказался передать его Преображенскому унтер-офицеру.

Пришел дежурный по караулам полковник Строев.

— Почему не сдашь знамени? Тебе же трудно... Он донесет знамя до дворца Августейшего шефа Великого князя Константина Николаевича, — сказал он.

— Ваше Высокоблагородие, — отвечал Теличкин, — негоже, чтобы знамя наше нес знаменщик чужого полка.

Строев посмотрел на знаменщика. Слезы показались на его глазах. Лицо знаменщика было смертельно бледно, покрыто синяками и кровоподтеками. Он едва держался на ногах.

— Да ты сам-то донесешь ли? — спросил Строев.

— Должен донести, — твердо ответил Теличкин, — и донесу.

Когда, ослабевая, теряя сознание, Теличкин ставил знамя во дворе на место, к нему вошел Великий князь Константин Николаевич. Он долго смотрел на знаменщика и, наконец, сказал, умиляясь:

— Неимоверные молодцы!

XIV

На другой день, 6 февраля, в Зимнем дворце, в дворцовой церкви, служили благодарственный молебен, и после был Высочайший выход.

В Георгиевском зале, группами по полкам, стояли офицеры гвардии и Петербургского гарнизона. Тихий, взволнованный

говор шел среди них. Все были потрясены случившимся, казалось невероятным, что крамола зашла в самый дворец.

Государь, спокойный и сосредоточенный, вышел в зал из церкви и направился прямо к группе офицеров Финляндского полка. Он остановился против нее и несколько мгновений смотрел затуманенными слезами глазами на офицеров.

— Полковник Стг'оев, штабс-капитан Иелита-фон-Вольский,— вызвал Государь,— пожалуйста ко мне. Поздг'авляю вас моими адъютантами.

Обернувшись к полковой группе офицеров, Государь сказал:

— Благодаг'ю вас, финляндцы!.. Вы, как и всегда, честно исполнили ваш долг. Сег'дечно жалею об остальных невинно погибших жег'твах. Я не забуду оставшихся в живых жег'тв.

После «выхода» Государь со всеми Великими князьями поехали на Васильевский остров в Финляндский полк. Он прошел в полковой лазарет и обласкал каждого из раненых, после прошел в полковую церковь.

Неотразимо печальный и вместе с тем грозный вид имела церковь в эти часы. Перед иконостасом высился страшный ряд одиннадцати гробов, украшенных венками. Пахло смолистою хвоею набросанных подле еловых ветвей. Государь твердыми шагами подошел к убитым, перекрестился, долго всматривался в спокойные, восковые лица солдат, накрытые белой кисеею, и преклонил перед ними колени.

Когда Государь поднялся — лицо его было мокро от слез.

— Как жаль мне,— сказал Государь,— что эти несчастные погибли из-за меня.

Священник начал панихиду. Государь отстоял ее впереди офицеров, подле гробов, и истово молился.

Седьмого февраля, несмотря на сильный мороз, Государь поехал на Смоленское кладбище на похороны.

Подле кладбищенской церкви были выстроены роты и эскадроны от всех гвардейских частей. Плакучие ивы и березы были покрыты серебряной кисеей инея. По ним с карканьем перелетали вороны и сбивали иней на землю. Все кладбище было черно от множества народа, пришедшего помолиться за невинно пострадавших финляндцев. В морозном воздухе было тихо. Ярko блистало негреющее февральское солнце.

Одиннадцать гробов с прибитыми к крышкам гвардейскими тесаками и кепи с черными султанами были сплошь завалены венками и цветами. Торжественно было отпевание солдат.

Когда понесли гробы к открытым могилам, Государь зарыдал.

— Кажется,— сказал он,— что мы еще там... на войне, в окопах под Плевной.

Гробы на полотенцах опускали в могилы. Пушечные громы и залпы ружей полыхали над Смоленским полем. Государь долго стоял над могилами и потом пошел, опустив голову, к саням и, первый раз сопровождаемый конвоем, поехал в Зимний дворец.

Бывшие на похоронах долго не расходились. Прусский генерал фон Швейдниц подошел к командиру Финляндского полка полковнику Теннеру и сказал:

— Я имею вам сообщить. Я получил из Берлина телеграмму. По получении от меня подробного описания взрыва в Зимнем дворце и того, как вел себя при этом караул вверенного вам полка, император Вильгельм Первый отдал по армии приказ, в котором указал караульную службу нести так, как нес ее русский Гвардейский Финляндский полк при взрыве дворца, пятого февраля тысяча восемьсот восьмидесятого года. Я думаю, вам будет приятно это услышать.

В толпе, расходившейся с похорон, шли два прилично одетых человека. Оба были в меховых шапках, драповых пальто и с лицами, укрупченными от мороза шерстяными шарфами.

— Эх, Андрей Иванович,— говорил тот, кто был поменьше, другому, высокому и статному,— ведь сколько раз я докладывал, просил... Нет, не верили мне... А по-иному бы все это повернулось. Другие похороны были бы. Познатнее, побогаче...

— Ничего, Степан, дождемся и тех — богатых!.. Я уже придумал. Проще надо и решительнее. Прямо к цели...

— Так-то оно так, Андрей Иванович, только торопиться надо с этим. Видали, какой восторг!.. Какое было «ура»!.. Сто тысяч рублей накидали для семей убитых... А кабы да по-моему — иначе все повернулось бы.

— Придет, Степан, и наше время.

— Да скоро ли?

— Скоро...

XV

Желябов сознавал — надо было торопиться. Взрыв в Зимнем дворце дал неожиданные результаты и нанес тяжкий удар партии «Народной воли».

До этого взрыва Государь, деликатный и беспечный, равнодушный ко всему, что касалось его личной охраны, и глубоко,

мистически верующий в Божественный Промысел, на этот раз вышел из себя. Дело касалось не его одного. Одиннадцать гробов с убитыми при взрыве финляндцами, лазарет, полный ранеными, потрясли ею. Какая же халатность, какая беспечность были кругом него, если преступники могли забраться в самый дворец, угрожая его семье, его гостям и всем приближенным к нему?

Указом 12 февраля была учреждена «Верховная распорядительная комиссия» под председательством графа Лорис-Меликова. Ей были даны диктаторские полномочия в делах, касавшихся охранения Государственного порядка и общественного спокойствия.

Лорис-Меликов 6 марта объявил, что он «не будет допускать ни малейшего послабления и не остановится ни перед какими строгими мерами для наказания преступных действий, позорящих наше общество»...

Через неделю Млодецкий стрелял в Лорис-Меликова, промахнулся, был схвачен, судим полевым судом и казнен через двадцать четыре часа.

Лорис-Меликов обратился за поддержкой к обществу. Он писал: «На поддержку общества смотрю, как на главную силу, могущую содействовать власти и возобновлению правильного течения государственной жизни, от перерыва которого наиболее страдают интересы самого общества».

Нелюбимые чиновники были удалены. Убрали насадителя классического образования и схоластики, мертвящей молодые мозги, министра народного просвещения графа Толстого и на его место назначили Сабурова. Был ослаблен внутренний порядок в учебных заведениях, студенты были одеты в форму. Административно высланные были возвращены. Земские ходатайства удовлетворены.

— У нас теперь, — оживленно, блестя глазами, говорила Лиля — ее все по-прежнему называли «графиней Лилей», — диктатура сердца. И как хорошо, что все эти мелочные заботы сняты с Государя.

Ей вторил счастливый Порфирий:

— На Кавказе, — говорил он, смеясь, — одна Кура — один Терек, а в России одын Лорис — одын Мелик!..

Афиноген Ильич задумчиво смотрел на своих «молодых» — уже порядочно поседевших.

— Шутки, Порфирий... — сказала Лиля. — В Петербурге все шутки.

— Дошутятся когда-нибудь до чего-нибудь отвратительно-го,— сказал Афиноген Ильич и как-то остро и пронзительно посмотрел на Веру.

Вера сидела на обычном своем месте за круглым чайным столом и молча слушала. За это время она похудела. В больших глазах ее были тревога и мука. Тяжелая внутренняя работа шла в ней.

Порфирий продолжал:

— Мне говорили, что с осени III отделение Департамента полиции будет упразднено, по всем губерниям посылаются сенаторские ревизии. Лорис-Меликов предполагает призвать общество к участию в разработке необходимых для настоящего времени мероприятий. В Государственный совет призовут несколько представителей от общественных учреждений. Это, папа, уже крупные реформы. В конечном счете — это конституцией пахнет!

— Для России,— медленно сказал Афиноген Ильич,— немыслима никакая организация народного представительства в формах, заимствованных с Запада. Эти формы не только чужды русскому народу, но они могут поколебать его веру и сделать смуту, последствия которой трудно предвидеть. Россия, Порфирий, находится на ужасном распутье. Без Самодержца она не может жить, а...

Афиноген Ильич опустил голову, потом поднял ее и строго и зорко смотрел на стоявший в простенке между окнами мраморный бюст Императора Николая I.

Все молчали, невольно глядя на бюст.

— Последний Самодержец в Бозе почил,— тихо сказал Афиноген Ильич.— Трудно Государю... У него большое и любвеобильное сердце, а Государю нельзя всех любить... Двадцать пять лет царствовать, шестьдесят два года носить за плечами, не иметь в своей семье утешения и поддержки — нелегкое дело!.. Дай Бог Государю спокойно дожить до благостного конца своего царствования. Слишком многое Государь совершил и — устал... Ты понимаешь, Порфирий,— Государь устал!.. Это ужасно, когда Государь устанет... И как его травят... Тут и за Лориса ухватишься... «На Кавказе одна Кура — один Терек»!.. Жесткие, Порфирий, у нас нравы, и чем больше человек делает добра, тем сильнее обрушивается на него людская злоба. Лорису спасибо за то, что он полицию подтянул. Наконец стала она работать...

И опять Афиноген Ильич остро и внимательно смотрел серыми блестящими глазами на Веру. Та вся съежилась под этим взглядом и опустила голову.

Андрей Желябов делал в Исполнительном комитете партии доклад. Доклад был неутешительный.

— В Саперном переулке, — говорил негромким голосом Желябов, — охранники с боем захватили нашу типографию. Молодецкий казен, в Киеве полевые суды и казни. Мы должны были закрыть типографию на Подольской улице и динамитную мастерскую на Подьяческой. Хорошо еще, что успели кое-что спасти. Полиция заняла эти квартиры. Квятковский и Пресняков повешены, Степан Ширяев, Зунделевич и Бух заточены в казематы... Арестованы Александр Михайлов, взяты Григорий Ширяев и Фридман... Как видите, нам нужно торопиться — иначе у нас никого не останется для работы. Гольденберг выдал меня, Перовскую, Якимову-Баску — и нас уже ищут... Мы должны, товарищи, покончить, наконец, с царем. Ведя свою работу по мелочам, как то мы делали раньше, «Народная воля» проживает свой капитал. Лучшие люди отдаются террору. Их мы готовили многие годы — и их уже нет. Что будет после убийства царя? На большие политические перемены я, товарищи, не рассчитываю, но нам легче станет работать, правительство растеряется, и наша организация захватит все слои общества. Но для этого нужно, чтобы хотя часть нас, старых народовольцев, уцелела... Так вот, я предлагаю: Оловянникова пусть едет в Москву. Москва — наша последняя надежда. Если в нужную минуту Москва нас не выручит — будет плохо... Совсем, товарищи, плохо...

Как только Желябов кончил, все разом заговорили.

Суханов указал, что наступающий 1881 год необычайно благоприятен для «акта», а после него и восстания.

— На Волге — голод, моровая язва на скоте... Среди студенчества и интеллигенции поговаривают о баррикадах, — заключил он свою нервную речь.

— Товарищи, — сказала Оловянникова, — кто же будет драться на баррикадах, когда царь будет убит? Мы недавно в комитете подсчитывали наши силы. С сочувствующими нас наберете пятьсот человек. Вы сами, товарищи, знаете, что такое сочувствующие?.. Разве пойдут они на какой бы то ни было риск?.. Идти в бой с такими силами, по-моему, просто безрас-судно...

Желябов строго посмотрел на Оловянникову.

— Все одно, Наталья Николаевна, — сказал он, — упустить и этот год мы не можем.

— Мы должны убить царя!.. Убить во что бы то ни стало,— восторженно крикнула Перовская.— Подумайте только, как можно это теперь просто и легко сделать. Мой наблюдательный отряд все выяснил, и убить царя вовсе не трудно. Если нас, людей неприметных, умеющих скрываться, постоянно меняющих паспорта и квартиры, полиция все-таки ловит,— как нам не поймать Государя, вся жизнь которого, точно размеренная по часам и по минутам, идет у всех на виду. Во втором часу дня царь выезжает в Летний сад и там гуляет...

— Шпики и охрана,— сказал кто-то.

— Согласна, что тут неудобно. Расстояние короткое, и трудно тут, где сравнительно мало народа, быть непримеченными. Но вот по воскресеньям царь ездит на развод в Михайловский манеж... Я все сама проследила. Обычно он возвращается или по Малой Садовой, или по Инженерной улице, выезжает на Екатерининский канал. И тут и там так удобно устроить засаду. На повороте от Михайловского театра на канал царский кучер всегда задерживает лошадей, там скользко на раскате. Вот тут так удобно метать бомбы. На Малой Садовой Андрей Иванович присмотрел дом, где очень просто устроить подкоп под улицу. Это дом графа Менгдена. Там есть свободное помещение в подвальном этаже, которое сдается внаем. Мы решили устроить там молочную торговлю. Юрий Николаевич Богданович и Анна Васильевна Якимова-Баска там поселятся под именем четы Кобозевых... Работать будут по ночам. Колоткевич, Суханов, Баранников, Исаев, Саблин, Лангас, Фроленко, Меркулов и сам Андрей Иванович посменно будут работать... Как видите — есть еще у нас порох в пороховницах... Не оскудела сила казачья... И уже теперь динамита жалеть не будем!.. Не будем!..

— Правильно,— сказал Желябов,— я ничего не могу возразить против того, что говорит товарищ Перовская,— и работать на подкопе буду... Но... Как-то, товарищи, разуверился я в силе этих подкопов и взрывов... Уже на что все было хорошо в Зимнем дворце устроено — а ничего не вышло... Только вред для партии... Мне больше по душе метательные снаряды, которые нам придумал Николай Иванович и силу которых нам показал на днях в Парголове.

Тот, кого Желябов назвал Николаем Ивановичем, был Кибальчич. Это был угрюмый чернобородый человек, все время заседания мрачно сидевший в углу и не проронивший ни одного слова. Теперь он поднялся и сказал ровным, бесстрастным, несколько глухим голосом:

— Видите, господа, я скажу вам прямо... Я совсем не народо-волец... Мне до народа нет дела. Я — изобретатель. У меня теперь — чертежи; я даже сделал вычисления математические и решил, что все это не фантазия, а можно... Выстроить такой корабль, чтобы летать на нем по воздуху. Управляемый корабль... Не аэростат, а вот именно корабль... Ну, только думаю, что при царе не выйдет... Не позволят... Тут нужна свобода... Меня за сумасшедшего считают... Ну вот еще придумал я и снаряды... И мне просто интересно попробовать эти снаряды на людях... Дерево в щепы — это не важно, мне нужно посмотреть человека под снарядом... И форму для вашей цели я придумал — лучше не надо — плоская, как конфетная коробка... И завернуть можно в белую бумагу... Так вот я вам охотно, ну и сам могу тоже... Когда идея, мысли — тогда ничего не страшно... Я вам динамит дам... Запальные приспособления... Нет, лучше, чем динамит... У меня свой гремучий студень, куда лучше заграничного. Я вам все сделаю — вы скажите только — когда?.. У меня придумано — огонь по стопину — моментально... Там скляночка, как бросите, — разобьется — и кислота — моментально и взрыв, и мне интересно, как по человеку? Для науки... Так вот, господа, действуйте — я для науки готов.

Желябов холодно посмотрел на него.

— Я все беру на себя, — сказал он. — Все... В боевую группу метальщиков я предлагаю товарищей Рысакова, Тимофея Михайлова, студента Гриневицкого, сына псаломщика Емельянова, Перовскую и, конечно, первым я. Если моя бомба не взорвет...

— Этого никогда не может быть, — мрачно вставил Кибальчич. — Моя будет бомба...

— Если бомба не взорвет — я заколю царя кинжалом.

Опять зашумели, заговорили, заспорили.

— Рысакова, Емельянова не надо, — сказала Оловянникова. — Мальчики, по девятнадцати лет всего... Помните завещание Александра Михайлова — не посылать слишком молодых людей в борьбу на смерть. Те, кто пойдет в метальщики, — все обреченные.

— Все одно, — жестко сказал Желябов, — других нет... Итак, мы отдаем на борьбу Богданова, Якимову, Фигнер, Фроленко, Суханова, Перовскую. Нам надо беречь старые кадры. Что касается Рысакова — он парень хотя и молодой, а толковый. Мои поручения, и очень опасные, всегда исполнял точно и беспрекословно. То же и Емельянов. Старым у них отваге поучиться

надо... Да и других нет. А молоды?.. Так молодость поможет им ловко метать снаряды, сильно и без промаха, и потом так припустят, что никакая полиция их не догонит.

После недолгих споров согласились, что указывать места будет Перовская, первым метальщиком станет Желябов, за ним Гриневицкий, Рысакова поставят третьим метальщиком.

Расходились поодиночке, взволнованные возбужденные. Уходя, пожимали друг другу руки и говорили:

— Прощайте, встретимся, нет ли, видно будет...

— За работу, товарищи, и сейчас же!..

— А то смотрите, говорят, царь собирается дать конституцию.

— Ну да, держи карман шире!.. Куцую!..

— Хоть и куцую, а конституцию... Народ разве разберет?..

Осенняя мгла лежала над городом. На пустынной улице не было никого. Сыпал мелкий петербургский дождь. Последними ушли Желябов с Перовской.

— Я уверена, — сказала Перовская, — что теперь удастся.

— Должно, Соня, удастся. Иначе Вера Николаевна окажется права...

— Ну да!.. Вот сказал!.. Бога нет. В это надо верить, что Бога нет, крепко верить. А Веру Николаевну я в это дело решила не посвящать.

— Что так?.. Или заметила что?..

— Да... Странная она стала... Много думать стала.

— Да, в нашем деле — думать!

Желябов покрутил головой:

— А не выдаст?..

— Нет. Это — никогда... Скорее с собою покончит... Белая крепкая кость... Дворянские старые заветы... И из военной семьи притом.

Желябов обнял Перовскую за стан, и они пошли, мерно шагая, касаясь друг друга бедрами, к себе в Измайловские роты.

— А что, если сорвется, Андрей, так и пойдем?.. На виселицу?

Желябов крепче прижал к себе маленькую Перовскую и сказал твердо:

— Ну что ж, так и пойдем. Другие за нас закончат.

Ненастная, глухая ночь была над ними. Они шли и думали о своем замысле.

Роковой для царя круг замыкался.

Двадцать второго мая 1880 года Государыня Императрица Мария Александровна тихо в Бозе почила.

Она умирала одинокая, всеми забытая и покинутая, сознающая, что она не нужна больше Государю. Сорок лет прожила она бледною тенью при блестящем царственном супруге. Сорок лет она молча терпела унижение увлечений Государя другими женщинами и последние годы должна была выносить присутствие во дворце княжны Долгорукой — Государевой «душеньки». Она страдала молча, тихо несла свой крест и тихо, незаметно скончалась.

По совершении погребения Государь выехал к войскам в Красносельский лагерь. Княжна Долгорукая, одна или с детьми, стала появляться на военном поле или в Дудергофе в придворной коляске с камер-казаком на козлах — как Императрица...

Нежелательные толки пошли среди офицеров лагеря.

Государь это знал, и это его раздражало. Он и раньше замечал пренебрежение его фавориткой. На малых балах в Эрмитаже, где все на виду, офицеры не танцевали с Екатериной Михайловной. Ее пренебрежительно называли: «Mamselle de Sa Majeste»¹. Деликатный Государь посылал своего адъютанта приглашать на танцы с княжной тех офицеров, в ком он был уверен. С Екатериной Михайловной постоянно танцевали и были ее кавалерами флотский офицер Скрыдлов, сапер Прежбяно и конногвардеец Козлов.

Были у Государя огорчения и другого рода. Его любимый брат, Великий князь Николай Николаевич Старший, находясь «в ссылке» в Париже, рассказывал мадам Адан, почему не был взят русскими войсками, им предводимыми, Константинополь. Мадам Адан поместила это в газетах и сослалась на Великого князя.

Все это было тяжело. Как никогда Государю хотелось уйти от этого злобного мира, полного интриг и не желающего понять, что и у Государя могут быть человеческие чувства и что после тайной, скрытой связи с Долгорукой Государю хочется открыто жить с нею, минуя этикет.

В июле должны были быть очередные отрядные маневры под Красным Селом, а перед ними учение всей кавалерии в Высочайшем присутствии. Представлял кавалерию Великий

¹ Барышня Его Величества (фр.).

князь Николай Николаевич Старший, только что вернувшийся из-за границы.

Великий Князь встретил Государя рапортом, и обычно государь, приняв рапорт, подавал руку Великому князю, теперь Государь, на виду у всех, руки Великому князю не подал, поднял лошадь в галоп и поскакал здороваться с полками. После ученья кавалерии Государь сел в коляску и, отъезжая, сказал Великому князю:

— Кавалег'ия, как всегда, пг'екг'асно училась. Благодаг'ю. Пг'едположения на маневг'ы и задачи пг'ишлешь мне в Цаг'ское Село.

Восьмого июля вечером адъютант Великого князя приехал в Царское Село во дворец с пакетом. Старый камердинер, из бывших унтер-офицеров, знавший адъютанта еще на войне, сказал ему:

— Ваше высокоблагородие, вам придется снять траур. У нас сегодня такой день. Полагается быть без траура.

У адъютанта вследствие траура по Императрице — эполеты, аксельбанты, портупея, перевязь и шарф — все было зашито крепом.

— Какой же сегодня такой день? — сказал адъютант, стараясь вспомнить, что такое могло быть 8 июля.

— Его Величество изволили сегодня венчаться. Так позвольте я помогу вам траурочек спороть.

Государь вышел к адъютанту в расстегнутом поверх белого жилета кителе. Он был весел и счастлив.

И точно, Государь очень скромно и тихо обвенчался с княжной Долгорукой в малой дворцовой церкви при одном священнике и псаломщике, без дьякона и певчих. Таинством брака закреплял он свою давнишнюю, последнюю, 12-летнюю любовь... Шафером Государя был генерал-адъютант Рылеев...

Известие об этом браке было встречено в Государевой семье нехорошо. Государь Наследник Цесаревич Александр Александрович, бывший на водах в Гапсале, собрался уехать в Данию, к родителям своей жены. Лорис-Меликов помчался в Гапсаль и убедил Наследника приехать к отцу и помириться с ним.

Государь с молодой женой уехал в Ливадию. Когда Наследник прибыл в Крым, Государь лично встретил сына на пристани. Отец и сын обнялись и оба расплакались. Обоим было нестерпимо тяжело.

Недаром давалось Государю то счастье, которое он себе исподволь готовил, мечтая о тихой жизни среди новой семьи. Государь хотел уйти подальше от забот правления.

Зимою 1880/81 года Государь с Лорис-Меликовым вырабатывал серьезные реформы в управлении государством, шел пересмотр основных законов государства. В обществе ходили слухи — будет дана конституция, и одновременно с обнародованием закона о представительном образе правления Долгорукая, получившая титул княгини Юрьевской, будет провозглашена Императрицей и произведено ее венчание на царство.

В высших петербургских сферах росло недовольство Государем. По либеральным гостиным шептали — Государь ненормален. Он должен передать правление государством сыну и удалиться на покой.

В эти дни партия народовольцев прислала Государю смертный приговор и грозила ему динамитом...

Так начался 1881 год, двадцать шестой год благополучного царствования Государя Императора Александра II.

XVIII

На Малой Садовой, в молочной лавке Кобозева работы по устройству подкопа шли по ночам при свете лампадки, горевшей у большого образа Святого Георгия Победоносца. Дело подвигалось медленно. Только вышли под фундамент дома, как наткнулись на чугунные водопроводные трубы. Их удалось обойти, но за ними показалась большая деревянная фановая труба. Пройти под нею мешала вода, идти над нею было опасно, могла провалиться мостовая, и тогда обнаружился бы подкоп. Сделали в трубе прорез и через него протаскивали на середину улицы мину и провода. Как только сделали прорез, из трубы пошло такое зловоние, что пришлось работать с ватными респираторами, пропитанными марганцем. Рабочий мог оставаться под землею всего несколько минут. Повторялось то, что было при подкопе в Москве. Но теперь уже был опыт, и Перовская неотступно следила за работой.

Следила не одна она. По-видимому, лавка Кобозева возбудила подозрения полиции. В лавку, под видом санитарной комиссии, заходил околоточный надзиратель с участковым врачом и дворником. Они поверхностно осмотрели лавку, не заметили того, что в углу под рогожами лежала земля, и ушли. Надо было торопиться.

Зашел в лавку и содержатель другой молочной по соседству, купец Новиков, опасавшийся конкуренции, купил полкруга сыра и, вернувшись, рассказывал:

— Ни то ни се... В торговце этом мне сомневаться не приходится — он моей торговле вредить не может.

«Кобозевы» знали про это и понимали — долго так не укрываться — нужно спешить.

К концу февраля подкоп был окончен, и Желябов сам отвез в лавку динамит и все нужное для взрыва.

В то же время для окончательной разработки плана покушения от Исполнительного комитета прибыл из Одессы Тригони, имевший кличку Милорд. Он знал, что полиция следит за ним, и тем не менее остановился, как то делал и раньше, в меблированных комнатах госпожи Мессюра и прописался под своим подлинным именем.

У госпожи Мессюра жили — и подолгу — тихие и спокойные люди — отставные артисты на пенсии, старухи, вдовы чиновников, приезжие из глухой провинции по тяжёлым делам.

Тригони спокойно прожил около месяца, видясь с нужными ему людьми.

Двадцать пятого февраля рядом с его комнатой появился сосед — отставной флота капитан. Это был человек среднего роста, в седеющих, очень черных бачках — Милорду показалось — уже не накладных ли? — с пунцовым носиком. Он поджидал Тригони в коридоре.

— Позвольте рекомендоваться,— сказал он со сладчайшей улыбкой и необычайно почтительно,— изволите быть, как мне тут сказали, из Одессы-с... Ужасно, как меня это обстоятельство порадовало. Помилуйте-с, такой город!.. Забыть никак нельзя-с! И служба моя, должен пояснить вам, протекала вся в Черноморском флоте-с.

Было что-то ненатуральное, актерское в этом человеке с ласковыми глазами, с набегающею на них постоянной слезою, с частыми «словоерсами», с навязчивой услужливостью.

Тригони с трудом отделался от него.

На другой день капитан опять захватил Тригони в коридоре.

— За покупочками ходить-с изволили... А у меня в номере самоварчик кипит-с... вот вместе и напились бы чайку-с... С кронштадтскими сухарями-с...

И опять Тригони с трудом освободился от навязчивого соседа.

Через день, 27 февраля, Тригони в седьмом часу вечера возвратился домой. Капитан не встретил его на этот раз в коридоре, дверь его комнаты была заперта, и на ней висел ключ, но когда Тригони проходил мимо комнаты, ему показалось, что там не пусто.

Тригони ожидал к себе Желябова, и тот, как было условлено, через полчаса пришел к нему.

— Милорд,— сказал Желябов тихим голосом,— у тебя в коридоре, кажется, полиция.

Тригони молча пожал плечами и вышел за дверь. Его тотчас же схватили городовые, выскочившие из комнаты капитана. На шум борьбы выбежал Желябов. Он тотчас же был тоже схвачен.

— Кто вы такой,— спросил Желябова околоточный,— и что здесь делаете?..

— Я — Петр Иванов,— быстро ответил Желябов.— А по какому делу — это вас не касается.

— Пожалуйте в участок. Там разберем, по какому делу вы здесь.

Тригони и Желябов были отвезены из участка в канцелярию градоначальника. Их принял градоначальник Федоров, и с ним находился вызванный для допроса товарищ прокурора Добржинский.

Федоров всмотрелся в Тригони и сказал, хмурясь:

— Вы — Тригони, по партийной кличке Милорд... Мы давно вас ищем... А вы — Петр Иванов?

Добржинский встал и внимательно посмотрел в лицо Желябова, ярко освещенное висячей керосиновой лампой.

— Желябов,— сказал он,— да это вы!..

Желябов поклонился.

— Ваш покорнейший слуга... Но мой арест вам нисколько не поможет.

— Ну, это мы еще посмотрим. На всякую старуху бывает проруха.— Добржинский обратился к Тригони: — Как вы могли проживать под своим именем в то время, когда вы знали же, что мы вас давно разыскиваем? Знаете-с — неосторожно...

Желябова и Тригони отправили в дом предварительного заключения.

На другой день Лорис-Меликов послал доклад Государю:

«Всеподданнейшим долгом считаю довести до сведения Вашего Императорского Величества, что вчерашнего числа вечером арестованы Тригони (он же Милорд) и сопровождавшее его и не желающее до настоящего времени назвать себя другое лицо; при сем последнем найден в кармане заряженный большого калибра револьвер; хотя по всем приметам в личности этой можно предполагать Желябова, но до окончательного выяснения не беру на себя смелость утверждать это».

Лорис-Меликову никак не верилось, что произошла такая удача и что так просто попался в руки полиции Желябов, виновник всех последних покушений на Государя, маньяк, имевший целью своей жизни — цареубийство...

XIX

Как на войне в Зимнице или в Горном Студене, так и дома в Зимнем дворце Государь вел простой солдатский образ жизни. Он спал на низкой походной койке, накрывался шинелью. Вставал он рано, зимою задолго до света, и утром при свечах занимался делами, чтением докладов, донесений и записок.

Когда, несмотря на зажженные свечи, штора на большом окне, выходившем на Неву, начинала светлеть, Государь звонил камердинеру, приказывал погасить свечи и поднять шторы. Он подходил, разминая ноги от долгого сидения, к окну и смотрел на широкий вид слияния Большой и Малой Невы, на зеленова-то-малиновые колонны маяков у Биржи, на саму Биржу — все белое, занесенное снегом, подернутое инеем.

Еще редки были прохожие на мостках перехода и на переездах, обставленных елочками, и на Дворцовом плашкоутном мосту... Серое зимнее небо низко висело, и дали скрывались морозным туманом.

Так и в этот день, 14 февраля, Государь, заложив руки в карманы чакчир, в расстегнутом сюртуке, подошел к окну.

Знакомая, печальная, надоевшая картина снежного простора перед ним. Какой-то предмет лежал на железном наружном подоконнике, занесенном снегом. Государь посмотрел на него. На белом чистом снеге были капли крови, и кем-то убитый голубь лежал подле.

— Это что такое? — сказал Государь.

Камердинер подошел к окну.

— Голубь, Ваше Императорское Величество, — ответил он.

— Я сам, милый, вижу, что голубь, — сказал Государь. — Откуда он взялся?

— Возможно, что крыса, Ваше Императорское Величество... Или кошка.

— Что, любезный, вздог' болтаешь... Откуда тут может взяться кг'ыса или кошка?.. Что она, по ледяной каменной стене пг'олезет?

— Не могу знать, Ваше Императорское Величество.

— Достань...

Достать было нелегко. Вторые рамы были наглухо вмазаны в стену, форточка была наверху. Когда ее открыли, морозный пар повалил в спальню Государя. Каминными щипцами камердинер вытащил голубя и подал Государю. Тот внимательно осмотрел птицу.

— Конечно, не кг'ыса и не кошка... А птица... Хищная птица... Ну, унеси... Бг'ось куда-нибудь... Как комнату настудил...

Пустяк, но почему-то стало неприятно. Этого еще никогда здесь не бывало...

Но за заботами дня Государь позабыл про голубя. И за обедом с княгиней Юрьевской рассказывал ей про то, как доставали они с камердинером голубя и как боялись упустить его, уже в шутливом тоне.

Но, когда на другой день привычными размеренными шагами подходил к окну, уже издали увидал на снегу наружного подоконника лежащего мертвого голубя.

Это очень расстроило Государя. Конечно, это была хищная птица, но почему она клала убитого голубя на подоконник спальни, почему не уносила с собою, почему не оставляла на одном из бесчисленных окон дворца? Это было очень странно.

И первый раз за свою долгую жизнь, полную всяческих опасностей, покушений, превратностей войны и поездок по России, Государь поколебался. Что, если это Господь предупреждает его или грозит покарать его за все... за все?.. За позднюю любовь, за княгиню Юрьевскую, за семейные отношения, за сестер Екатерины Михайловны — Альбединскую и княгиню Мещерскую...

И когда еще раз голубь оказался на подоконнике спальни Государя, Государь приказал во что бы то ни стало поймать хищную птицу, убивающую голубей на его окне.

На крыше дворца и точно усмотрели какую-то большую черную птицу и донесли Государю, что на крыше дворца поселился, «орел».

— Ну, не ог'ел, вег'оятно,— сказал Государь.— Откуда тут взяться ог'лу. Поставьте силки и поймайте мне этого ог'ла.

Птица попала ногой в капкан, но она была так сильна, что унесла с собою капкан и, обессилев, упала на Дворцовой площади, где ее подобрала городовые.

Птица была принесена Государю.

— Ког'шун,— сказал Государь.— Но какой гг'омадный! Я никогда таких в Петег'буг'ге не видал. Сделать чучело и послать в Кунсткамег'у.

Мертвые голуби нашли простое объяснение, но тяжелое чувство ожидания чего-то неизбежного осталось.

На последней неделе февраля Государь с княгиней Юрьевской и ее детьми говел в церкви Зимнего дворца и в субботу, 28 февраля, приобщался. Всю неделю он чувствовал себя не совсем здоровым. Стояла сырая зимняя погода с большими туманами. Сильного мороза не было, и днем таяло. Государь не выходил на прогулку.

После принятия Святых Тайн Государь, напившись чаю по семейному на половине княгини Юрьевской, в конце одиннадцатого часа прошел в свой кабинет, просмотрел бумаги, доклад Лорис-Меликова об аресте Тригони и Желябова и приказал просить приехавших к нему с докладом министров.

Первым был принят военный министр Милютин. Ничего особенного не было. Государь подписал очередные приказы о назначениях и производстве. Он был в духе. Недомогание, бывшее всю неделю, оставило его. После причащения, как всегда это бывало, Государь чувствовал приток сил и бодрости.

Принимая от Государя последнюю подписанную бумагу, военный министр спросил:

— Ваше Императорское Величество, как прикажете на завтра разводу в Михайловском манеже быть в Вашем присутствии?

— Да... А что?.. От какой части главный каг'аул и каг'аулы пег'вого отделения?..

— Лейб-гвардии от Саперного батальона, Ваше Императорское Величество.

— Отлично... Кстати, я давно моих сапег не видал... Так, значит, отдашь в моем присутствии.

Милютин откланялся. После него был с докладом товарищ министра иностранных дел Гирс. Тоже ничего важного не было. Доклад касался пустой переписки с английским правительством о торговых делах. После Гирса в кабинет Государя вошел министр внутренних дел генерал-адъютант Лорис-Меликов. Государь встал ему навстречу.

— Здг'авствуй, Михаил Таг'иелович. Тебя с победой поздг'авить можно. Наконец наша полиция пг'оснулась. Аг'есто-ван Желябов. Мне давно пг'о него докладывали. Это тот, кото-г'ый подкопы делал на железных дог'огах. Главный их коновод... Кг'амольников...

— Так точно, Ваше Императорское Величество. Полиция, слава богу, оказалась теперь на высоте. Мы держим все нити заговора против вас в руках. На вас предполагалось эти дни

самое страшное покушение. Инициатором и руководителем его, как это выясняется, был Желябов. Он схвачен. Аресты идут по всему городу. К сожалению, и среди офицеров флота оказались причастные к заговору.

— А сколько их всего, ты считаешь, было заговорщиков?..

— По сведениям полиции — в Исполнительном комитете тридцать человек. Деньги получали из-за границы. С арестом Желябова они потеряли душу заговора.

— Тг'идцать человек, — сказал, садясь в кресло перед столом, Государь. — И это пг'отив ста двадцати миллионов вег'ного мне наг'ода... Безумцы!..

— Сумасшедшие, Ваше Императорское Величество... Желябов — маньяк. Держится нагло, развязно. Грозит, что и без него все будет исполнено.

— Да-а-а?..

— Ваше Императорское Величество, мне граф Дмитрий Алексеевич сейчас сказывал — Ваше Императорское Величество предполагаете завтра ехать в Михайловский манеж на развод...

— Да... А что?..

— Ваше Императорское Величество, умоляю вас не делать этого.

— Но ведь Желябов схвачен... Милог'д аг'естован. Их шайка обезглавлена.

— Ваше Императорское Величество, все это так. Но по городу говорят о каком-то подкопе в улицах, по которым вы поедете. Все это надо выяснить... Полиция доносила о бомбах, будто бы испытывавшимся третьего дня на Медвежьем Стане за Пороховыми погребями. Часовые отчетливо слышали взрывы. Дайте нам все это проверить и забрать всех негодяев... Ваше Императорское Величество, все знают, что вы были не совсем здоровы эту неделю. Так легко вам не быть на разводе.

— И совсем, милый Михаил Таг'иелович, не легко и не пг'осто... А мой долг?.. Долг показаться пег'ед войсками особенно завтг'а после всех этих слухов и тогда, когда я собиг'аюсь подписать акт большого государственного значения. У тебя все, надеюсь, готово?..

— Все готово, Ваше Императорское Величество.

— Так после г'азвода, к тг'ем часам, и пг'иезжай во двог'ец. Я пг'иобщился сегодня, гог'ячо молился Богу и вег'ю, что Господь поможет мне довег'шить и это дело для блага Г'оссии и моего наг'ода.

Но ночью Государь опять, как все эти дни, проснулся от сухого жара, вдруг охватившего все его тело. Государь знал, что это от неправильного кровообращения, от склероза, в общем, от старости — но какая же старость в шестьдесят два года?.. Стал вспоминать прошлое. В такие бессонные ночи часто представлял себя молодым, и странно было думать, что это у него была любовь, и такая молодая, сильная и яркая, к Ольге Калиновской, так сурово и неожиданно прерванная по приказу отца. Ранний брак с принцессой Гессенской, которую он не знал и так и не мог никогда полюбить как следует и которая была всегда чужою ему и России...

Государь задумался о России.

В спальне было тихо. Ни один звук извне не проникал через толстые стены дворца. Лишь тихо и как-то заунывно гудела в печи заслонка, да почувствовавший, что хозяин не спит, ворочался подле печки на своей подстилке Милорд.

Его тихая воркотня и лязганье зубами обратили на него внимание Государя.

«Все не добьюсь, чтобы блох у Милорда вычесали как следует. Странно... и того, кого третьего дня арестовали, тоже звали Милорд — собачья кличка Тригони — Милорд. И фамилия какая-то странная. Чего им нужно, чего им недостает?.. Они за народ, но знают они, что нужно народу?.. Общественность — не народ. Народ — это тайна...»

Нашла какая-то пелена, и казалось, что вот заснет сейчас, но снова схватил сухой жар в голове, и побежали смутные, перебивающие одна другую мысли.

Умирая, отец — Император Николай I — сказал, что сдает «команду не в порядке»... Да, тяжелое наследство — Севастопольская война, оставленный, но не сданный Севастополь, вся Европа против России и тяжелый Парижский мир... И только покончил с этим — восстали поляки... А потом покушения на жизнь... За что?

Государь не спал, и, точно понимая его заботы, не спал и верный Милорд. Он лежал, приподняв голову и пристально глядя умными глазами на хозяина.

Государь повернулся на спину и в этой непривычной для него позе вдруг почувствовал, что не заснет. У образа теплилась лампада, рядом на столике горел ночник, свеча была приготовлена и книга. Государь смотрел на колеблющееся пятно от лампады на потолке и думал о новой своей семье. Да — грех, конечно, грех... И кругом говорят, нехорошо говорят. Обижен на

меня и сын... Любовный мой грех погашен браком — дети законные. Отчего ей не быть Императрицей? Она так хочет этого. Пусть будет на русском Престоле — русская. И потом — конституция. Знаю, многие осудят меня за нее. Недавно на дежурстве заговорил об этом со старым Разгильдяевым. Славный старик, а не может понять. Говорил, что Россия не может быть с представительным образом правления. В ней до ста двадцати различных народностей, и как им быть в парламенте? Может быть, он и прав... А общественность требует... И опять подумал: общественность не народ...

Тяжело, мучительно ощущая ревматические боли, повернулся на бок, хотел подозвать к себе Милорда и приласкать его и вдруг, и совсем неожиданно, все в том же сухом старческом жару, забылся крепким сном и, когда проснулся, был в легкой испарине, чувствовал себя слабым и усталым и, вставши и подойдя к окну, решил не ехать в Михайловский манеж, побережь себя от простуды.

Серое утро висело над Невой. Кругом, по-утреннему, было пусто и уныло. Никого не было видно на переходах.

В гардеробной был приготовлен мундир лейб-гвардии Саперного батальона.

«Надо будет приказать убрать его», — подумал Государь и прошел на половину княгини Юрьевской.

Как всегда по воскресеньям, Государь отстоял обедню в дворцовой церкви... Он еще не отдал распоряжения о том, что он не будет на разводе в Михайловском манеже. На обедне была супруга Великого князя Константина Николаевича, Александра Иосифовна. Она подошла к Государю.

— Я к вам, Ваше Императорское Величество, — сказала она, здороваясь и целуя руку Государя, когда тот целовал ее руку.

— Что скажешь?..

Они стояли в аванзале перед церковью. С ними остановилась и княгиня Екатерина Михайловна, дети прошли вперед с госпожой Шебеко.

— Ваше Величество, вы поедете сегодня на развод?..

— А что?.. Что тебя это так интег'есует?..

— Для меня и моего сына особенный день... Дмитрий назначен от полка подъезжать на ординарцы к Вашему Величеству. Он так мечтал об этом, ночи не спал и уже с утра умчался в полк, чтобы все проверить. Вы знаете, что такое для молодого офицера быть ординарцем на разводе?.. Да еще для Дмитрия!..

— Его Величество нехорошо себя чувствует, и я думаю, что он не поедет на развод,— грубовато сказала княгиня Юрьевская.

Государь и точно уже решил не ехать на развод. Но вмешательство Юрьевской в присутствии Великой Княгини показалось ему неуместным, и он сказал:

— Да, мне нездог'овилось, но это мой долг быть на г'азводе. Я не люблю отменять г'аз отданное пг'иказание. Я, конечно, буду на г'азводе и счастлив буду повидать твоего молодца, а как он ездит, я об этом уже имею пг'едставление.

Княгиня Юрьевская заплакала.

— Александр,— сказала она, прижимая платок к глазам,— я умоляю вас не ехать!..

Государь нежно обнял княгиню за талию и сказал строго:

— Но, моя милая, я должен быть с моими войсками, и я буду...

Через полчаса, точно выверив время своего отъезда, чтобы приехать в манеж ровно к двенадцати часам, Государь сел в карету. Он был в мундире лейб-гвардии Саперного батальона, в шинели с бобровым воротником и в каске с плюмажем.

— В манеж, по Инжененг'ной,— сказал он кучеру и сел в глубину кареты.

На душе у Государя было тихо и спокойно. Он знал, что он должен делать в манеже, что кому сказать, кого и как обласкать. Развод был им создан и был ему привычен. Государь смотрел на развод как на свою службу, свой долг и ехал в спокойной уверенности, что он правильно исполняет свой долг.

Карету окружили казаки конвоя Его Величества с ротмистром Кулебякиным, тем самым, кто сложил в Кишиневе песню, которою так восхищался Порфирий и которую пели во всех войсках. Сзади в парных санях ехал полицмейстер полковник Дворжицкий.

Карета помчалась к Михайловскому манежу.

XXI

Суханов первым узнал,— вернее, догадался об аресте Желябова. Тот не вернулся к нему после свидания с Тригони.

Надо было спасать Перовскую. Суханов ночью поехал к ней в Измайловский полк.

Перовская не ложилась спать — она в тревоге ожидала Андрея.

— Николай Евгеньевич,— сказала она, сухими глазами в красных веках глядя на Суханова.— Да?

— Да... Его взяли... Его и Милорда...

— Ты в этом уверен?..

— Мне сказал дворник дома Лихачева, что полиция взяла какого-то Тригони, который жил у Мессюра, и еще одного Петра Иванова с черной бородой. Все ясно. Не надо было туда ходить.

— Это ужасно. Ты не думаешь?.. Возможно предательство?..

Суханов пожал плечами. Перовская опустила голову на руки. Ни стоны, ни рыданий не вырвалось у нее. Так просидела она долго, очень долго, почти целый час, не двигаясь и не шевелясь. Потом подняла голову и пронзительно посмотрела на Суханова. Ее веки были красны и по-прежнему сухи. В глазах горел тот безумный огонь, какой подмечал и у себя эти дни Суханов, когда смотрел в зеркало.

— Ну что ж?..— сказала она твердо.— Дело прежде всего. Наши знают?..

Не думаю... Но завтра все равно узнают... В газетах будет...

— Растеряются... Испугаются... Что ж? Надо делать... Теперь мне надо все делать. Едем сейчас в Исполнительный комитет. Надо всех собрать и перераспределить роли... Это ничего, что Андрея с нами не будет. Мы сделаем свое дело и тогда освободим его. Помогите мне собрать всех у Веры Фигнер.

Рано утром, 28 февраля, на квартире Исаева и Веры Фигнер собрались все наличные члены Исполнительного комитета.

Все молчали, ожидали Перовскую. Она совещалась в соседней комнате с пришедшим с Садовой Фроленко. Когда она вышла и поклонилась общим поклоном, все еще более притихли.

— Страшный удар,— сказала Фигнер.— И удар тогда, когда у нас все готово. Царь завтра едет в манеж играть живыми солдатами... У нас все готово, и вот!.. Нет главного!..

Кибальчич сидел рядом с Фигнер и мямли руками свою черную бороду. Из соседней комнаты несло химическим, кислотным запахом гремучего студня. Суханов, не спавший всю ночь, стоял, прислонившись к железной круглой печке.

Перовская сухими, лихорадочно горящими глазами окинула всех присутствующих. Она поняла — еще минута, и эти люди откажутся от своего плана и убегут в подполье — на долгое время. Может быть, на годы отложат то, что должно совершиться завтра... Маленькая, бледная, после бессонной ночи, с

припухшими веками, с небрежно приглаженными волосами, но, как всегда, чисто и аккуратно одетая, она чувствовала, что только она одна может все повернуть по-прежнему. Она начала говорить. В ее голосе слышались суровые, властные, металлические ноты, такие, какие бывали у Желябова, когда тот убеждал в чем-нибудь товарищей.

— Товарищи,— сказала она,— что случилось?.. Да, выбыл еще один из наших смелых борцов за народную власть... Но мы привыкли к потерям, и потерями нас не испугаешь. Выбыл начальник. Я становлюсь на его место... Я — потому, что мне известны все планы Андрея, мы их вместе вырабатывали... Итак, за дело... Исаев, ты сегодня ночью заложишь мину на Садовой... Николай Иванович, вы с Фигнер, Николаем Евгеньевичем, с Грачевским и со мною сейчас же тут принимаетесь готовить снаряды. И завтра мы совершим то, что мы должны совершить во имя блага народа. За работу, товарищи!.. За дело!..

— Н-н-на,— устраиваясь за рабочим столом рядом с Сухановым, сказал Кибальчич,— я рад, что Софья Львовна не растерялась. Обидно было бы упустить такой случай... А снаряды мои, сами завтра увидите,— прелесть!

Несколько минут он молча резал жечь и сворачивал ее для устройства коробки, потом сказал угрюмо:

— А заметили вы, Николай Евгеньевич, что наши женщины много жестче мужчин. Поглядите-ка, как Перовская и Фигнер работают. Вы поглядите на их глаза... В них такая воля, что жутко становится.

— Ну, вас-то, Николай Иванович, исключить надо. Вы сильнее еще будете.

— Я — особая статья... Я — изобретатель. И мне для моей идеи — царь или дубовый чурбан — все равно. Мне интересно посмотреть, как они действуют.

Всю ночь на квартире Фигнер готовили снаряды. Обрезывали жестянки из-под керосина, отливали свинцовые грузики, наполняли жестянки гремучим студнем и запаковывали их. Всю ночь горели лампы и пылал камин. Всю ночь пили пиво.

В восемь часов утра 1 марта четыре снаряда были готовы, и Перовская с Кибальчичем отнесли их на квартиру Саблина на Тележной улице. Там в невзрачном сером деревянном доме их ожидали метальщики — Рысаков, Емельянов, Гриневицкий и Тимофей Михайлов, туда же пришел из лавки Кобозева Фроленко.

Перовская рассказала, как и где им ожидать проезда Государя, и на конверте нарисовала план улиц.

— Вы соберетесь в народной толпе на площади у манежа, — спокойно и деловито говорила Перовская. — Если Государь поедет по Садовой, Фроленко соединит провода. Ему скажет о приближении царя Якимова-Баска, которая увидит его из лавки... Если Государь поедет по Инженерной, я махну вам платком. Тогда действуйте на канале. Как я жалею, что нет пятого снаряда! Я стала бы первой метать... Первым бросает снаряд Тимофей. Если почему-нибудь ему не удалось — бросает Рысков, потом Гриневицкий, потом Емельянов... Нет, теперь не уйдет!.. Ни за что не уйдет он от нас. По окончании всем сходиться в кондитерской Исакова... Там получите указания, что дальше делать... Все ясно?..

Все было ясно.

Цареубийцы поодиночке расходились, направляясь к Михайловскому манежу.

Глухо ударила на бастионе Петропавловской крепости полуденная пушка. Серенький день стоял над городом.

XXII

Развод караулов в Высочайшем присутствии как какое-то парадное торжество начался еще в царствование Императора Петра III, муштровавшего своих голштинцев в Ораниенбауме, а потом и русские полки на площадке у Зимнего дворца.

Увлекался такими разводами Император Павел I. Император Николай I внес в них порядок и «однообразную красоту пехотных ратей и коней». Но самого пышного расцвета достигли разводы в царствование Императора Александра II.

При нем разводы производились в громадном Михайловском манеже.

Кроме дворцовых и городских караулов на разводы приводились взводы от специальных классов Пажеского Его Величества корпуса и от военных училищ, посылались ординарцы от полков гвардейской кавалерии.

На разводах проверялось обмундирование частей до последней мелочи. Каждый «трынчик»¹, каждая пряжка парадной седловки или ранцевого снаряжения были осмотрены и проверены.

¹ Т р ы н ч и к — ремешок, которым стягивается шинель, скатанная для того, чтобы надеть через плечо.

На эти разводы были обязаны являться все офицеры полков гвардии и петербургского гарнизона и в парадной форме выстраиваться против линии караулов развода. В эти воскресные утра петербургские улицы были полны офицерами, спешившими на развод. И весь город знал: Государь будет на разводе.

На разводах Государь знакомился с офицерами гвардии и приезжими из провинции, которые были тоже обязаны бывать на разводах, и благодаря исключительной «романовской» памяти на лица и на фамилии Государь знал многих и многих офицеров армии.

Эти разводы были священнодействием.

Команда, интонация голоса, каждый поворот, каждый шаг были выверены и разучены. За всем этим следило не только начальство, но в тысячу пар глаз смотрели офицеры всех полков, и горе тому несчастному поручику, который спутает команду или не так зайдет, не вовремя отсалютует саблей. Позор тому корнету, у которого занесет лошадь, или закинется на препятствии.

О том, как и когда подъезжали на ординарцы к Государю, вспоминали потом всю жизнь и рассказывали с не меньшим восторгом и увлечением, чем о минувших боях. Старшие товарищи писали своим младшим друзьям: «...ты хорошо ездил на ординарцах и прекрасно вел лошадь... А у бедного Арапова каска съехала на затылок на галопе, и было смешно и жалко смотреть на него...» Эти письма хранились до глубокой старости.

«Хорошо ездил на ординарцах» — это был лучший аттестат кавалерийскому офицеру.

Разводы и парады и подготовка к ним занимали значительную часть службы офицеров. В торжественной обстановке сумрачного манежа, в священнодействии команд и движений, приемов и захождений, рапорта под ясным взглядом прекрасных глаз Государя выковывались те «неимоверные молодцы» часовые, какими показали себя финляндцы в день взрыва 5 февраля 1880 года, какими были те николаевские часовые, которые во время наводнения 8 ноября 1824 года стояли по грудь в ледяной воде, а постов своих не покидали.

Здесь создавались репутации и карьера, и здесь можно было навсегда уронить себя как исправного строевого офицера...

В это пасмурное, серое, зимнее мартовское утро в громадном Михайловском манеже стоял седой сумрак. Два бесконечных ряда многостекольных окон не в силах были осветить его. Широкий и длинный манеж, вследствие своей величины, казался низким. В туманной дали тонули белые колонны и гим-

настические снаряды противоположной стороны манежа, той, что выходит на Инженерную улицу. Плотной убитая глинистая почва манежа, посыпанная коричневым песком, была тверда и упруга. Далекое эхо двоило и троило голоса и долго гудело по манежу.

Государя ожидали с парадного крыльца, вышедшего на Михайловскую площадь.

За крыльцом, за колоннами, отделявшими манеж от входных дверей, от одной большой белой печи до другой, хвостами ко входу, к одиннадцати часам утра выстроились ординарцы кавалерии. Они стали в три шеренги. Офицеры, за ними унтер-офицеры и в третьей шеренге посыльные — карабинеры.

Лошади были вычищены и убраны образцово. Хвосты и гривы разобраны руками и примочены пивом. Копыта замыты, и на подковах рашпилем наведена «бронза». Каждая пряжка горела золотом, железо мундштука было, как чистое серебро. Вахмистр лейб-гвардии Конного полка укоризненно качал головою, увидев, что у Его Императорского Высочества корнета Дмитрия Константиновича пена упала на кольцо мундштука.

— Ваше Императорское Высочество, дозволейте обтереть-с... Пестрым носовым платком вахмистр обтер пену.

Казенные солдатские лошади стояли, подобравшись, как монументы. Не то было с офицерскими. То вдруг затанцует, испугавшись, когда сзади хлопнули дверью, то взовьется на дыбы, то нервно ударит задней ногой.

— Господа, прошу не разравниваться, — десять раз повторяет начальник первой гвардейской кавалерийской дивизии граф Александр Иванович Мусин-Пушкин.

На правом фланге ординарцев, в нарядном алом кунтуше с откидными рукавами, расшитом серебряным галуном и кавказской тесьмой, на раскормленном гнедом жеребце стоит красавец конвонец принц Персидский. За ним в затылок — громадная детина — 2 аршина 13 вершков роста — все удивляются, как будет он джигитовать на своем небольшом сухом коне, — унтер-офицер Магомет Алдатов. У него длинная, в мелких завитках и кольчиках, черная, как смола, борода и детские ясные, с длинными ресницами, черные глаза. Он в кольчуге из стальных цепочек и в низком стальном шлеме. За ним стоит «посыльный» от конвоя гуриец Амилохвари в алом кунтуше, обшитом собольим мехом... Какою-то индийскою сказкою Шехерезады веет от этих красивых древних кавказских костюмов.

Подле Горского наряда поместились ординарцы от Терского и Кубанского эскадронов конвоя — они в ярких красных

черкесках, обшитых кавказским галуном и с блестящими серебряными газырями.

В шаге от них ординарцы Николаевского кавалерийского училища, учебного эскадрона, кавалергардов и конного полка в золотых касках с белыми волосяными султанами, от эскадронов лейб-гвардии Казачьего и Атаманского дивизионов и Уральского эскадрона в алых, голубых и малиновых мундирах, потом ординарцы от Гвардейской конной артиллерии.

— Лярский!.. Лярский!.. — окликает вполголоса ординарец конной батареи поручик Кузьмин-Караваев красивого высокого офицера в адъютантской форме, — Лярский, скажи мне, как ты делаешь, что у тебя каска никогда не слезает на галопе на затылок.

— А ты ее квасом!..

— Ка-ак?..

— Смочи тулью квасом. Она и прилипнет ко лбу — не шелохнется.

— Ква-асом!.. Да где же достать-то теперь квасу?..

Но уже расторопный артиллерист-вестовой, стоявший сзади своего офицера, услышал разговор и побежал в швейцарскую каморку и несет оттуда графин темного хлебного кваса...

— Господа офицеры, прошу не разравниваться, — кричит — и в который раз! — граф Мусин-Пушкин.

Вдоль длинной стены манежа правым флангом к воротам построены караулы. С края стоят в алых длинных черкесках конвойцы внутреннего дворцового караула, рядом с ними взвод такого же караула от кавалергардов в белых колетах и касках с султанами, потом в голубых мундирах караул от лейб-гвардии Атаманского полка.

Левее этих караулов построены взводы военных училищ.

Юнкера стоят, так напряженно вытянувшись, что кажется, что они не дышат. Не шелохнутся черные волосяные султанчики их кепи.

— Ты дал бы им «вольно», — шепчет офицеру, командиру Павловского училища, красивый рыжеусый семеновед.

— Они у меня и так «вольно» стоят, — удивляясь предложению, отвечает училищный офицер.

— А что же у тебя значит стоять «смирно»?..

— А вот когда совсем дышать перестанут, затаят дыхание.

Сейчас за юнкерами блещут трубы и барабаны лейб-гвардии Саперного батальона и стоит его рота со знаменем — наружный караул Зимнего дворца и рядом с нею взвод лейб-гвар-

дии Финляндского полка — внутренний караул дворца, и потом длинной линией алых лацканов, блестящих пуговиц, тесак и белых ремней вытянулись взводы и полуроты городских караулов.

Тут — полная тишина и неподвижность. Обойдет офицер, одернет полу мундира, поправит подсумок, пробежит вдоль фронта проворный ефрейтор со щеткой, смахнет пушинку, обмахнет сапоги.

Против караулов, вдоль другой стороны манежа — сплошное сверкание эполет, перевязей, шарфов и сабель... Там не смолкает нестройный гул голосов, повторяемый эхом манежа. Все подходят и подходят туда, то поодиночке, то по два, по три офицера в парадных мундирах, и чем ближе стрелка часов к половине двенадцатого, тем торопливее шаги прибывающих. Последние бегут, придерживая сабли... Опоздаешь — хорошо если только выговор, а может быть и гауптвахта...

Здесь — «лавочка»¹.

О чем, о чем не говорят только здесь! Какие новости не передают. О спектакле в Михайловском театре, о том, что вот теперь Великим постом, кроме первой, четвертой и страстной недель будут разрешены представления в Большом и Александринском театрах, что приезжает немецкая труппа, о том, как танцевали на Масленице Петипа и Вазем и что Вазем вовсе не лучше Соколовой, и о том, что вот упорно говорят, что сегодня Государь «даст конституцию», и хорошо ли это будет?..

— Неужели у нас парламент? — говорит бледный поручик Гренадерского полка. — Русский парламент. Не звучит это как-то...

— Да вот газеты пишут...

— Ну мало ли что они пишут? Все одна брехня!..

— А *mamselle de Sa Majeste* будет Императрицей?..

— Ну-ну!..

— Слышали — Желябов арестован...

— Это кто же такой — Желябов?..

— А тот, знаете, что подкопы на железных дорогах делал...

Народоволец...

— По всем ним веревка плачет...

— М-мер-рзавцы!..

— На такого Государя делать покушения!..

¹ «Лавочка» — скамейка подле избы, где собираются досужие кумушки посудачить и посплетничать.

— А?.. Не узнаешь?.. А помнишь — «на Шипке все спокойно» и мы подошли тогда...

— Боже мой!.. Пустынин!.. Какими судьбами!.. У Брофта с тобой на «ты» выпили...

— И пили и пели под «Postilion»...¹

— Да вот и война прошла. Славян освободили... Ты что же?..

— В академии грызу гранит науки... Говорят, конституция будет.

— Ничего такого, милый, не слыхал...

— Пора. И нам в Европу...

Шумит разговор, двоится эхом, перескакивает с одной темы на другую.

— Радецкому — Белого орла...

— Рыкачев получил лейб-гвардии Волынский полк.

— Серегина на семь суток на Сенную площадь упекли...

— За дело... Сумасброд!

— А на Сенной — неважно... При Комендантском-то много лучше.

— Среди морских офицеров оказались народовольцы...

— Какой ужас!..

— Какой-то Дегаев их выдал...

— Какая мерзость — в офицерской среде заговоры и доносы.

— А декабристы?

От ворот манежа, отражаясь эхом, раздается голос унтер-офицера манежной команды. Откуда только подбирали в эту команду таких голосистых унтеров?!

— Его Им-пер-ратор-ское Высочество Великий князь Николай Николаевич Стар-ршой изволят ех-ха-а-ать!!

Двоится, троится манежное эхо. Стихают, умолкают разговоры в офицерских группах. Все подтягивается и подравнивается. По ту сторону манежа раздается одинокая команда дежурного по караулам:

— Смир-р-рна!.. Развод! на пле-чо!.. Господа офицеры!..

Великий князь обходит караулы.

На часах ровно половина двенадцатого. Поздоровавшись с караулами, Великий князь подходит к офицерам.

Сколько тут его соратников по войне, участников тяжелого Забалканского похода. Каждому Великий князь найдет сказать ласковое слово, о каждом вспомнит. Но тот же унтер-офицерский голос прерывает его беседу.

¹ «Почталъон» — любимая песенка во время Русско-турецкой войны. Ее играли во всех румынских ресторанах.

— Их-х сиятельство военный министр изволит ех-ха-а-ать! Великий князь командует разводу: «Смирно!»

В полной тишине военный министр обходит караулы. Он все поглядывает на стрелку больших манежных часов.

Стрелки подходят к двенадцати.

От ворот несется голос!

— Их-х Импер-ратор-рское Величество изволят ех-ха-а-ать!!

В тот миг, когда на Петропавловской крепости ударяет полуденная пушка и стекла в окнах манежа звенят от выстрела, двери манежа широко распахиваются и в облаке морозного пара в них входит Государь.

XXIII

Молочная торговля Кобозева на Малой Садовой улице закрыта. Это никого не удивляет — воскресенье. Дверь на замке. Сквозь незаставленные ставнями окна видна лавка, прилавков в ней, сыры, кадки, накрытые холстом, и в углу большой образ Георгия Победоносца на белом коне. Перед образом теплится лампада. Все мирно и тихо. Дощатый пол усыпан белыми опилками. Недостает только жирного, сытого, пушистого, ленивого, лавочного кота.

У окна в лавке сидит хозяйка. Растрепанная книга лежит у нее на коленях. Хозяйка часто посматривает в окно. Дверь во внутреннюю комнату открыта, и там, невидимый с улицы, сидит мужчина в черном драповом пальто и шапке под бобра.

В лавке на стене висят простые деревянные часы с медными гириями. Маятник машет вправо и влево, влево и вправо. Громко тикают часы. Время идет. Уходит прошлое, наступает будущее — нет настоящего.

— Что, Анна Васильевна, наши прошли?.. — спрашивает из глубины соседней с лавкой комнаты мужчина.

— Рысакова видала — прошел. А других — нет. Да за народом трудно каждого увидеть. Много народа идет. И офицеры... Все едут и едут... Сколько их!..

— На развод едут. Значит, и он будет.

— Да... Наверно... Это, Фроленко, какие же будут в медных касках с белыми султанами?.. Красиво...

— Не знаю, Анна Васильевна. Я в солдатах не служил. Удалось освободиться.

Замолчали.

Долгая, долгая тишина. В лавке пахнет сыром, землей, сыростью. Из угла, где навалены рогожи, несет выгребными ямами и еще чем-то пресным, неприятным — химическим.

— Воздух у нас, Фроленко, как в могиле.

— Да... В могиле, Анна Васильевна, пожалуй, и вовсе не будет воздуха... Это все та труба дает себя знать... У меня, знаете, все белье даже провоняло. Да ведь, Анна Васильевна, это и есть наша могила.

— Вы думаете, и нас — с ним?..

— Исаев, как закладывал, говорил, — не меньше, как полдома должно обрушиться. Нас непременно задавит.

— Что ж... Значит, так надо.

Якимова-Баска тяжело, полной грудью вздыхает.

— Недолго мы с вами и пожили, Фроленко.

— За народное дело, Анна Васильевна.

— Да, конечно... За народное...

Опять замолчали.

— Вера Николаевна про развод рассказывала — ровно в двенадцать всегда начало.

— Да. Потихе на улице стало. И как-то страшно... А когда кончится этот их развод-то?

— Вера Николаевна говорила — в полвторого.

Якимова тяжело вздыхает.

— Тогда, значит, и мы... Спиралька у вас готова?..

— Готова.

— А вы проверили бы?

Чуть слышно сипит в соседней комнате спираль Румкорфа. Тикают часы. Так напряженно-сильно колотится сердце у Якимовой-Баски, что она слышит каждый его удар.

— Так вы говорите, Фроленко, задавит?..

— Да не все ли равно... Ахнет ведь основательно.

— Мне народа жалко... Вот с детьми идут — в Летний сад, должно быть... Сколько народа ходит. Все погибнут.

— Тут, Анна Васильевна, шпиков наполовину. Что их жалеть...

— Все-таки — люди... И казачки тоже... Поди — жены, матери есть. Мне его не жалко. Пожил довольно. Попил народной кровушки, а вот их... Да...

— Без этого нельзя. Андрей говорил, где лес рушат — щепки летят. Вот и мы с вами — щепки...

— Как думаете, Андрея повесят?..

— Должно быть, повесят. Не помилуют... И нам того же не миновать. Тут ли, там ли, все одно — смерть. Жизнь революционера — короткая жизнь.

— У вас рука-то, Фроленко, не дрогнет, как соединять будете?..

— А отчего ей и дрогнуть?..

— Все-таки смерть...

И опять долгое, очень долгое молчание. Якимова-Баска смотрит в книгу, видит строчки, буквы, но буквы не складываются в слова, строчки ничего не говорят. Якимова поднимает голову и смотрит сбоку в окно.

— Вот, Фроленко, и Соню вижу. Пришла... Стоит на углу в толпе народа. А смелая Соня. Ее ведь и узнать кто может.

— Значит, скоро.

— Да уже двадцать минут второго. Десять минут нам жить осталось. Спиральку-то проверьте. Не отказали бы провода.

— Вы не беспокойтесь, Анна Васильевна, у меня все в исправности.

Часы все тикают и тикают... Точно зовут, приглашают смотреть.

Много смертей...

XXIV

Ловким, молодым движением Государь скинул шинель с плеч на руки унтер-офицера Манежной команды и бодро подошел к лошади, которую держал за колоннами конюшенный офицер. По манежу гулко отдавалось эхо команд. Караулы взяли «на плечо».

Всякий раз, как Государь входил в манеж, точно бремя лет покидало его. Походка становилась легкой и упругой, глаза блестели, движения были молоды и гибки.

Привычным жестом, как учил его еще отец, Император Николай I, Государь просунул два пальца в белой перчатке под ремень подпруг, проверяя седловку, легко вставил ногу в лакированном ботинке в стремя и перекинул высокое стройное тело в седло.

Залившийся в команде «шай на кр-р-ра-а-а» — дежурный по караулам торжественно и четко оборвал: «ул!»

Караулы вскинули ружья, шашки и палаши выдвинулись вперед, офицеры взяли сабли подвысь и опустили их острием к

левому носку. Трубачи конвоя резко и отрывисто затрубили гвардейский поход — к ним примкнули барабанщики и горнисты Саперного батальона.

Верхом на темно-караковом коне, в сопровождении Великого князя Николая Николаевича Старшего и своего друга, прусского генерала-адъютанта фон Швейдница, Государь шагом подъезжал к Конвойному караулу.

— Здог'ово, казаки!

— Здравия желаем, Ваше Императорское Величество!..

Из-за шеренг внутренних дворцовых караулов стали видны восторженные, чистые, молодые, безусые, розовые лица пажей и юнкеров.

— Здг'аствуйте, господа!..

И еще не замерло эхо после их рьяного, молодого, звонкого ответа, как музыканты заиграли «Боже, Царя храни» и грянуло «ура!».

Государь ехал вдоль фронта, мимо отвесно поднятых ружей с новыми блестящими погонными ремнями, с черненными четырехгранными штыками берданок. Он смотрел своими очаровательными глазами прямо в глаза каждому и в передней и в задней шеренгах, глазами приветствовал стариков шевронистов фельдфебелей, с особой лаской поздоровался с финляндцами и под громовые крики «ура», отраженные и усиленные эхом, под звуки гимна доехал до фланга караулов. Потом повернул лошадь и легким галопом проскакал на середину манежа, где, вытянувшись и опустив саблю, в напряженной позе стоял дежурный по караулам. Государь остановил лошадь против него и сказал:

— Командуй!..

Бравый полковник-сапер, в седеющих, нафабранных бакенбардах, отчетливо повернулся кругом и на весь манеж стал командовать:

— Р-разво-од! на пле-е-чо!.. К но-о-ге!.. Бей сбор!..

Барабанщики глухо ударили в барабаны. Кто-то в офицерской группе негромко сказал:

— Смотрите... Сейчас платок...

И точно, как всегда во время боя барабанов Государь это делал,— он вынул платок и вытер им усы и бакенбарды, еще сырые от зимнего инея, насевшего во время дороги к манежу.

Из-за правых флангов частей показались адъютанты, фельдфебели и вахмистры шефских частей. Стали слышны в наступившей, после грохота барабанов, тишине короткие рапорты.

— Ваше Императорское Величество, в роте Имени Вашего Императорского Величества Пажеского корпуса все обстоит благополучно...

— Ваше Императорское Величество, в роте имени Вашего Императорского Величества 1-го Военного Павловского училища...

— Ваше Императорское Величество, в роте... лейб-гвардии Преображенского полка...

Адъютанты подавали дневные записки о состоянии частей. Сбоку стояли, проходя по очереди, командиры шефских полков. Государь всех их знал, каждого помнил. Одних отпускал молча, другим задавал вопросы, вспоминал, когда виделись последний раз, вспоминал про боевые приключения.

Все шло, как всегда, как двадцать пять лет его благополучного царствования.

Рапорт кончен, и, захлебываясь и щеголяя громовым своим голосом, на весь манеж вопит плац-адъютант:

— По кар-раул-лам стр-р-ройся!..

Розданы пароли... Скомандовали «на плечо» и «на караул», и караульные начальники, офицеры, держа подвысь и салютуя, унтер-офицеры, держа ружья у ноги, являются Государю, и снова раздаются в манеже из воскресенья в воскресенье повторяющиеся слова:

— В Главный караул Зимнего Вашего Императорского Величества дворца наряжен...

— В карауле на Охтенские пороховые заводы наряжен...

— В Галерную гавань...

— Рундом наряжен...

— Дежурным по караулам наряжен...

Шеренга караульных начальников все растет и растет против Государя. Последний бравый ефрейтор сдал рапорт и стал на левом фланге. Явились Рунд и дежурный по караулам.

Да, все было, как всегда, как то написано в Уставе, и этот однообразный обряд прогоняет мысли и делает голову бездумной. Глаз радуется математической точности приемов, поворотов, красивой маршировке.

— Взводами левые плечи вперед в колонну стройся!.. Шаг-гом!... Марш!..

Прямая линеечка караулов повернулась и обратилась в длинный людской прямоугольник.

— Развод! Стой!..

— На пле-е-чо!.. Развод вперед!.. Равнение направо... Шаг-гом!.. Марш!..

Ударили барабанщики, и сейчас же к ним влились певучими звуками старинного Преображенского марша музыканты. Взвод за взводом, караул за караулом идут мимо Государя.

Государь привычно благодарит солдат и слышит их громкие, напряженные ответы.

Дальние ворота на Инженерную улицу распахнуты настежь. Оттуда валит седой пар, тянет по ногам сыростью и холодом. Там в воротах толчея, торопливо надевают шинели, и караул за караулом с барабанным боем расходится по всему городу.

За последним караулом идут музыканты.

Музыка смолкла... Еще несколько мгновений по манежу гудело эхо. Ворота закрыли, наступила тишина.

Государь проехал на середину манежа и сказал графу Мусину-Пушкину:

— Ординарцам являться шагом.

— Палаши, сабли, шашки — вон! — скомандовал Мусин-Пушкин. — Ординарцы, равнение направо, шагом — ма-а-рш!..

И опять все идет, как всегда, меняются лица, но прием все тот же. Так же, как и раньше, храпят и прыгают офицерские кони и прямою стеною надвигаются шеренги унтер-офицеров и карабинеров. Сабли подняты подвысь. Государь объезжает шеренгу.

— Ваше Императорское Величество, на ординарца наряжен.

— Вашему Императорскому Величеству от Кавалергардского полка на ординарцы прислан унтер-офицер Зинченко...

— К Вашему Императорскому Величеству для посылок прислан карабинер Габельченко.

— Ваше Императорское Величество, от лейб-гвардии конного полка на ординарцы наряжен корнет, Великий Князь Дмитрий Константинович.

— А, здг'авствуй!.. Отличная, бг'ат, у тебя лошадь. Какого она завода?

— Завода князя Барятинского, Ваше Императорское Величество.

Юное лицо Великого князя вспыхивает от восторженного волнения. Это волнение передается лошади, и она, сдерживаемая мундштуком, танцует на месте.

— Где достал ее?

— Приобрел у ротмистра лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка Карандеева первого.

— Как зовут жег'ебца?

— Агат, Ваше Императорское Величество.

— Отличный, отличный... Какая сухая голова, шея... И ноги пг'екг'асные. Поздг'авляю с хог'ошей покупкой.

И, чувствуя, что счастье Великого князя от ласки доходит до предела, Государь трогает лошадь и, подъехав к унтер-офицеру конного полка, слушает его рапорт.

Тем временем положили посередине манежа три листа бумаги, и как только окончили свою явку ординарцы, понеслись в лихой джигитовке казаки Собственного Государева конвоя, Казачьего и Атаманского дивизионов и Уральского эскадрона. Они на карьере стреляли из пистолетов в бумагу и разбивали ее в клочья, потом соскакивали и вскакивали на лошадей.

Как только кончилась джигитовка, началась ординарцевая езда.

Мерной рысью проходили мимо Государя ординарцы, и Государь любовался лошадьми, людьми, красивыми мундирами, посадкой.

Белые колеты кавалергардов и конной гвардии сменялись темными мундирами конной артиллерии, алыми, голубыми и малиновыми казаков.

— Равнение направо, галопом...

Все лошади шли с правой ноги, ни одна не врала. Красивы были тогдашние натянутые посадки, стремя, играющее на носке, несколько отваленные назад корпуса.

— Равнение налево...

Переменили ногу, кое у кого зашалила, упрямясь, лошадь, и опять идут мимо Государя. Отдается глухим эхом мерный топот лошадей по твердому грунту манежа. Лошади храпят и фыркают, разгорячились; реют в воздухе султаны, конские гривы колеблются, вытянуты хвосты, сильнее пахнет в манеже лошадью, свежей кожей новых седел...

Вестовые принесли жердь, обтянутую соломенным жгутом, и положили ее на согнутые в колене ноги. Пошли на препятствие. Отваливали корпуса назад, как то тогда требовалось, попускали мундштук. Никто не закинулся, никто не обнес барьер, один за другим проскакали мимо Государя всадники.

Государь подъехал к Великому князю Дмитрию Константиновичу, — ведь он для него сегодня и приехал.

— Спасибо тебе, — сказал он. — Молодцом ездил и отлично вел лошадь.

Государь объехал фронт офицеров и у колонн слез с коня.

«Ну вот, слава Тебе, Господи, все отлично прошло», — подумал он с облегчением и почувствовал, как прежняя лихорадка

холодком возвращается к нему. Он поблагодарил Великого князя Николая Николаевича Старшего за развод, накинул шинель и вышел на крыльцо.

Все тот же был серый, неопределенный, безрадостный день, не холодный и не теплый. Грязный снег на площади, толпы народа, сдерживаемые городскими и конными жандармами в касках, недружное «ура».

— Фрол! В Михайловский дворец, к Великой княгине...

В карете Государь почувствовал усталость от развода, и снова стало знобить от сырости манежа. Стал думать о горячем чае у Великой княгини Екатерины Михайловны, о разговорах, конечно, о том, как ездил Дмитрий, о новых назначениях...

Государь рассеянно смотрел в окно на лица встречающих и замечал про себя:

«Какая отвратительная рожа!.. А у этого такое славное русское лицо... Этот, верно, профессор, а тот музыкант. Милая барышня... Забыла совсем. Жалко, что стриженная... Стоит на углу Садовой... Махнула зачем-то платком... Что она?»

Привычно приложился двумя пальцами к краю каски.

Колеса зашуршали по белому снегу просторного двора, и карета въехала в высокий подъезд Михайловского дворца.

XXV

Первым, кто должен был бросить снаряд Кибальчича, стоял на углу Инженерной улицы и Екатерининского канала, Тимофей Михайлов.

Это был молодой парень, двадцати одного года, рабочий-котельщик, громадный, несуразный, громоздкий и с таким же, как его тело, тяжелодумным умом. Он поверил Желябову, как солдат верит своему полководцу. Когда читал воззвание «от рабочих членов партии народной воли», где было сказано: «Товарищи рабочие! Каково наше положение, об этом говорить много не приходится. Работаешь с утра до ночи, обливаясь кровавым потом; жрешь хлеб да воду, а придет получка, хоть бы что осталось в руках. Так было прежде; но теперь положение наше становится с каждым днем все хуже, все ужаснее. Почти на всех заводах и фабриках идет рассчитывание рабочих. Голодные, оборванные, целыми толпами ходят они от завода к заводу, прося работы», — Михайлов плакал от жалости. Он не видел, что все написанное было ложью. Он не хотел посмотреть

на самого себя: здоровый, крепкий, сильный, как бык, он знал, что всегда получит работу. Он знал, что рабочие пропивают свои заработки и оттого бедны, но он поверил воззванию, поверил Желябову. Таким хорошим «господином» казался ему Желябов.

— Меня на самое опасное место... угожу-с,— говорил он, преданными, ласковыми глазами глядя на Желябова.— Андрей Иванович, понимаю-с!.. Они оружейные, с каким великолепным казацким конвоем, а мы с голыми руками...

В Желябове он видел ту правду Божию, которую искал, и так понравился он Желябову, что первое место было дано Желябову, а второе ему, и когда Желябова арестовали, Михайлов стал на его место.

Он стоял, прислонившись к чугунной решетке канала, и уже издали молодыми, зоркими глазами увидел, как из-за здания Михайловского театра показалась карета, окруженная казаками в алых черкесках, и за нею сани.

По каналу проходили люди. Только что прошел взвод юнкеров, прошли матросы 8-го Флотского экипажа, мальчик нес на голове корзину с хлебом. На углу стояли городовые.

«Они оружейные — я безоружный»,— вспомнил свои слова Михайлов. «Какая же это правда, когда они не знают, какая у меня, какой страшной силы бомба? Они на лошадях, царь в карете, что они со мною могут сделать, когда они и не подозревают, что я есмь и для чего здесь стою... Ведь ахну — ни синь порошу от них не останется. Да и мальчика, пожалуй, прихватит...»

И в короткий этот миг все показалось ему совсем иным, чем было тогда, когда он клялся в верности революции.

Кучер на крутом повороте задержал лошадей — было скользко на снеговом раскате. Наступил миг, когда нужно было бросить бомбу.

Михайлов плюнул и быстрыми шагами пошел вдоль канала к Михайловскому саду.

— Везде один обман...— думал он.

Вторым метальщиком стоял тихвинский мещанин Рысаков, девятнадцатилетний человек с грубым лицом, толстоносый, толстогубый, с детскими доверчивыми глазами. Он так уверовал в Желябова, что смотрел на него, как на Бога. Он был совершенно убежден, что вот бросит он бомбу, взорвет, убьет царя, и сейчас же, сразу, настанет таинственная, заманчивая революция — и он станет богат и славен. Тогда — «получу пятьсот рублей и открою мелочную лавку в Тихвине...»

У Рысакова не было никаких колебаний, никаких сомнений.

«Желябов сказал — год исключительный. Голод, язва на скоте. Будет народное восстание, и, значит, мы станем героями, первыми людьми в восстании. Желябов говорил: студенты, интеллигенция, рабочие, все пойдут на какие-то баррикады и нас выручат...»

В этой вере, что «выручат», что он делает геройское и вместе с тем ничем особенным ему самому не угрожающее дело, Рысаков ловко нацелился и бросил снаряд под колеса кареты.

Раздался страшный грохот. Столб темного дыма, снега и земли высоко поднялся в воздухе, из дома по ту сторону канала посыпались стекла. Что-то ахнуло в сердце Рысакова. Он бросился бежать, но за ним погнались, какой-то человек в «вольной» одежде схватил его, сейчас же подбежал городской с обнаженной шашкой, и Рысакова приперли к краю набережной.

Из облака дыма и снега показался Государь в шинели и каске. Он рукою смахнул снег с пол шинели.

Кучер Фрол Сергеев с трудом остановил испуганных лошадей. Конвойный офицер, ротмистр Кулебякин, с окровавленным лицом, без папахи, соскочил с лошади и побежал к Государю.

— Ваше Императорское Величество,— сказал он, почтительно беря Государя под руку,— вы ранены?

— Я ничего,— сказал Государь,— а посмотри, что они наделали!

Государь показал на мальчика, катавшегося в судорогах по панели, и на убитого казака, лежащего на улице.

— Это кто такой?

— Максимов, Ваше Императорское Величество.

— Цаг'ство ему небесное! Все из-за меня... из-за меня...

Кучер осадил карету. У нее была выбита спинка, но ехать было можно. Полковник Дворжицкий подъехал с санями.

— Ваше Императорское Величество, умоляю вас,— сказал он,— садитесь в сани, едем во дворец...

Государь спокойно посмотрел своими прекрасными глазами на полицмейстера и сказал:

— Погоди...

Фрол снял шапку и сказал со слезами в голосе:

— Ваше Императорское Величество, Царь Батюшка, садитесь, не то злодеи убьют.

Государь махнул кучеру рукою и обратился к следовавшему за ним Кулебякину:

— Кулебякин, там еще казак... Что с ним?

— Это Лузенко, Ваше Императорское Величество, он, кажется, только ранен.

Государь еще раз перекрестился.

— Ужасно,— сказал он,— хуже, чем на войне. Это что же? — обратился он к Дворжицкому, показывая на Рысакова.— Этот и бг'осил?

— Так точно, Ваше Императорское Величество.

Государь подошел к Рысакову.

— Ты кто такой? — строго, но не сердито сказал Государь.

— Мещанин,— хмуро, глядя в землю, ответил Рысаков.— Грязнов!

— Смотри ты у меня! — Государь погрозил пальцем в белой перчатке Рысакову.

— А где взог'вало? — сказал Государь и пошел к тому месту, где в снегу чернело круглое отверстие воронки взрыва.

Государь был совершенно спокоен. Он знал, что у него есть долг перед убитыми и ранеными, долг перед собравшеюся толпою. Он не может ничем показать своего волнения или растерянности.

Кто-то из толпы громко спросил:

— Что с Его Величеством?

— Слава богу, ничего,— сказал Государь и услышал, или ему только показалось, что он услышал, как кто-то мрачно и угрюмо сказал:

— Погоди, еще рано благодарить Бога...

В тот же миг как бы огонь охватил Государя. Страшный грохот оглушил его. Все потемнело перед глазами, все исчезло. Государь ощутил холодное прикосновение снега к лицу, страшную, непереносимую боль в ногах, на мгновение перед ним мелькнуло чье-то совсем незнакомое лицо, и Государь, застонав, закрыл глаза.

Студент Гриневицкий, двадцати одного года, быть может, после Желябова и Перовской самый убежденный в необходимости «акта»,— сказал: «Погоди, еще рано благодарить Бога»,— и, выхватив из-под полы круглую бомбу, завернутую в носовой платок, обеими руками с силой бросил ее к ногам Государя.

Взрывом оторвало Государю обе ноги выше колена, и Государя отбросило к панели Екатерининского канала, где он и лежал в полузабытьи, хватая руками снег и тихо стеная. Этим же

взрывом поразило Гриневицкого, и тот лежал без признаков жизни у самой решетки канала.

Толпа в панике разбежалась во все стороны, и прошло несколько мгновений тяжелой тишины.

— Помогите... Помогите! — простонал Государь.

Какой-то прохожий по имени Новиков и юнкер Павловского училища Грузевич-Нечай первыми подбежали к Государю.

— Мне холодно... Холодно, — тихо сказал Государь.

Два матроса 8-го Флотского экипажа подхватили Государя под разбитые ноги и понесли его к саням Дворжицкого. Они были с винтовками и в волнении и страхе за Государя не догадались оставить ружья, и ружья мешали им нести.

Из Михайловского дворца, где были слышны взрывы, почувствовав недоброе, прибежал любимый брат Государя, Великий князь Михаил Николаевич.

Государь очень неудобно полулежал в узких санях Дворжицкого.

Великий князь подошел к нему и, плача, склонился к лицу Государя.

— Саша, — сказал он, — ты меня слышишь?

И будто из какой-то глубокой, могильной дали послышался тихий ответ Государя:

— Слышу...

— Как ты себя чувствуешь?

После долгого молчания Государь сказал очень слабым настойчивым голосом:

— Скорее... Скорее... Во дворец...

Кто-то из окруживших сани офицеров или прохожих сказал:

— Не лучше ли перенести в ближайший дом и сделать перевязку?

Государь услышал эти слова и громче и настойчивее, все не открывая глаз, сказал:

— Во дворец... Там умереть...

Государя уложили в санях спиною к лошадям, Кулебякин сел у ног Государя и положил окровавленные ноги к себе на колени и накрыл их чьею-то поданною ему солдатскою шинелью.

Государь открыл глаза и узнал Кулебякина. Увидев, что лицо ротмистра было залито кровью, Государь тихо и участливо спросил:

— Кулебякин, ты г'анен?

— Ваше Императорское Величество, что думать обо мне... Царапина, и только...

Кулебякин заплакал. Государь тихо пожал руку своего конвойного офицера, закрыл глаза и не произнес больше ни слова.

Когда сани въехали на высокий подъезд дворца и были раскрыты настежь двери, чтобы внести Государя, любимая собака Государя, сопровождавшая его и на войну, сеттер Милорд, как всегда, бросился навстречу своему хозяину с радостным визгом, но вдруг почувствовал кровь и, не услышав голоса Государя, упал на ступени лестницы без сознания. Паралич охватил его задние лапы.

Государя внесли в его рабочий кабинет и там сначала посадили в кресле, потом переложили на узкую походную койку.

Дворцовый комендант приказал начальнику внутреннего пехотного караула, только что заступившего на посты, лейб-гвардии Финляндского полка поручику Савицкому поставить часовых у спальни Государя и никого не впускать, кроме членов царской семьи.

Вызванные наспех доктора — Дворяшин, врач лейб-гвардии стрелкового батальона, придворный врач Боткин и придворный хирург Круглевский забинтовали ноги. Государь был без сознания.

Подле раненого стояли Государь Наследник с женою и сыном, Николаем Александровичем, и княгиня Юрьевская. Врачи совещались между собою.

— Ваше сиятельство,— тихо обратился к Юрьевской Круглевский.— Ампутация ног неизбежна. Разрешите приступить?

Юрьевская посмотрела вопросительно на Наследника. Громадный, в широкой русой бороде, тот стоял у изголовья Государева ложа.

Наследник молча кивнул головою.

— Если еще сделать переливание крови?.. Казаки Конвоя просят взять их кровь,— нерешительно сказал Дворяшин.

Дыхание Государя становилось все тише и тише. Грудь его поднималась. Боткин взял руку Государя и слушал затихающий пульс. Он выразительно посмотрел на княгиню Юрьевскую, потом опять на Наследника.

Те перекрестились.

Было три часа двадцать пять минут. Государь, протрадав около часа, тихо скончался.

Дворцовый комендант послал скорохода приказать приспустить императорский штандарт на середину мачты.

Вера не знала, когда это будет. Она только догадывалась, что это будет 1 марта.

Она чувствовала, что Перовская и Желябов сторонились ее, избегали эти дни с нею видаться, и это оскорбляло Веру. Точно ей не доверяли, точно боялись, что она выдаст.

Первого марта около двух часов дня Вера пришла на Екатерининский канал.

Серый зимний день с легким морозом стоял над городом. Красиво разубрались инеем деревья Михайловского и Летнего садов. Щемящая грусть томила Веру, и несказанно печальными казались сады в лиловой дымке тумана.

По Невскому проспекту с музыкой прошел дворцовый караул. Музыка отражалась о дома Екатерининского канала и двоилась. В этой музыке Вере почудилось что-то роковое и ужасное.

Вера знала, что на Малой Садовой в лавке Кобозева ожидает Государя смерть от страшного взрыва — полтора пуда динамита там было заложено, Вера знала, что на Екатерининском канале расставлены Перовской метальщики с бомбами.

Она ходила то по каналу, то по Невскому, и ей казалось, что ее нервы не выдержат больше, что она бросится к первому попавшемуся полицейскому офицеру и крикнет ему: «Что вы делаете, почему так спокойно стоите на посту? Да предупредите же!.. Да спасите же своего Государя! Схватите преступников и меня первую».

Потом одумывалась. Все это неизбежно. Это нужно — для счастья народа, для его великого будущего... Сейчас совершается героический акт, который благословлять будет история... За ним — революция и счастье...

«Как?.. Как это будет? Что же произойдет? Народ широким крестным знаменем осенит себя, когда узнает, что избавился от тирана...»

Вера шла задумавшись. Она точно видела взволнованные, ликующие толпы, красные знамена мятежа, Перовскую во главе народа. Они идут освободить Желябова и всех политических заключенных страдальцев. Они несут счастье народу.

Вера была у Невского, когда раздался первый взрыв. За ним через какую-нибудь минуту второй, еще более оглушительный.

Прохожие в недоумении останавливались. Иные привычным движением хватались за часы — но был не полдень, а половина третьего...

Вера видела, как промчались парные сани. Конвойный офицер сидел в них и держал кого-то на коленях, кучер гнал лошадей, и парные рысаки скакали галопом.

Вера поняла. Удалось!.. Государя убили.

Вся похолодев, чувствуя, как внутренняя дрожь бьет ее, Вера вышла на Конюшенную улицу, желая стороною пробраться к Зимнему дворцу. Здесь было пусто и безлюдно.

Извозчик ехал порожним, похлопывая рука об руку. На встречу другой вез господина в очках. И первый крикнул пьяно и задорно:

— Ванька, дьявол, будет тебе бар возить. Государя разорвало на четыре части.

Долго потом вспоминала Вера эти извозничьи слова. Это и была вся революция! Только это и слышала она от «народа» революционного и дерзкого за все эти тягостные, печальные и полные леденящего ужаса дни.

Вера вернулась на Невский. По проспекту густою беспорядочною колонной, в кожаных киверах, с красными пиками на бедре проскакали карьером к Зимнему дворцу казаки.

На Дворцовой площади толпился народ. Пошел редкий, мокрый снег и увеличил печаль хмурого дня.

Вера увидела, как вдруг на сером небе задрожал тихо реявший в воздухе желтый штандарт с черным Государственным орлом и стал медленно опускаться к середине флагштока.

— Флаг... Флаг спускают, — заговорили в толпе.

Одна за другой стали обнажаться головы людей. Все истово крестились. Какая-то простая женщина жалостливо и скорбно сказала:

— Кончился наш голубчик... Царство ему небесное... Доконали, злодеи.

И с силою кто-то сзади Веры сказал:

— Какого Государя убили!

Все более и более было молившихся людей. Многие становились на колени. Ближе к дворцу не подпускали казаки, ставшие цепью вокруг площади.

Долго стояла Вера в безмолвной, в неимоверной печали в затихшей толпе...

Ни баррикад... Ни революции — ничего не было. Был один обман. Вера видела глубокое чувство потрясенных людей и видела, как молились горячо и искренно за погибшего Государя народные толпы. Она кругом слышала осуждение злодеям, злобу и презрение к ним...

Только развязный извозничий голос: «Ванька, дьявол, будет тебе бар возить — Государя разорвало на четыре части» — на

мгновение показал ей народное нутро... Но тогда Вера этого не поняла.

— Вот оно как обернулось-то,— сказали подле Веры в толпе,— Царь-Освободитель — Царь-Мученик...

Вера не посмела оглянуться на говорившего, и тот продолжал:

— Это всегда так бывает... Христа, освободившего людей от смерти, распяли. Чем кто больше сделает добра, чем милостивее и величественнее правит — тем скорее ожидает его венец мученика...

Другой ответил:

— Бесы... Подлинные бесы-то разрушители — эти чертовы народовольцы...

Еще слышала Вера, как говорили в толпе:

— Господа, убили царя. Мстили ему за освобождение крестьян.

— Какого царя!

— И бесприменно не обошлось без англичанки.

— Конечно, на ее деньги... Из-за границы руководство злодеями было.

Вобрав в плечи голову, точно ожидая, что ее сейчас ударят или накинут на нее виселичную петлю, шла Вера назад по Невскому.

Темнело. Мартовский день догорал. Фонарщик с лестницей пробежал от фонаря к фонарю, зажигая газ. Непрерывной вереницей тянулись извозчичьи сани, позванивая, катились по рельсам конные кареты. На всех перекрестках стояли конные казаки.

Вера прошла к тому месту, где был взрыв. В народе уже называли это место «местом преступления». Оно было оцеплено солдатами. Там, за солдатскою цепью, лежали венки и букеты цветов. Священник и певчие готовились служить панихиду. Черная толпа народа стояла безмолвно. Изредка раздавалось чье-нибудь приглушенное всхлипывание.

Тихо реял, падая на землю, мокрый снег. Несказанная печаль и тоска застыли в воздухе.

XXVII

Домой Вера вернулась поздно.

Как всегда по воскресеньям, у Афиногена Ильича была «пулька». Были Порфирий с женою, Карелин и Гарновский.

В кабинете, на ломберном столике, по углам горели свечи, щеточки и мелки были разложены, карты распечатаны. Афино-

ген Ильич, Карелин, Гарновский и Порфирий сидели за картами. В углу за круглым столом графиня Лиля заваривала из самовара чай.

— Где ты пропадала, Вера? — спросил Афиноген Ильич. — И как бледна... Устала?

— Да, дедушка, я очень устала. Я была там. Я почти видела, как все это было, — ответила тихо Вера. — А потом ходила по городу. Все не могла успокоиться. Очень было мне страшно... Что же теперь будет? Революция?

— Все спокойно. Никакой революции не будет, — сказал Карелин. — Трактиры и кабаки закрыты. Все меры приняты.

— Да никакой революции никто не боится, — сказал Порфирий. — Кабацкий разгул полезно предупредить.

— Да, все спокойно, — подтвердил Гарновский.

— Это спокойствие ужасно, — сказал Порфирий. — Их, этих негодяев, народ должен был разорвать всех до единого. Взяли одного, какого-то Грязнова, оказавшегося Рысаковым. Другой царевубийца, не приходя в сознание, умер в Конюшенном лазарете... Сведется к одному, а их много. Всех надо раскрыть и публично повесить. А тут спокойны. Вот кто был по-настоящему предан Государю-Мученику, — это его собака Милорд... Представьте, так расстроился, что его паралич схватил, не пережил своего хозяина...

Афиноген Ильич посмотрел на стоявших подле его стула в ожидании чайного сухарика Флика и Флока и сказал:

— Ну а вы, подлецы, если меня так принесут, что будете делать? Расстроитесь или нет?

«Подлецы» дружно виляли хвостами вправо и влево и смотрели преданными собачьими глазами в глаза старому генералу.

— Вам сдавать, — сказал Карелин.

В кабинете воцарилось молчание. Вера забилась в темный угол, графиня Лиля разливала по стаканам чай, стараясь не шуметь.

Слышались отрывистые голоса играющих.

— Два без козырей...

— Три в червях...

— Фу, фу, фу, какая игра-то, — проговорил, отдуваясь, Порфирий. — Во всем рука Господня. Могла быть и конституция. Чего, кажется, хуже... Папа, тебе ходить.

Из своего угла Вера страшными, безумными глазами смотрела на них.

«Вот она — жизнь! — думала она. — Такого Государя убили. А тут — «два без козырей», «три в червях»! — да ведь это то же

самое, что — «Ванька, Дьявол, будет бар возить — Государя разорвало на четыре части»... Нет, никогда и ничем их не прошибешь... Никакими бомбами...»

XXVIII

С раннего утра Вера уходила и бродила по городу. Она все ждала революции.

Петербург принимал обычный вид. Постепенно убирали с перекрестков конных казаков, наряды полиции становились меньше.

Четвертого марта открыли подкоп на Малой Садовой, там поставили рогатки, и саперы вынимали мину.

Восьмого марта в печальном и торжественном шествии перенесли тело Государя из Зимнего дворца в Петропавловский собор и туда началось паломничество петербургских жителей, чтобы поклониться праху Царя-Мученика.

Дивно-прекрасный лежал Государь в гробу. На груди у скрещенных рук стоял небольшой образ Спасителя. Кругом груды цветов и венков и почетная стража в зашитых черным крепом мундирах.

Рано утром Вера шла по Невскому и вдруг увидела Перовскую.

Страшно бледная, с опухшим лицом, Перовская шла Вере навстречу. Она обрадовалась Вере.

— Соня, пойдем, поговорим... Так тяжело у меня на сердце. Они прошли в кофейню Исакова и сели в темном углу.

— Только у меня денег вовсе нет,— сказала Перовская,— и я два дня ничего не ела.

Вера заказала кофе и пирожки, и Перовская, оглянувшись, заговорила:

— Я сама не своя. Ты слышала, может быть,— Рысакова хотели судить военно-полевым судом и уже четвертого марта казнить... Андрей узнал об этом и написал заявление. Вот оно, я знаю его наизусть. Верные люди мне его передали: «Если новый Государь,— писал Андрей,— получив скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении цареубийц старой системы; если Рысакова намерены казнить, было бы вопиющей несправедливостью сохранить жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра Второго и не принявшего физического участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности. Я требую приобщения себя к делу первого марта и,

если нужно, сделаю уличающие меня разоблачения. Прошу дать ход моему заявлению... Меня беспокоит опасение, что правительство поставит внешнюю законность выше внутренней справедливости, украсив корону нового монарха трупом одного юного героя лишь по недостатку формальных улик против меня, ветерана революции. Я протестую против такого исхода всеми силами души моей и требую для себя справедливости. Только трусостью правительства можно было бы объяснить одну виселицу, а не две». Я узнаю в этом письме моего гордого и самолюбивого Андрея...

— Зачем он это сделал?

— Верно, так нужно было,— тихо сказала Перовская.

— Но это же самоубийство...

— Его нужно спасти, и мы его спасем. Эти десять дней я почти не спала. Я обошла всех, я была среди рабочих, которые меня знают, я была в военных кружках. Я умоляла устроить нападение на третье Отделение, куда его водят. Для этого я искала квартиру на Пантелеймоновской улице, чтобы следить за ним. Да, наконец, возможно напасть и на самый дом предварительного заключения на Шпалерной, у меня все придумано и разработано. Но... нет людей! Мне везде отказали. Такая везде растерянность, такая подавленность! Где я ночевала, я сама не помню, кажется, даже на улице. Я ничего не ела. Одна мысль — спасти его...

Вера потребовала еще кофе и пирожков. Она участливо смотрела на Перовскую и думала:

«Бедная Соня, она вилась, как вьется птица над головою коршуна, отнявшего ее птенца. Она сама попадет в когти коршуну...»

— Но самое ужасное, Вера, это Рысаков. «Юный герой» — назвал его. Андрей!.. Герой!.. Я видела его... Я слышала про него, я все про него узнала... Его лицо опухло от смертельной тоски и покрылось темными, точно трупными пятнами. Он все вертит головою, точно уже чувствует веревку на своей шее. Его постоянно водят на допросы. Он всех выдает. По его оговору разгромили квартиру на Тележной. Ищут Кибальчича и Гесю. Меня ищут, и я боюсь ходить в те края и шатаюсь по самым людным улицам, в расчете, что никому в голову не придет искать меня на Невском. Это по его оговору раскапывают подкоп на Малой Садовой. Якимову-Баску и Фроленко ищут. И найдут... Как не найти, когда Рысакову известны все наши адреса... Он умоляет, чтобы его взяли в Охранную полицию и за то по-

миловали. Он говорил, что он принял участие в цареубийстве, чтобы лучше бороться с террором.

— Ему верят?

— Навряд ли. Во всем он обвиняет Андрея и меня. Говорит, что мы его околдовали... Ну, мне пора. Тут могут прийти люди....

Перовская встала, Вера хотела идти с нею, но Перовская остановила ее:

— Спасибо и за то, что посидела со мною, дала душу отвесить. Спасибо и за кормежку. Ты так рисковала. Тут, положим, не выдадут... Но на улице!.. Меня ищут...

Вера видела, как ушла Перовская качающейся походкой, полная тревоги за любимого человека и за себя, бледная, отчаявшаяся во всем... Вере казалось, что Перовская теперь забыла все то, что говорилось о счастье народа, и думала только об одном — спасти Андрея или умереть вместе с ним...

Дома за обедом, на котором был Порфирий с женою, Порфирий с радостным торжеством рассказывал, что наконец-то удалось схватить Перовскую.

— Околоточный Ширков из участка, где она жила, который день ездил на извозчике по всему городу с хозяйкой молочной, где Перовская закупала продукты, и вдруг сегодня утром видит — идет эта самая цаца, да и где же! По Невскому против Аничкова дворца! Хозяйка и говорит ему — а ведь это она и есть... Ну, соскочил околоточный с извозца и схватил ее. И не сопротивлялась... Теперь, кажется, вся шайка будет представлена на суде в полном комплекте.

Вера низко опустила голову. Перовская была арестована, как только рассталась с Верой. Задержи Вера ее хотя на минуту, и, может быть, околоточный ее не увидел бы, выйди Вера вместе с Перовской — и она попалась бы с нею... Судьба!..

XXIX

Суд приближался, и вместе с судом приближалась и неизбежная казнь шестерых, привлеченных по делу о цареубийстве 1 марта: Желябова, Перовской, Рысакова, Тимофея Михайлова, Кибальчича и Геси Гельфман.

Имена этих злодеев были на устах у всех. Нигде в народе, в его толще, ни в кругах деловых, торговых, среди служащих, в войсках не было к ним никакого сожаления. Их везде осыпали проклятиями.



— Такого Царя убили!

Только в кругах интеллигенции, кругах профессорских и писательских, среди учащейся молодежи, особенно женской, нарастало болезненное чувство ожидания большой смертной казни.

По рукам ходило кем-то достанное и списанное письмо писателя графа Льва Николаевича Толстого, написанное Государю Александру III и посланное через Н. Н. Страхова Победоносцеву.

Вера читала это письмо. Оно показалось Вере фальшивым, написанным наигранно простецким языком, поражало ссылками на Евангелие и толкованием его так, как это было нужно для Толстого. Из письма выходило, что казнить Императора Александра II и убить вместе с ним полдесятка ни в чем не повинных людей — было можно, но казнить народовольцев, убивших русского Государя и отца Императора Александра III — было нельзя. Убийц нужно было — простить.

Толстой писал: «Я, ничтожный, непризванный и слабый, плохой советник, пишу письмо Русскому императору и советую ему, что ему делать в самых сложных, трудных обстоятельствах, которые когда-либо бывали. Я чувствую, как это странно, неприлично, дерзко, и все-таки пишу. Я думаю себе: ты напишешь письмо, письмо твое будет не нужно, его не прочтут или прочтут и найдут, что это вредно, и накажут тебя за это. Вот все, что может быть. И дурного в этом для тебя не будет — ничего такого, в чем бы ты раскаивался. Но, если ты не напишешь и потом узнаешь, что никто не сказал Царю то, что ты хотел сказать, и что Царь потом, когда уже ничего нельзя будет переменить, подумает и скажет: «Если бы тогда кто-нибудь сказал мне это?», если это случится так, то ты вечно будешь раскаиваться, что не написал того, что думал. И потому я пишу Вашему Величеству то, что я думаю...»

«Все это о себе», — подумала Вера и, пропустив несколько строк, продолжала читать грязно отпечатанный лиловыми чернилами на гектографе листок.

«...Отца Вашего, Царя Русского, сделавшего много добра и всегда желавшего добра людям, старого, доброго человека, бесчеловечно изувечили и убили не личные враги его, но враги существующего порядка вещей; убили во имя какого-то высшего блага всего человечества».

«Если можно убивать и прощать убийц, убивших во имя блага, — подумала Вера, — а кто знает, где и в чем благо человечества? — то уже, конечно, можно убивать на войне во имя бла-

га и свободы славян... Во имя того же блага — можно и казнить... Войны и казни будут оправданы, и кто разберется в том, кто убивает правильно, и кто нет?»

Она читала дальше:

«...Вы стали на его место, и перед Вами те враги, которые отравляли жизнь Вашего отца и погубили его. Они враги Ваши потому, что Вы занимаете место Вашего отца, и для того много общего блага, которое они ищут, они должны желать убить и Вас. К этим людям в душе Вашей должно быть чувство мести, как к убийцам отца, и чувство ужаса перед той обязанностью, которую Вы должны были взять на себя. Более ужасного положения нельзя себе представить, более ужасного потому, что нельзя себе представить более сильного искушения зла. «Враги отечества, народа, презренные мальчишки, безбожные твари, нарушающие спокойствие и жизнь вверенных миллионов и убийцы отца. Что другое можно сделать с ними, как не очистить от этой заразы Русскую землю, как не раздавить их, как мерзких гадов. Этого требует не мое личное чувство, даже не возмездие за смерть отца. Этого требует от меня мой долг, этого ожидает от меня вся Россия...»

В этом-то искушении и состоит весь ужас вашего положения. Кто бы мы ни были, цари или пастухи, мы люди, просвещенные учением Христа.

Я не говорю о Ваших обязанностях Царя. Прежде обязанностей царя есть обязанности человека, и они должны быть основой обязанностей царя и должны сойтись с ними. Бог не спросит Вас об исполнении обязанности царя, не спросит об исполнении царской обязанности, а спросит об исполнении человеческих обязанностей. Положение Ваше ужасно, но только затем и нужно учение Христа, чтобы руководить нами в те страшные минуты искушения, которые выпадают на долю людей. На Вашу долю выпало ужаснейшее из искушений...»

Письмо Толстого произвело на Веру страшное впечатление. Она замкнулась в своей комнате, достала забытое последние годы Евангелие и стала листать его, прочитывать то то, то другое место и потом долго сидела, устремив глаза в пространство.

«Царство Божие не от мира сего...», «Царство Божие внутри нас...», «Воздадите Кесарево Кесарю, а Божие Богови...». Предсмертная беседа Христа с Пилатом — все это получало после письма Толстого совсем другое освещение.

По Евангелию — перед Богом ответит Государь не как христианин, а как Государь. «Кому много дано, с того много и взыщется...»

Если каждый скажет: «Я христианин и живу по Евангелию, никому зла не делаю и за зло плачу добром», — так ведь тогда рухнет государство и зло восторжествует в мире, потому что все люди от природы злы. Толстой проповедует ту самую анархию, о которой говорил Вере князь Болотнев.

«Все та же ложь, — подумала Вера, — в письме Толстого та же ложь, что и в прокламациях Исполнительного комитета партии народной воли. Каждый гнет туда, куда ему хочется... И что же будет, если полиция, суды, солдаты, офицеры вдруг станут прежде всего христианами и во имя непротивления злу перестанут преследовать разбойников и убийц? И что же дальше, какой же выход для Царя?»

Вера читала письмо.

«...Не простите, казните преступников — вы сделаете то, что из числа сотен вы вырвете трех, четырех и зло родит зло, и на место трех, четырех вырастут тридцать, сорок, и сами навеки потеряете ту минуту, которая одна дороже всего века, — минуту, в которую вы могли исполнить волю Бога, и не исполнили ее, и сойдете навеки с того распутья, на котором вы могли выбрать добро вместо зла, и навеки завязнете в делах зла, называемых государственной пользой.

Простите, воздадите добром за зло, и из сотен злодеев перейдут не к вам, не к нам (это не важно), а перейдут от дьявола к Богу, и у тысяч, у миллионов дрогнет сердце от радости и умиления при виде примера добра с Престола в такую страшную для сына убитого отца минуту...»

— Не так!.. Не так, — прошептала Вера, отрываясь от толстовского письма.

Она знала этих людей. Одних знала лично, о других много слышала от Перовской и Андрея. Среди всех них, может быть, только Тимофей Михайлов понял бы прощение и исправил бы свою жизнь. Прощенный Рысаков всю жизнь пресмыкался бы и вел грязные и подлые дела... Кибальчич — маньяк. Прости его и скажи ему — мы дадим тебе средства построить летучий корабль, но с тем, что ты сбросишь с этого корабля бомбы на дом того самого царя, который простил тебя, — Кибальчич ни на минуту не задумается сделать это.

Толстой говорит о Боге и о Христе, но Толстой не знает того, что знает Вера. У этих людей нет ни Бога, ни Христа, у них нет и совести. Они все — Перовская, Желябов, Гельфман, прощенные Государем, с новой силой и энергией стали бы охотиться за простившим их Государем.

Сколько раз Андрей при Вере говорил: «Сначала отца, а потом и сына придется». Акт царского милосердия их не смутит. Для них не только нет царя, они в царе не видят и человека. Есть «объект», мешающий им и который они решили устранить.

Когда после Воронежского съезда Вера возвращалась с Перовской, она была умилена. Ей тогда казалось, что она поднялась над пошлостью жизни, взобралась на некую высоту, откуда по-иному увидела мир и людей. Смелым показалось отрицание Бога, отрицание царя, свобода от обывательских пут. Сама становилась, как бог.

Не на высоту взобралась она в те дни, а спустилась в мрачную и смрадную, полную крови и мертвечины яму, где не видно света Божьего. Смрад подкопов, могильная тяжесть земли над человеком, ехидно ведущим подкоп, чтобы уничтожить своего ближнего, своего Государя, — это не высоты, а жуткие, дьявольские низы!

Теперь задумалась.

Эти дни Вера не выходила из дома. Она стала ласкова к Афиногену Ильичу.

Шел Великий пост. Старого генерала мучила подагра. Он не мог ходить в церковь, и Вера предложила ему читать по вечерам Евангелие. В кабинете был полумрак. Афиноген Ильич устраивался в кресле с протянутой ногой. Флик и Флок круто сгибались подле него на ковре.

Низались, низались и низались слово за словом святые слова и приобретали для Веры новое значение. Возвращали ее к Богу.

— «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить...»

— «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч...»

— «Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда». — «Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе»...»¹

¹ Евангелие от Матфея. Гл. 5, ст. 17. Гл. 10, ст. 34; от Иоанна. Гл. 18, ст. 36. Гл. 19, ст. 10—11.

Двадцать восьмого марта приват-доцент философии при Петербургском университете и профессор философии на Высших женских Бестужевских курсах, кумир курсисток, Владимир Сергеевич Соловьев, в большом зале Кредитного общества, на площади Александринского театра, читал лекцию: «Критика современного просвещения и кризис мирового процесса».

Большой зал был переполнен. На лекцию приехал министр народного просвещения Сабуров. Много было лиц из общества, литераторов, журналистов, офицеров, но преобладала молодежь — студентки и курсистки. Все задние ряды, проходы с боков зала за колоннами, сама эстрада сзади лектора были полны ею. Гул молодых голосов стоял в высоком светлом зале. Юные глаза блистали, все ожидали, что Соловьев «что-то скажет».

Третий день шел процесс народовольцев. Их дело ввиду особой его важности было передано на разрешение Особого Присутствия Правительствующего Сената с участием сословных представителей. Первоприсутствующим был сенатор Фукс, членами суда — сенаторы Биппен, Писарев, Орлов, Синицын и Белостоцкий. Обвинял Н. В. Муравьев.

В Петербурге со дня на день ожидался приговор, и никто не сомневался, что приговор этот будет: смертная казнь... Так полагалось по закону.

Молодежь волновалась. Она не допускала мысли о возможности смертной казни шестерых преступников. Знали о письме Толстого, оно ходило по рукам в списках, и теперь ожидали, что скажет философ Владимир Соловьев. Он был светочем христианства и для многих казался пророком. Все привлекало сердца молодежи: аскетический образ жизни, духовность напряженного мышления и, может быть, больше всего, сильнее всего — его особая наружность.

Вера стояла в правом проходе, за колоннами, в толпе курсисток.

Прямо против публики, над эстрадой, висел громадный портрет убитого Государя. Прекрасное лицо Государя, с большими выпуклыми глазами, было ярко освещено газовыми лампами. Золото широкой рамы было перевито черною креповою траурною лентою.

На фоне портрета появилось лицо Соловьева. Оно показалось Вере изумительным. Светлые золотистые волосы ниспада-

ли прядями на лоб, такая же небольшая бородка оттеняла бледность лица, но особенно были красивы глаза в длинных ресницах.

Соловьев говорил медленно, с частыми паузами. Он не читал, но говорил «от себя», как бы подбирая слова для своих мыслей, и Вере показалось, что это не он зажигал толпу слушателей, но сам заряжался волей, желаниями, кипением напряженно его слушающей молодежи, думающей свои думы. Через сияние тысячи пар глаз, блестящих, беспокойных, молящих, страстных — воля толпы передавалась философу.

Соловьев говорил о культе Богородицы, о значении этого культа, как некоей высокой, нравственной, очищающей силы. Он углублялся в мистические тайны христианства. Его глаза сияли небесным светом. Он преображался.

Вера думала, что если бы не наружность Соловьева — он не имел бы такого успеха, если бы все это говорил какой-нибудь уродливый, лохматый «профессор» в очках, — пожалуй, не стали бы так терпеливо и молитвенно тихо слушать его исследования глубин православного культа Богородицы.

— За нами, за нашею земною жизнью, — говорил Соловьев, и синие глаза его точно видели нечто потустороннее, — необъятные горизонты неведомой нам, грядущей жизни... Мы идем к этим далям и когда-нибудь мы придем к тому берегу бытия!

Соловьев остановил плавную свою речь. Была долгая, долгая пауза. И во время нее невидимыми путями, неведомыми токами все лились и лились желания, вопросы, хотения всей этой молодежи и, казалось, овладевали лектором.

Соловьев стоял молча и неподвижно. Он поднял опущенные глаза. Темные ресницы открыли синее пламя, все более и более разгоравшееся в них от пламени огней молодых глаз.

Он начал тихо, медленно, отдельно, бросая слово за словом в толпу слушателей:

— Завтра — приговор... Теперь там, за белыми каменными стенами, идет совет о том, как убить... безоружных!..

И опять было молчание.

— Но, если это действительно совершится, если русский царь, вождь христианского народа, заповеди поправ, предаст их казни, если он вступит в кровавый круг, — русский народ, народ христианский — не пойдет за ним. Русский народ от него отвернется и пойдет по своему отдельному пути...

Соловьев остановился. Такая тишина была в зале, что слышно было, как сипели газовые рожки. Он поднял голову и

стал говорить все громче и громче, как пророк древности, творя заклинания. И каждое его слово огнем жгло слушателей.

— Царь может простить их. Народ русский не признает двух правд. Если он признает правду Божию за правду, — то другой для него — нет... Правда Божия говорит — не убий!.. Если можно допускать смерть как уклонение от недостижимого идеала, убийство для самообороны, для защиты... то убийство холодное над безоружным претит душе народа... Вот великая минута самоосуждения и самооправдания. Пусть царь и Самодержец России заявит на деле, что прежде всего он христианин и, как вождь христианского народа, он должен... он обязан быть христианином.

Соловьев замолчал. Поник лицом, потом поднял голову. Его глаза сверкали теперь нестерпимым блеском, голос поднялся до страшной силы, и он бросил в толпу:

— Царь может их простить! — Он остановился, сделал выдержку и под гром аплодисментов выкрикнул: — Он должен их простить!!

Дикий рев восторга, грохот стульев, крики, рукоплескания, визги женщин потрясли зал. Все кинулись к эстраде.

Кто-то в передних рядах встал и погрозил пальцем Соловьеву. Сквозь крики и вопли был слышен его громкий и твердый голос:

— Тебя первого казнить, изменника! Тебя первого вешать надо, злодей!

Сквозь крики «браво», аплодисменты прорывались визгливые выкрики курсисток:

— Ты нам вождь! Веди нас!

— Ам-нис-тия!..

— Помилование!

— Иначе и быть не может!

— После таких-то слов!

— Он должен помиловать осужденных!

Соловьев стоял, наклонившись к рукоплещущей вокруг него толпе. Казалось, он хотел расслышать, что кричали ему со всех сторон.

Вера шла домой, глубоко потрясенная и взволнованная.

«Все ложь, и тут ложь, — думала она. — «Безоружные»!.. Полтора пуда динамита под Садовой улицей и метательные снаряды Кибальчича, разрывающие на части людей, это — безоружные? Зачем — прославленный, великий, любимый — унился до фиглярства перед толпой? Гнал за аплодисментами, за криками толпы и визгом курсисток!.. Ложь... для толпы!.. Ужасно... Где же подлинная правда?»

Вера пришла к ужину. За столом разглагольствовала графиня Лиля. Все эти дни она не выходила из зала суда, куда пускали по особым билетам.

— Подумаешь, что делается,— говорила она, красная от возмущения.— Убийц Государя судят правильным судом, как обыкновенных преступников... Спрашивают: «Признаете ли вы себя виновным?» Подумаешь! Их следовало бы народу отдать на растерзание. А вместо того этот черный... маньяк Кибальчич жалуется, что при аресте городской обнажил шашку, и сенатор Фукс, почтенный старик с длинными седыми бакенбардами, вызывает городского и спрашивает его: «Что, братец, побудило тебя обнажить шашку?..» Подумаешь! Тем — «вы», а городскому — «ты»! Несчастный городской так растерялся перед таким глупым вопросом сенатора, что уже ничего не мог объяснить. И... Перовская!.. Боже мой! Соня, Перовская! Как можно так низко пасть! Ей на следствии сказали, что, если она назовет всех участников — она избежит виселицы. Она воскликнула: «Не боюсь я вашей виселицы!» Ей заговорили о Боге — она закричала: «Не боюсь я вашего Бога!» «Кого же вы боитесь?» — спросили ее. «Я боюсь за благополучие моего народа, которому служу...» Тогда ей сказали, что она не будет повешена, но выведена на площадь и отдана на суд народа... Она заплакала и стала умолять казнить ее, но не отдавать народу... Нехристи швейцарские!.. Когда я выходила из суда, извозчики кинулись на какую-то девушку в очках со стриженными волосами и стали бить ее с криками: «Это специалистка!» Насилу городские отбили ее... Народ!.. Служу моему народу. Подумаешь — какая государыня!.. Моему народу!!!

Графиня Лиля залпом выпила стакан белого вина и продолжала:

— И этому... Желябову... Красавцу... Дают говорить, и он произносит длинные пропагандистские речи. Зачем это, Порфирий, зачем?

— В угоду обществу.

— Очень нужно,— пожимая широкими плечами, сказала Лиля.

— Их казнят? — тихо спросила Вера.

— А что же? Наградить их прикажешь? Не было в России еще такого ужасного преступления. И по закону.

— А разве Государь не может их простить?

— Государь... Знаю... Слышала... Толстой писал из Ясной Поляны... Писатель. Какое ему дело? Царь не может их про-

стить. Простить их — это пойти против своего народа в угоду маленькой кучке интеллигенции. Простить их?.. Подумаешь!.. Ну-ка, милая, прости их... Они тебе покажут по-настоящему.

И, обернувшись к Афиногену Ильичу, графиня Лиля сказала с оживлением:

— Мне сказали на суде — казнь будет публичная... На Семёновском плацу. В Петербурге палача не оказалось, так будто выписывают из Москвы и называется он — «заплечных дел мастер» — по-старинному.

— Вот этого и не нужно, никак не нужно, — тихо сказал старик. — Казнь — страшная вещь, и не надо делать из нее зрелища.

— Но, папа, — сказал Порфирий, — такая публичная казнь устрашает.

После ужина Порфирий сейчас же стал прощаться.

— Прощай, папа, зашли к тебе только для того, чтобы поделиться этими страшными впечатлениями.

— Прощайте, Афиноген Ильич! Храни вас Христос!.. Прощай, Вера! Все худеешь... И бледная какая стала... Замуж пора...

Вера пожала плечами и пошла проводить дядю и тетку в переднюю.

XXXII

На другой день после суда, 29 марта, подсудимым был объявлен приговор в окончательной форме: смертная казнь через повешение.

Рысаков и Михайлов подали прошения на Высочайшее имя о помиловании. Помилования не последовало. Гесья Гельфман заявила о своей беременности, и исполнение над нею приговора было отложено¹.

Казнь была назначена на 3 апреля утром, и, чего давно в России не было, — публичная.

Накануне казни в дом предварительного заключения прибыл священник со Святыми Дарами, и осужденным было предложено исповедаться и причаститься. Рысаков исповедался, плакал и приобщился. Михайлов исповедался, но от причастия отказался: «Полагаю себя недостойным», — сказал он. Кибальчич долго спорил и препирался со священником на философские темы, но исповедаться и приобщаться отказался: «Не верю, батюшка, ну, значит, и канителиться со мною не стоит».

¹ Гельфман не была казнена. Она разрешилась в крепости от бремени ребенком, который вскоре умер, и сама умерла от родильной горячки.

Желябов и Перовская отказались видеть священника.

День 3 апреля был ясный, солнечный и морозный. Яркое солнце с утра заливало золотыми лучами петербургские улицы. Народ толпился на Литейной, Кирочной, по Владимирскому проспекту и на Загородном. Семеновский плац с еще не подтаявшим снегом, с лужами на нем, с раннего утра был полон народными толпами.

Вера пошла проводить осужденных. Было это ей мучительно трудно, но она считала это своим долгом. Она пошла на Шпалерную и видела, как из ворот дома предварительного заключения, одна за другой, окруженные конными жандармами, выехали черные, двухосные, высокие, на огромных колесах, позорные колесницы. В первой сидели Желябов и Рысаков. Оба были одеты в черные грубого сукна арестантские халаты и черные шапки без козырьков. Вера сейчас же узнала Желябова по отросшей красивой бороде. Рысаков сидел, выпучив в ужасе глаза, и все время ворочал головой. Во второй колеснице сидел Кибальчич и Михайлов и между ними Перовская; все были в таких же арестантских халатах. Михайлов и Кибальчич были смертельно бледны. На лице Перовской от мороза был легкий румянец. У каждого преступника на груди висела доска с надписью: «цареубийца».

Когда колесницы выезжали из ворот, Вера видела, как разевал рот громадный Михайлов, вероятно, что-то кричал, но в это время в войсках, стоявших шпалерами подле ворот, били дробь барабаны и нельзя было разобрать, что такое кричал Михайлов.

Вера шла с толпою за колесницами. Все грохотали барабаны. Возбужденно гомонила толпа.

Ни от кого Вера не слышала слова сожаления, сочувствия, милосердия, пощады. Ненависть и злоба владели толпой.

— Повесят!.. Их мало повесить... Таких злодеев запытать надоть.

— Слышь — ее, значит, в колесницу сажают, ну, и руки назад прикручивают, а она говорит: «Отпустите немного, мне больно». Ишь, какая нежная, а когда бомбы бросала, не думала — больно это кому или нет? А жандарм ей и говорит: «После еще больней будет».

— Генеральская дочь, известно, не привычна к такому.

— Живьем такую жечь надобно. Образованная.

— Те, мужики, по дурости. А она понимать должна, на какое дело отважилась.

Войти на Семеновский плац Вера не решилась, да и протолкаться через толпу было непросто. Она стояла в переулке и

слышала барабанный бой и то, что передавали те, кто взобрался на забор у Семеновских казарм и с высоты видел все, что делалось на плацу.

— Помощники палача,— говорил кто-то осведомленный,— из Литовского замка взяты молодцы, под руки ведут Желябова; и не упирается — смело идет... Красивый из себя мужчина... Ведут Рысакова. Ослабел, видно... под руки волокут. Вот и остальных поставили под петлями...

Забили барабаны, и гулкое эхо отдавалось о стены высоких розовых казарм. Потом наступила тишина. Сверху пояснили:

— Читают чего-то.

— Прокурор приговор читает,— поправили его.

— И не прокурор вовсе, а обер-секретарь Попов,— пояснил тот, кто все знал.

— Священник подошел с крестом. Целуют крест...

— Неверы! А, видать, народа боятся. Себя показать не хотят.

— Желябов молодцом, что солдат стоит пряменький, а Перовская ослабела. Валится, помощники поддерживают.

За спинами толпы Вера ничего не видела, но по этим отрывистым словам она мучительно и явственно переживала всю страшную картину казни.

— Целуются друг с дружкой,— видать, проститься им разрешили.

— Поди, страшно им теперича!

— Ну как! А убивать царя шли — пожалели, ай нет?

— Рысаков к той маленькой подошел, а она отвернулась.

— Значит, чего-то не хочет... Злая, должно быть. На смерть оба идут, а все простить чего-то не желает.

— Змея!

— Мешки надевают... Саваны белые... Палач поддевку снял. Лестницы ставит.

Опять забили барабаны, и мучительно сжалось сердце Веры. В глазах у нее потемнело. Ей казалось, что вот сейчас и она вместе с теми умрет.

Вдруг всколыхнулась толпа. Стоном понеслось по ней:

— А-а-ах-хх!

— С петли сорвался!..

— Который это?

— Михайлов, что ль... Чижолый очень. Веревка не сдержала.

Из толпы неслись глухие выкрики:

— Его помиловать надоть!
— Перст Божий... Нельзя, чтобы супротив Бога!..
— Простить, обязательно простить! Нет такого закона, чтобы вешать сорвавшегося.

— Завсегда таким бывает царское помилование. Пришлет своего флигель-адъютанта...

Глухо били барабаны.

— Вешают... Снова вешают..
— Не по закону поступают.
— Опять сорвался. Лежит. Обессилел, должно быть.
— Третий раз вешают... Веревка, что ли, перетирается?..
— Вторую петлю на него набросили.
— Ну и палач! А еще заплечных дел мастер прозывается. На хорошую веревку поспешил...

— Уж очень он чижолый, этот самый Михайлов.

И еще минут двадцать в полном молчании стояла на площади толпа. Должно быть, тела казненных укладывали в черные гробы, приготовленные для них подле эшафота.

Потом толпа заколебалась, пошатнулась и с глухим говором стала расходиться. Послышались звуки военной музыки, игравшей веселый марш. Войска уходили с Семеновского плаца.

Вера тихо шла в толпе. Вдруг кто-то взял ее за руку выше локтя. Вера вздрогнула и оглянулась. Девушка в плохонькой шубке догнала Веру. Она печальными, кроткими глазами, где дрожали невыплаканные слезы, внимательно и остро смотрела на Веру.

Вера видела эту девушку на встрече Нового года на конспиративной квартире у Перовской, она не знала ее фамилии, но знала, что звали ее «Лилой».

Они пошли вместе и долго шли молча. Реже становилась толпа. Вера и Лиля вышли на Николаевскую улицу. Впереди них шла, удаляясь, конная часть, и трубачи играли что-то резко бравурное. Звуки музыки плыли мимо домов, отражались эхом и неслись к веселому синему весеннему небу. Окна домов блистали в солнечных лучах. Становилось теплее, и свежий ветер бодро пахнул морем и весной.

— Вы знаете, Лиля,— тихо сказала Вера,— я хотела бы умереть там, вместе с ними.

— Я понимаю вас,— ответила Лиля,— я тоже.

Веселые, бодрящие звуки музыки неслись от круглого рынка; сверкали на солнце копыта, древки пик голубою кисеею, дрожали над черными киверами.

Лиля шла и декламировала:

Бывают времена постыдного разврата...
Ликует образа лишённые людского
Клейменные рабы...

Вера тяжело вздохнула и низко опустила голову.

XXXIII

Вера замкнулась в себе. Больше месяца она не выходила из дома. Она мучительно переживала все то, что произошло на ее глазах и с нею самою за эти два последних года. Часами она читала Евангелие и Молитвослов или сидела долго, долго, устремив прекрасные глаза в пространство и ни о чем не думая. Внутри ее совершался какой-то процесс к приводил ее к решению. Но в церковь она не ходила и к священнику не обращалась. Она боялась священника. В тайну исповеди она не верила, да и как сказать все то, что было, когда она сама не разобралась как следует во всем происшедшем. Она старалась определить степень своей вины в цареубийстве и постановить над собою приговор.

А между тем шел май и наступало в Петербурге то пленительное время светлых, белых ночей, когда Петербург становится по-особенному прекрасен, когда что-то неопределенное, призрачное, точно потустороннее, витает над ним; по скверам и бульварам томно пахнет тополевой почкой и молодым березовым листом. И празднично-радостен грохот колес извозчичьих дрожек по булыжным мостовым.

Поздно вечером Вера вышла из своего затворничества и пошла бесцельно бродить по городу.

На Фонтанке, у Симеоновского моста, была выставка картин художника В. В. Верещагина. Она была давно открыта и теперь заканчивалась. Никто уже не ходил на нее.

Вера поднялась во второй этаж, купила билет у сонного сторожа и вошла на выставку.

Перед нею открылась длинная анфилада комнат, ярко освещенных круглыми электрическими фонарями Яблочкова. Их ровный, яркий белый свет был холоден и как бы мертвый. Чуть сипели угли в матовых шарообразных фонарях. Посетителей не было. Час был поздний. Рассеянно проходила Вера по пустым, без мебели комнатам, где по стенам, в широких золотых и чер-

ных лепных рамах висели картины. Вера безразлично скользила глазами по туркестанским видам и сценам. На мгновение остановилась перед картиной Самарканда. Так блистательно ярко была написана мраморная мечеть, ее белые стены, белые халаты и чалмы сидящих подле туркмен, белая земля под ними, солнечные блики повсюду, что Вере казалось, что от картины пышет азиатским зноем.

Вера шла дальше по пустым комнатам. В одной из них, отделенная от середины лиловым шнуром на столбочках, висела только одна большая картина. Никого подле нее не было, и Вера вздрогнула и почувствовала, как холод побежал по ее спине, когда она вгляделась в картину.

В черную раму, как бы через громадное прямоугольное окно без стекол, Вера увидела: серый, туманный, осенний день. Низкие тучи совсем упали на землю. Сухая трава, и в ней, между стеблей, до самого горизонта лежат обнаженные мертвые тела. Множество тел... Тысячи... В углу картины — священник. Он совсем как живой. Вере показалось, что он пошевелился, когда она вошла. На священнике черная потертая риза с серебром. У него в руке кадило. За ним солдат-причетник с коротко остриженными черными волосами. Он в мундире. Белесый ладанный дымок вьется от кадила, и Вере кажется, что она видит, как он тает в сыром, холодном воздухе. Вера ощущает и запах ладана. К этому запаху примешивается никогда еще не слышанный ею сладкий запах тления. И Вере кажется, что слышит она, как два хриплых голоса сливаются в панихидном пении.

Картина и называлась — «Панихида».

Вера как подошла к картине, так и не могла уже отойти, точно вросла в землю; что-то притягивало ее к ней. Ей было тяжело, мучительно смотреть, было страшно, пугала реальность картины, но уйти не могла.

«Вот они,— думала Вера,— герои, за веру, Царя и Отечество живот свой положившие на бранях... Голые, мертвые тела... никому больше не нужные, брошенные на съедение воронам... Священник и солдат-дьячок — вот и вся честь героям, вот и вся панихида по убитым солдатам».

Снова стали подниматься откуда-то изнутри притушенные было бунтовщицкие мысли. Они начались еще тогда, когда пять лет тому назад Вера увидела первого человека, умершего на ее глазах, матроса, убившегося в Петергофе. Эти мысли тогдашние, детские толкнули ее на страшный путь участия в народо-вольческом движении и привели к тому, что теперь ее мучит, что она не разделила участи казненных.

Она стояла, и картина оживала перед нею и доводила до галлюцинации. Вера все позабыла; позабыла, где она. Она ежилась в своей осенней мантилье, как будто холодный ветер и дождь картины пронизывали ее насквозь...

«Брошены...» «Именинный пирог из начинки людской...»

Она так ушла в картину и в свои мысли, что вздрогнула всем телом, когда услышала сзади себя шаги. Станные были эти шаги и так отвечали картине. Одна нога стучала, как обыкновенно стучат каблук и подошва по полу, другая пристукивала деревянно.

Невысокого роста офицер в длинном черном сюртуке роты Дворцовых гренадер, так называемой «Золотой роты», с солдатским и офицерским Георгиевскими крестами на колодке на груди, входил в комнату. У офицера было молодое лицо и белые, седые волосы. Щеки и подбородок были тщательно пробриты, и небольшие русые бакенбарды отпущены по сторонам. Одна нога у него была в сапоге, вместо другой из длинной штанины с алым кантом торчала круглая деревянная култышка. Вера внимательно посмотрела на него и по глазам, серым, дерзновенно-смелым и в то же время грустно-задумчивым, узнала князя Болотнева. Она пошла навстречу князю.

— Князь,— сказала она порывисто,— вы не узнали меня?

— Как не узнать! Я давно слежу за вами.

— Почему же не подошли?

— Я не смел сделать этого. Я дал слово не говорить с вами, не бывать у вас, но я давно слежу за вами, и я все про вас знаю.

Вера не обратила внимания на конец фразы. Ее поразило начало.

— Кому вы могли дать такое слово? — хмуря пушистые брови, спросила Вера.

— Вашему жениху Афанасию.

— Афанасий никогда, ни одной минуты не был моим женихом... И... он... убит...

— Я все это знаю.

— И все-таки не смели подойти ко мне?

— Может быть, только не хотел.

Вера пожала плечами.

— Я, повторяю, все про вас знаю. Подойти к вам, заговорить с вами — это все вам сказать! А сказать — нельзя...

Вера побледнела. Ей показалось, что она стоит над пропастью. Надо было переменить разговор. Вера обернулась к картине и, стараясь быть спокойной, указала:

— Скажите... Эта картина... Правда?.. Так было?..

— Нет, эта картина — ложь.

— Да? В самом деле? Вы говорите... Ну а там? «На Шипке все спокойно», или «Траншеи на Шипке»... Мороз и вьюга... И мороз и горное солнце с его лиловыми тенями... Замерзающие часовые... Скажете — тоже ложь?

— Нет, там — правда,— спокойно сказал Болотнев.— Так у меня на Балканах замерзли сопровождавшие меня стрелки и проводник-болгарин. Тоже вьюга, снег и мороз... Меня спас Господь Бог... Да, может быть, тот спирт, которым в ту пору были пропитаны все мои жилы.

— Хорошо... Так зачем же эта ложь? Этой панихиды.

— Уступка толпе. То же, что сделал на лекции, где я вас видел, профессор Соловьев. Сорвать аплодисменты у толпы. И для того — покадить ей.

— Ну, хорошо. Но разве на войне не так бывает?

— Нет, Вера Николаевна, не так. Хоронят всегда торжественно. Если много убитых — в братских могилах, и все-таки приодевши покойников. У каждого из этих остались полковые товарищи, а русский простолюдин, русский солдат почтителен к мертвым. И если уже могли прийти священник и причетник, то могли прийти и люди полка, а если они, допустим, в бою,— пришли бы тыловые люди, из обозов, наконец, просто любопытные или болгары. Нет — так не хоронили и не хоронят. Бывает, что вовсе брошены... Это бывает... Бывает, что тела шли на постройку брустверов, как-то было в третью Плевну,— но если есть священник, есть панихида и похороны, то есть и народ. А это?.. Для уловления жалостливых душ.

— Да-а,— сказала Вера и уже иными глазами посмотрела на картину. Священник не был больше живым и ладанный дымок мертво висел в воздухе.

Было одиннадцать часов. Выставка запиралась, и сторож проходил по комнатам, звоня и приглашая посетителей уходить.

Вера и князь вышли вместе.

Веру раздражал стук деревянной ноги князя. Ей все казалось, что князю должно быть нестерпимо больно там, где кончается живая нога и начинается деревяшка. Этот стук сбивал ее с мыслей, и Вера молчала.

Так дошли они до Невы и, по предложению Веры — очень уж мешал ей стук деревянной ноги — сели на каменной скамье на набережной.

Под ними беззвучно, без шелеста, без всплеска проносились широкая и глубокая река. В белой ночи она блестела, как се-

ребряная парча. Противоположный берег, где была крепость, тонул в прозрачном сумраке. Давно догорела заря, все погружалось в тихое оцепенение грустной белой ночи.

— Вы мне сказали, князь, что все про меня знаете,— тихо сказала Вера.— Что же это «все»?

— Вы знаете: Суханов арестован.

Вера вздрогнула всем телом. Она поняла — это и был ответ.

— Да что вы!

— По военным кружкам идут аресты. Дегаев всех выдал... Вы и Дегаева знали?

— Нет.

— Партия Народной воли разгромлена до конца.

Мимо них по булыжной мостовой проехал порожний извозчик с узкими дрожками на висячих рессорах. Он придержал лошадь и вопросительно посмотрел на женщину, сидевшую с офицером на скамье. Потом, точно рассердившись, что его не наняли, ударил лошадь кнутом и поскакал, громыхая колесами, к Фонтанке.

Вера сидела, низко-низко опустив голову, и теребила пальцами края своей мантильи.

— Что же мне делать? — едва слышно проговорила она дрожащим голосом.

— Не знаю... Не знаю,— совсем так, как отвечал когда-то Алеше, сказал князь.

— Князь,— тихо-тихо шептала Вера, точно думала вслух,— я сознаю всю свою вину. Я считаю... И я много это время об этом думаю,— я должна... Должна казнить себя.

— Самоубийство, Вера Николаевна, самый страшный грех... Последовало долгое, очень долгое молчание.

— Как вы изменились, князь!

— Да. Я изменился.

— Вы не тот, что были в Петергофе.

— Да, не тот. Я потому и следил издали за вами, что считаю себя виноватым перед вами. В тот страшный для вас день, когда ваша юная, еще детски восприимчивая душа была смятена, я бросил в вас семена сомнения. И толкнул вас на ложный путь...

— Не вы толкнули, князь. Толкнули обстоятельства, обстановка, молодость, жажда чего-то нового... Пресыщенность праздной жизни. Отсутствие настоящего дела. Вот я и пошла... Я и сама долго, очень долго не понимала, что там делается. Вернее — всерьез не принимала того, что замышляется. Очень мне

все это казалось чудовищным. Меня подкупили простота и смелость всех этих людей... Их дерзание... Пошла так... Именно просто так!.. Если бы я любила, как любила Перовская Андрея,— тогда и сгореть было можно... Я никого еще не любила, а теперь знаю — отравлена навсегда и никогда не полюблю никого. Знаете, князь, на землянике бывают такие цветы — пустоцветы, что ягоды не дают,— вот и я такой пустоцвет.

Вера опять помолчала, потом чуть слышно сказала:

— Я ведь ничего и не делала... Я только молчала...

— Да — молчали... Вы, Вера Николаевна, одним своим присутствием среди них крепили их. Вся эта разношерстная, малокультурная толпа, видя Перовскую и вас с собою, верила в свое дело, в свою кровавую миссию. Вы были из того светлого мира, который они ненавидели и загасить который они поставили себе целью. Но все-таки — почему вы пошли к ним?

— И сама не знаю...

Под ними тихо проносились могучая Нева, и далеко за новым Литейным мостом уже розовела заря наступающего дня. От Летнего сада тянуло сладким запахом липовой почки и все сильнее и радостнее становилось там чириканье и пение птиц в ветвях. Природа пробуждалась. Город же спал тяжелым, крепким, предутренним сном.

Золотой точкой загорелся ангел на шпиле Петропавловского собора, и по-утреннему грустно заиграли печальными перезвонами старинные куранты.

XXXIV

— Прощайте, князь. И, прошу вас, не провожайте меня.

Князь встал, поцеловал девушке через перчатку руку и снова сел.

Вера прошла несколько шагов. За нею упорно стучала деревяшка князя. Вера оглянулась. В тихом сумраке белой ночи далеко была видна Невская набережная. На ней не было ни души. Пока Вера стояла — не было слышно и стука деревяшки, но как только она пошла — снова в такт ее шагам застучала деревянная нога князя.

«Бог знает, что со мной творится — это галлюцинация слуха... Я с ума схожу...»

Вера взяла себя в руки, старалась не слушать — деревяшка стучала. Вера останавливалась — переставала стучать деревяш-

ка. Вера ускоряла шаги, и деревяшка ускоряла с нею, Вера замедляла — и деревяшка шла медленнее и стучала в такт ее шагам по граниту набережной.

Мимо спящего Соляного города Вера прошла к Цепному мосту, перешла по нему Фонтанку и мимо розового здания цирка Чинизелли по Караванной вышла к Михайловскому манежу. Какая-то неведомая сила влекла ее по тому скорбному пути, по которому ехал Император Александр II, последний раз возвращаясь с развода своих полков. И все так же неотступно стучала за нею невидимая деревянная нога.

Ужас гнал Веру. Она сознавала, что этого не может быть, что Болотнев не идет за нею, и все-таки слушала и слышала стук несуществующей деревяшки. Она бежала, и будто призрак князя гнал ее туда, куда ей именно и нужно было идти, гнал к «месту преступления».

Там была построена временная деревянная часовня. В ней горели и в этот глухой ночной час лампы и свечи перед образами. Часовой Дворцовой роты в старинной мохнатой, высокой медвежьей шапке стоял подле.

Вера не посмела подойти к часовне, она перешла на другую сторону канала и тою стороною, боязливо поглядывая на часовню и все преследуемая стуком ноги, прошла мимо. Мурашки бежали по ее телу, волосы шевелились на голове, она уже была вне себя. Ей казалась, что все это снится в каком-то страшном кошмарном сне, что ничего этого нет, и в то же время понимала, что это не сон, а какой-то сплошной ужас.

Стук ноги гнал ее дальше. Вера перешла пустынный Невский у Каменного моста и по узкой набережной канала пошла к Казанскому собору.

Память точно листала страницы ее прошлого. Вот здесь она была на первой студенческой сходке, вот здесь ее ударил плетью казак, после чего и началось ее искание новых путей. И здесь... Это было самое страшное... Однажды здесь стояла она по просьбе Перовской настороже, когда с портомойного плота Перовская и Желябов погружали в канал два с половиной пуда динамита в резиновых мешках, чтобы взорвать мост, когда Государь поедет по нему. Тогда ей казалось это героизмом, интересным поручением, теперь...

Деревянная нога не даром ее преследовала и гнала куда-то. Это призрак. Это ее совесть стучала за нею. Куда-то вела... Только — куда?

В узком месте канала, где была только пешеходная панель, в наружной стене коричневатого-серого собора, уже освещенно-

го начинающимся рассветом белой ночи, показалась вделанная в стену большая икона Казанской Божией Матери. Вера знала, что за стеною висит та самая чудотворная икона, около которой она когда-то так страстно молилась... В фонаре малинового стекла тихо мигала лампада.

Кругом было пусто. Крепким сном спал город.

Красный свет, как маяк, манил Веру. Она бросилась к иконе и упала на колени перед Божией Матерью. Она забилась лбом о холодные сырые плиты тротуара, потом перекрестилась и затихла, устремив глаза на освещенный утренним светом образ.

Тихо, тихо стало на душе. Где-то далеко, точно не в этом свете, просыпался город. Гудел гудок на фабрике, прогремел дрожками ночной извозчик. Вера ничего не слышала. Она затихла, вся уйдя внутрь себя. И из какой-то глубокой, нутряной, детской дали прошлого, из самых тайных недр все наплывали и наплывали давно слышанные и когда-то за няней заученные молитвенные слова. Казалось — давно и навсегда позабытые.

— Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго... за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего и всем твориши спастися в державный Твой Покров прибегающим: всех нас заступи, о, Госпоже, Царице и Владычице, иже в напастех и в скорбех и в болезнях обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною душою...

Вера земно поклонилась, откинулась назад и с тяжким вздохом повторила: «Умиленною душою».

Слезы лились из ее глаз... И вместе со слезами Вера ощущала, как умиление сходило на нее. Все то, что было, — земное — отлетало от нее, она как будто очищалась, готовясь к чему-то давно продуманному, но никогда еще себе до конца не высказанному.

— Сокрушенным сердцем, — шептала Вера, забыв, где она и что с нею, — пред пречистым Твоим образом... Со слезами... со слезами... со слезами...

И слезы сами лились из глаз. Всхлипывания становились реже. Вера дышала легче и свободнее...

— Всепетая, от рова и глубины прегрешений возведи...

Вера содрогнулась, вспомнив, в какую пропасть, полную всякой мерзости, она попала, и, глядя с глубокой верой и мольбой на образ, вдруг почувствовала, что какая-то сила поднимает ее и ведет из этой темной могильной пропасти.

Все легче и легче становилось на сердце, слезы иссякли, глаза яснили, новая твердость стала во всем теле. Вера встала с

колен, с глубокою благодарностью посмотрела на образ, трижды перекрестилась и повторила уже с силою и верою:

— Пречистая Богородица предваряет на помощь и избавляет от великих бед и зол!

Вера чувствовала, что она уже избавлена от бед и зол, она знает, до конца знает, что она должна делать.

Вера пошла назад по каналу. Деревяшка не стучала за нею. Навстречу ей над домами поднималось яркое, слепящее глаза солнце. Все казалось чистым и омытым в пустом еще городе. Неведомая сила несла Веру вперед к новой, определенной и ясной цели.

XXXV

Прислуга Афиногена Ильича не посмела скрыть от старого генерала, что «барышня не ночевали дома и еще не вернувшись».

Страшно встревоженный, генерал сейчас же послал за Порфирием. Тот приехал с Лилей. Не было и тени подозрения, что тут могло быть «романтическое» приключение — слово «любовное» само собою исключалось. Не такая была Вера и притом же Ишимская! Мог быть только несчастный случай. Раздавили на улице.

Порфирий помчался в канцелярию градоначальника. Исчезновение Веры Николаевны Ишимской, внучки любимого генерал-адъютанта в Бозе почившего царя-мученика подняло на ноги всю городскую полицию. Уже к вечеру Афиногену Ильичу был доставлен подробный полицейский отчет о городских происшествиях за то время, что Веры не было дома.

Нигде не было ни задавленных, ни случайно убитых. Благополучный был день. И пожар был только один, на Охте, и тот был скоро погашен. В городском морге не было подходящих покойников. В больницы, как казенные, так и городские и частные, не доставляли ушибленных и не являлась ни одна молодая девушка.

Только было одно показание, которое осторожным шепотом доложил Порфирию пристав Васильеостровской части: будто чин речной полиции под утро усмотрел со своего поста у Николаевского моста, что в воду бросился какой-то человек, но мужчина или женщина, того чин этот разобрать не мог. Хотя и белая была ночь, но именно потому, что белая, бестенная — трудно было далеко ясно видеть.

Чин этот бросился было к лодке, но, не слыша криков о помощи и не видя никого, кто барахтался бы в воде, поленился отвязывать лодку.

Это был единственный след, и тот какой-то неверный. О нем решили не говорить Афиногену Ильичу, но Порфирий и графиня Лиля просили полицию давать им сведения, если будут обнаруживаться тела утонувших женщин.

В июле, когда знойное лето висело над Петербургом и в улицах пахло гарью горящих в окрестностях Петербурга лесов, Порфирия, жившего на даче в Петергофе, известили из Сестрорецкого стана, что море выбросило на берег труп молодой женщины, сильно разложившийся, пробывший в воде долгое время, и что: «по распоряжению исправника, вследствие отношения Санкт-Петербургского градоначальника от 4-го мая сего года за № 14571 тело не будет предано погребению до распоряжения вашего высокоблагородия».

Порфирий с Лилей решили поехать и сами посмотреть — могло быть это тело несчастной Веры.

Это было длинное и утомительное путешествие. Приехали в Петербург и оттуда на извозчике потащились на Лисий Кос, где было найдено тело.

Тело находилось под присмотром полицейского урядника и было покрыто рогожей.

Второй раз приходилось Порфирию в таких страшных обстоятельствах опознавать покойника. Перед ним вставала ненастная плевненская ночь, Горталовская траншея и в ней тело его сына с лицом, изуродованным до неузнаваемости. Тут было еще хуже.

Уже вечерело, когда в сопровождении станового Порфирий и Лиля подошли к пустынному, плоскому берегу залива. Стражник при шашке сидел на камне. Он встал при приближении приехавших и поднял рогожи.

Полуобнаженное смрадное тело лежало на песке.

Это не могла быть Вера. Вообще невозможно было определить, кто это был. Темные пятна полного разложения покрывали зеленоватое тело. Волосы совершенно сошли с головы, и череп был обнажен. Глаза провалились, и нос запал. Только светлые, яркие, блестящие зубы, видневшиеся из источенных тлением губ, говорили, что труп принадлежал молодой и здоровой женщине. Зубы были похожи на Верины зубы. Нестерпим был трупный запах. Он более всего мешал усвоить, что это могла быть Вера.

Остатки платья — темная юбка, изорванная о камни, простые чулки, башмаки, совершенно рыжие от долгого пребывания в воде, — все это настолько утратило цвет и форму, что только тщательное исследование их могло установить качество и цвет материала. На такое исследование ни у Порфирия, ни у Лили не хватило духа.

Молча стояли они оба над трупом. Пресная вонь тления застревала в ноздрях. Она потом долгие дни преследовала Порфирия и Лилию.

— Нет, это не Вера, — решительно сказал Порфирий. — Я не допускаю мысли, что это — Вера.

И про себя вспомнил, как и там, на Горталовской траншее, он тоже отказался признать в изуродованном теле своего милого Афанасия.

— Так разрешите — к погребению? — спросил становой.

Порфирий еще раз бросил взгляд на труп. Обнаженный череп точно смеялся белыми зубами и был страшен. Удушающий запах шел от тела. «Это — Вера?»

Шейные позвонки торчали сквозь порванную местами кожу. Ужасна была смерть в своем разрушении.

— Конечно, к погребению, — быстро сказала Лиля.

Она чувствовала, что сейчас лишится чувств от трупного запаха.

Порфирий внимательно разглядывал труп. Зубы были положительно Верины.

— Да... К погребению, — раздумчиво и как бы колеблясь сказал Порфирий.

Весь долгий путь Порфирий и Лилия молчали. И только в Петергофе, когда сели в уютное, продушенное Лилиными духами тесное купе, запряженное парой рыжих кобыл с короткими хвостами, Порфирий тихо сказал:

— А что, если это и точно — Вера?

— Подумаешь! — воскликнула Лилия. — Такой запах! Я и ужинать сегодня не буду... Какой ужас! А ты! Вера!!

XXXVI

Прошло два года. Шло благополучное, твердое, сильное царствование Императора Александра III. Европа благоговела перед Россией. Англия поджала хвост.

Афиноген Ильич умер от тоски и бездействия. Он не подошел к новому царствованию. Над ним реяли тени Бисмарка и

Молитке — а немцы были не в моде. С потерей внучки он остался совсем одинок. Лиля, правда, была трогательной невесткой и часто навещала его, но живого, близкого человека в самом доме не было. В полном сознании, исповедавшись и причастившись, соборовавшись, под чтение отходной, со свечою в руке отошел в вечность старый генерал-адъютант, и только Флик и Флок в полной мере ощутили его уход из жизни.

Красивая была смерть, и такие же красивые и богатые были похороны. Великие князья, генералитет провожали покойного до Александро-Невской лавры. Гремела музыка, били барабаны. Большой войсковой наряд сопровождал гроб.

— Генерала хоронят, — говорили в толпе любопытных.

Порфирий был произведен в генералы и получил назначение быть губернатором в далекую окраину — это было очень видное и самостоятельное место. Перед отправлением к месту службы он взял двухмесячный отпуск и решил совершить паломничество ко Святым местам, в Палестину.

Паломничество это состояло в том, что они с женою сначала ехали до Одессы в купе первого класса, потом шли в отдельной каюте нового прекрасного пассажирского парохода «Царь» Русского общества пароходства и торговли, с остановками в лучших отелях, до Яффы, а в Иерусалиме были прекрасно устроены в Горней Женской Обители у матушки-настоятельницы. Эта новая Горняя Обитель была основана на том месте, где, по преданию, находился во времена Спасителя дом Захарии и Елизаветы, куда приходила Божия Матерь — «вставши же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну в город Иудин и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету...»¹

Здесь окружили Порфирия и Лилю такие дивные, святые воспоминания, что сердца их растопились и стали они верить в чудо.

Только что кончилась литургия. Чинными рядами выходили монахини из светлого храма и спускались через сад к трапезной.

Блестящий гравий хрустел под их легкими шагами. Стройные кипарисы, раскидистые смоковницы, цветущее алыми цветами гранатовое дерево, алоэ, воздушные эвкалипты, палево-желтые розы, богато цветущие вдоль каменной ограды дикого камня, — все сверкало и благоухало под знойным палестинским

¹ Евангелие от Луки. Гл. 1, ст. 39—40.

солнцем. Синее небо было такого голубого цвета, что графиня Лиля глаз не могла оторвать от него. Казалось, что святость мест, освященных пребыванием здесь Сына Божия, отразилась и на природе.

У Лили земля горела под ногами. Ее походка стала легкой и воздушной. Душа ее точно растворилась в прозрачном эфире. Она стояла в стороне от дорожки и смотрела на проходящих с опущенными головами монахинь. Одна, проходя мимо Лили, приподняла голову и посмотрела на Лилю. Ясные голубые глаза в опушке длинных ресниц спокойно и бесстрастно глядели на графиню из-под черного монашеского куколя. Лиля увидела матовую бледность прекрасного и будто знакомого, родного лица, красивый рисунок поджатых губ. Точно что толкнуло ее. Она крепко схватила Порфирия за руку.

— Смотри! Вера! — прошептала она в страшном волнении.

Монахиня опустила глаза. Сходство исчезло. Она не могла не слышать шепота Лили. Ни одна черта не дрогнула на ее лице. Только еще строже были поджаты бледные губы и казались суше.

В покоях матушки-настоятельницы за чаем с каким-то особенным апельсиновым вареньем графиня Лиля соответственно месту рассказывала матушке-настоятельнице и матушке-казначее о том знамении, какое было явлено киевскому схимнику Алексею Голосевскому 1 марта 1881 года.

— Вы Алексея того знаете, матушка? — спросила Лиля.

— Ну как же, Елизавета Николаевна, видать не сподобилась, а слышать много чего слыхала. До десяти лет немым был, а после, по молитве, стал сразу говорить и пошел служить Богу. А вот про знамение-то я не слышала ничего. Расскажите, милая.

— Вынимал тот Алексей в чине иеромонаха первого марта за жертвенником частицы о здравии и только вынул о здравии Государя Александра Второго и говорит сослужащему с ним отцу диакону: «Поосторожнее надо, отец диакон, на частицу вино чего пролил! Красная, как в крови, частица...» Диакон смотрит с удивлением, что такое говорит отец архимандрит: частица совсем белая. «Батюшка, отец Алексей, — говорит диакон, — да что вы, частица же белая...» «Что вздор мелешь, — говорит отец Алексей, — красная частица, в крови выкупана...» Тогда никто ничего не понял, а после-то объяснилось. Прозорливец был отец Алексей.

Графиня подождала, когда мать-казначей вышла из покоев и они остались наедине с матерью-настоятельницей, и сказала доверительно:

— Я вот о чем хотела спросить вас, матушка. Проходили сейчас из церкви монахини, и между ними одна была такая красивая, с голубыми глазами, и совсем молоденькая.

Настоятельница радостно засмеялась.

— Ну, знаю, знаю,— сказала она.— Все ее примечают. Это сестра Вероника. Ангел — не человек. И работает как, и молится!..

— Матушка, может быть, этого и нельзя, я прошу вам открыть только мне и мужу, кто такая была в миру эта сестра Вероника?

— Мы не можем никому, Елизавета Николаевна, открывать мирское прошлое наших чад. Это как тайна исповеди.

— Даже если на то есть особые и очень важные обстоятельства? Я вам расскажу, в чем дело.

И графиня Лиля, торопясь и довольно сбивчиво, рассказала о Вере, о ее странностях, о том, как Вера пропала вскоре после цареубийства, как думали, что она наложила на себя руки и утопилась, и как никто ее больше не видел.

Настоятельница слушала с большим вниманием рассказ графини Лили.

— Что же, много бывает загадочного в мире, Елизавета Николаевна,— сказала тихо и в глубокой задумчивости настоятельница.— Но ничего такого сказать вам про сестру Веронику не могу. Просто не знаю ничего такого. Она ангельский чин приняла и с ним отрешилась от всего земного, ушла от мира. Кто она была — я не знаю. Пришла она к нам точно два года тому назад, летом, с партией богомолков, все больше простых крестьянок. Пришла из Яффы пешком, с клюкою, в черном, очень бедном платье и осталась на послушании. Работала! Так ни раньше, ни после никто у нас не работал. Видите, какой сад. Все ее руками создано. Ручками своими нежными тяжелые камни на гору таскала, землю набрасывала и любила цветы. Поэтическая натура. Ну, да у нас о прошлом не принято расспрашивать. Что было в миру, нас не касается. Я и сама слышала что-то про Веру Ишимскую... Так у нас тайна исповеди — тайна по гроб и дальше. Год тому назад постриглась — стала Вероникой и ушла из мира. Пока послушницей была, могли мы сказать ее имя — теперь никак это невозможно, и не гневайтесь на

меня за то. Наша Вероника образец целомудрия, чистоты телесной и душевной, добролюбия и трудолюбия, и не нужно смущать ее души, примирившейся со своим положением. Она у нас и посейчас садом заведует.

— Вы нам, матушка,— вмешался Порфирий,— только скажите, какая она — блондинка или брюнетка?

Матушка шутливо замахала рукою на Порфирия и даже пальцем ему пригрозила:

— Ка-к-кой! — с прежней светскою кокетливостью бывлой дамы света сказала она,— и ни блондинка и ни брюнетка,— а монахиня. Не напрасно волосы мы обрезаем да куколем покрываем. Платом лоб укручиваем, чтобы женскими прелестями никого не смущать. Монахиня Вероника не пожелала открывать тайну своего прошлого — значит, имела на то основание.

Вероника как будто стала скрываться от приезжих гостиников. Только еще раз удалось Порфирию увидеть ее, когда она работала в саду, и Порфирий стал после этого уверять графиню Лию, что усмотрел на ее верхней губе черный пушок, как не мог быть у блондинки.

Графиня Лиля даже не на шутку рассердилась на Порфирия.

— Подумаешь! — говорила она, устраиваясь в каюте парохода, стоявшего в Яффе.— Сказал! Усики! Брюнетка! Что же, ты хотел бы, чтобы та страшная на морском берегу, зарытая без молитвы, была нашей Верой? Нет — именно монахиня Вероника и есть наша милая Вера. У Веры всегда была склонность к мистицизму, к возвышенному. Мирское ее не удовлетворяло. Подумаешь! Афанасию она отказала. Последнее время, перед тем как исчезнуть, помнишь, твоему отцу все Евангелие читала. Неспроста это было. И всегда была такая скрытная. Где она ходила, с кем она видалась, разве мы когда-нибудь знали? Может быть, и тогда она молиться ходила, с Божьими людьми видалась... И я так счастлива, что мы наконец нашли нашу Веру... Так жутко было всегда думать о том, что мы видели тогда на берегу. Мне даже часто снилась она. Жаль, умер Афиноген Ильич... Каким было бы это ему утешением... А теперь все в порядке. Монахиня Вероника... И — красота! За садом ходит. Ишимская! Несказанная прелесть их Горний сад... Ты куда положил букет роз, что дала нам настоятельница? Вероника его резала. И банку с вареньем из апельсинов? Я такого варенья и не видала никогда. Цельными плодами сварено, и — сочно!..

Жалко, рецепта не спросила, как оно делается. Ну вот — банку на сетку! А качка будет, нам на головы и полетит — хорошо разве будет?

Оживленная, красивая, — годы ее не брали — Лиля пустила теперь в свои черные косы белые пряди — «poivre et sel»¹ — она устанавливала по-своему вещи в каюте «Царя».

Золотые зайчики, отражения маленьких волн на рейде, затейливым узором играли по белому, крашенному масляной краской потолку каюты. В круглый иллюминатор видны были розовые скалы, белые дома, пальмы, миндальные деревья, смоковницы. Тихо и сонно плескало о борта парохода море. Порфирий сидел под иллюминатором и вспоминал Балканы и тот Восток, который он освобождал, проливая свою кровь и отдав сына по воле Императора Александра II.

Все было в прошлом, точно с тех пор целая вечность прошла.

Грустные мысли одолевали Порфирия:

«Нет Царя-Освободителя, которого Порфирий крепко любил и за которого пролил кровь. Внезапно от удара, в Москве, в гостинице, умер кумир Порфирия Скобелев. Александровское прошлое кануло в вечность. Шли новые веяния, новые являлись люди, и строительство России шло большим, но мирным темпом, и про Государя Александра III говорили: «Царь-Миротворец». Бедно одетая, по новому, утвержденному военным министром Ванновским образцу, армия вела работу незаметно, без прошлого парадного блеска, и не было больше разводов в Михайловском манеже. На новую дорогу выходила Россия. И в семье Порфирия сколько перемен... Недавно похоронил отца, без погребения лежат где-то кости Афанасия, и ушла Вера... И конечно, Вероника не Вера... Вера — та, страшная, гнилая, на пустынном морском берегу. Была бы Вероника Верой, не подошла бы она? Не сказала бы слова привета, не расспросила бы хотя о дедушке?»

Но сказать своих мыслей Лиле Порфирий не мог и не смел. В жаркой каюте уже пахло тонкими Лилиными духами, пах то всею ею, обаятельной, милой женушкой, жизнерадостной и живой, всюду, куда ни входила она, умевшей вносить свой особенный уют и свое женское очарование.

«Ну, что же? — думал Порфирий. — Те умерли, как и нам придет пора умирать, а с этой он пойдет и дальше по пути рабо-

¹ перец с солью (фр.).

ты, по пути строительства России на далекой окраине, понесет с нею в глухие места русскую культуру и русское очарование. Такие простые, честные, любящие, немудреные жены больше нужны и больше сделают, чем сложные и мудреные натуры, как Вера, и Господь знал, кому посылать смерть, кому сохранить жизнь...»

Декабрь 1935 — Сантени. Франция

Январь 1938 — Далевиз. Германия





СОДЕРЖАНИЕ

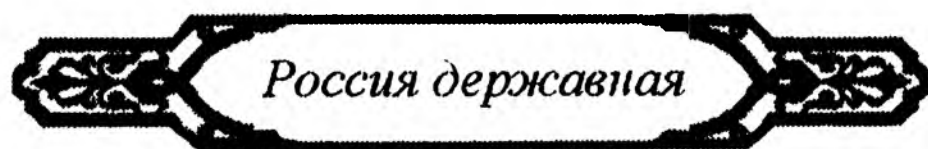
ЦАРЕУБИЙЦЫ

Часть первая 5

Часть вторая 69

Часть третья 195

Scan Kreider |



Петр Николаевич
Краснов

ЦАРЕУБИЙЦЫ

Редактор *А. Храмков*
Компьютерная верстка *М. Бойковой*
Корректор *Т. Семочкина*

ООО ТД «Издательство Мир книги»
111024, Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 6

Отдел реализации:
тел.: (495) 974-29-76, 974-29-75; факс: (495) 742-85-79
E-mail: commerce@mirknigi.ru

ООО «РИЦ Литература»
115407, Москва, Судостроительная ул., д. 40

Подписано в печать 20.10.2010 г.
Формат 84×108^{1/32}. Гарнитура «Петербург»
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8
Тираж 6000 экз. Заказ № 3877.

Отпечатано по технологии StP
в ИПК ООО «Ленинградское издательство».
195009, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 21/1.
Телефон / факс: (812) 495-56-10.

Петр Николаевич Краснов (1869—1947) — русский генерал, атаман Войска Донского, военный и политический деятель, писатель и публицист. Эмигрировал из России в 1920 году. Перу Краснова принадлежат очень интересные мемуары, а также яркие исторические романы. Один из них — «Цареубийцы» — посвящен попыткам народовольцев устранить российского императора Александра II, ставшего для них средоточием всех зол России. И хотя Господь хранит до поры государя, фанатики и убийцы готовят новое покушение...

ISBN 978-5-486-03689-7



9 785486 036897